

# ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

8476099



942

12







# ЗНАМЯ

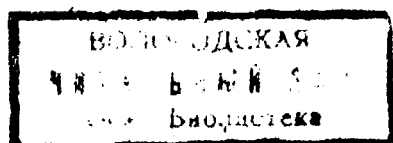
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

660911

ДЕКАБРЬ

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ



ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЕННАДИЙ ФИШ</b> — Контрудар, повесть . . . . .	9
<b>МИХ. МАТУСЕВСКИЙ</b> — Россия, стихи . . . . .	111
<b>СЕРГЕЙ МАРКОВ</b> — В те дни..., стихи . . . . .	112
<b>ЛЕВ КАССАНЬ</b> — Вдова корабля, рассказ . . . . .	113
<b>ИЛЬЯ СЕЛЬЗИНСКИЙ</b> — 30 секунд, стихи . . . . .	121
<b>ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ</b> — Капитан Сиверцев, рассказ . . . . .	121

## ПУБЛИЦИСТИКА

Генерал-лейтенант <b>Е. ШИЛОЗСКИЙ</b> — Разгром немцев под Москвой . . . . .	12
<b>И. ЗВАВИЧ</b> — Возвышение и гибель Фрица Тодта . . . . .	13

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

<b>Р. МИЛЛЕР-ЗУДНИЦКАЯ</b> — Книги изгнанных . . . . .	14
<b>В. АЛЕКСАНДРОВ</b> — История и география . . . . .	15
<b>Н. МАЦУЕЗ</b> — Литература о защите отчезства . . . . .	15

Редколлегия: *Вс. Вишневский, А. Л. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговский,  
Г. Михайлова (отв. секретарь), А. Новиков-Прибой, М. Соколовский,  
Л. Тинькофеев*

Подписано к печати 11/XII 1942 г.	А61347.	10 печ. л.	14 уч.-авт.
В печ. л. 59 600 экз.	Тираж 30 000 экз.	Цена 5 руб.	Зак. 7

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., 10.

ГЕННАДИЙ ФИШ

## КОНТРУДАР

Повесть

Глава первая

### САМОЛЕТ ИДЕТ НАД ЛЕСАМИ

Гудение мотора заглушало голос. Разговаривать было трудно, да и по хотелось, и тесный тысячу самых разнообразных мыслей и чувств старший политрук Борис Крапивин, отвернув серебристо-серую занавеску, пристально глядел в тусклое окошко самолета.

Самолет, прижимаемый к земле низкими свинцовыми тучами, шел над самым лесом, казалось, что вот-вот он начнет своими лыжами сбивать макушки островерхих елок.

Насколько доставал глаз — вокруг стояли темные хвойные леса и лишь изредка толпились деревья опустошенных лиственных рощ.

Самолет шел от штаба Северной армии к Энску.

«И Эпск, и Эпск тоже!» — с тоской думал Крапивин.

Старинный город Эпск, важный железнодорожный узел, ключ обороны дальних подступов к Ленинграду, сегодня ночью был взят врагом. Немецкая танковая бригада и две моторизованные дивизии отборной баварской пехоты с налета ворвались в город, а за ними шла дивизия, срочно переброшенная из Франции.

Части нашей армии могли оказать более сильное сопротивление немцам, они могли держать город до прихода подкреплений, но, увлеченные отдельными паникерами, отдали Эпск и открыли врагам тылы соседней Северной армии.

«Вот и еще одно поражение, еще одна неудача. Что же это такое, — думал Крапивин, — когда же это кончится и начнется наше обратное движение!»

Он смотрел на проплывавший вблизи заснеженный лес, и ему почему-то вспомнилось, что именно в эти ноябрьские дни он должен был заканчивать свою работу «Мичуринская агробиология и колхозная экономика», вспомнилось, что несколько лет собирался он вместе с Татьяной совершить полет на аэроплане... Кто знает, где она теперь? Последнее письмо от жены он получил в день начала войны. Таня с увлечением описывала свою работу в районе Малые Шуры, писала, как она с товарищами воюет на свекловичных полях Украины с долгоносиком, и как они побеждают это считавшееся непобедимым

зло. Она писала про дочку, которую на лето отвезла к бабушке в Вишницу, про подругу, колхозницу Фросю, и про ее веселую свадьбу со старым знакомым Бориса, трактористом Гонибесом.

Несколько лет назад Борис Крапивин познакомился в Малых Шурах с Танией. Он был тогда начальником политотдела МТС, а Тая, студентка Тимирязевки, проходила там летнюю практику. Как это было недавно! И каким невозвратно далеким прошлым стали сейчас эти дни!

На письме Татьяны были веселые приписки Гонибеса и его молодой жены. Где, где теперь Тая? Успела ли она выбраться, успела ли взять дочку? Ведь и в Вишнице и в Малых Шурах немцы... Самолет летит над незнакомыми местами, по неписанному маршруту. Рядом с Борисом в самолете люди, которых он, когда садился работать над диссертацией или стоваривался с Танией о полете, совсем не знал и даже не думал, что они существуют на свете... Впрочем, об одном из своих спутников он не однажды слышал, его имя часто упоминали в рассказах о гражданской войне в Испании.

Высокий, полный, круглолицый генерал — командующий, в меховой бекеше защитного цвета, герой испанской и монгольской кампаний и прошлой войны с белофиннами, сейчас дремал, прислонившись к стенке кабины самолета.

Рядом, сосредоточенно глядя вперед и думая свою думу, сидел высокий остролицый член Военного совета — дивизионный комиссар Краснов.

Он думал сейчас о том же, о чем думал Крапивин, — о городе Энске, о том, что надо сделать все, чтобы имя города Энска, ставшего в эти дни именем поражения, превратить в имя победы.

В 1918 году питерский рабочий, назначенный военным комиссаром, пришел к Ленину и спросил:

— Что должен делать военный комиссар?

— Не знаю, — ответил Ленин, — я никогда не был военным комиссаром. Но тот не удовлетворился ответом и повторил свой вопрос.

Тогда Ленин, отложив в сторону работу, встал и сказал:

— Все, все, все, что нужно для того, чтобы победила революция!

Эти слова сегодня повторил член Военного совета Краснов, напутствуя старшего полнтура Соколенко, нового комиссара саперного батальона.

Этот отдельный саперный батальон пришлось срочно бросить навстречу немцам, прорвавшимся с юга, в тыл И-ской армии. Других сил не было — и сейчас саперы, спешно заложившие мины, мчались по осенним дорогам навстречу прорвавшимся немцам, чтобы драться с ними как пехотинцы... Вслед за саперами шел стрелковый полк, и снятая с другого участка фронта танковая бригада.

Краснову было очень досадно, что именно в такую минуту он должен был спать комиссара саперного батальона Байдалакова и назначить на его место нового.

Но старого комиссара нельзя было оставлять. Когда объявили тревогу и Краснов срочно вызвал к себе Байдалакова, чтобы ввести в обстановку, он явился в нетрезвом виде. Дивизионный комиссар не стал слушать объяснений Байдалакова, накричал на него, снял с батальона и тут же назначил комиссаром зашедшего к нему в эту минуту Прокофия Соколенко.

Растерянный и убитый, лишившийся дара речи, стоял перед ним Алексей Байдалаков, который еще только вчера вечером смешил всех товарищей в командирской столовой веселыми анекдотами.



— Стыдитесь, — сказал ему Краснов, — вы орденосец и должны другим пример показывать, а ведете себя, как свинья. Я отдам вас под суд. И, обратившись к Соколенко, сказал:

— Вы будете комиссаром батальона.

— Есть! — ответил Соколенко и, смущаясь, стал протирать огромным носовым платком с голубой каемкой свои запотевшие очки.

Он вошел с мороза, и в жарко натопленной комнате очки его сразу запотели. Без них он казался гораздо моложе своих сорока лет и выглядел совсем юрким и штатским человеком.

Соколенко, журналист в недавнем прошлом, на войне был работником подвоза и комиссаром части пазначался впервые.

«Может быть, напрасно я его пазначил, — думал теперь Краснов, вглядываясь через окно самолета в проплывающие внизу снежные туманные леса, но иного другого не было, а он отлично работал. Только отчето он тогда так сробел?.. Но может быть, это мне показалось...»

И Краснов вспомнил, как он объяснял Соколенко сложившуюся обстановку.

— Большие силы врага неожиданным ударом захватили город Эиск — железнодорожный узел, один из важнейших ключей к путям на север, пункт, из которого шло снабжение нашей Северной армии. Здесь был наш глубокий тыл. Випа за этот прорыв ложится на соседей. Но сейчас не время говорить о том, кто виноват. Надо немедленно исправить положение. Фронт нашей армии повернут на север и, таким образом, от Эиска до штаба армии — дорога врагу открыта. Только в одном месте надолбы, а в другом — окопчики в шолпрофля. Ваш саперный батальон немедленно выбрасывается вперед. За ним пойдет стрелковый полк и мотомехбригада. А опергруппа штаба нашей армии на рассвете вылетает вперед, навстречу отступающим частям соседа. Мы оставшим эти части! Организуем их и отобьем город Эиск! Таков приказ наркома!

И тут член Военного совета напомнил Соколенко слова Ленина о том, что должен делать военный комиссар.

— Есть делать все! — повторил тогда Соколенко и пошел к двери.

Байдалаков во время этого разговора стоял около письменного стола, и обычно веселое его лицо выражало тогда такое отчаяние, что даже Краснов, погруженный в думы о дороге, по которой двигались от Эиска к штабу нашей армии пезицы с танками, о дороге, открытой для врагов, заметил это отчаяние и, вступив на мягкий ковер, остановился за шаг до Байдалакова.

Байдалаков стоял, затаив дыхание. Он старался не дышать, чтобы член Военного совета не почувствовал запах водки.

— Ладно, — сказал ему тогда Краснов, — вы полетите со мной, с опергруппой, и мы посмотрим, как вы там будете себя вести.

Эти слова вернули Байдалакова к жизни.

— Честное слово, товарищ член Военного совета, я не пьющий, — сказал он. — Я...

— Разговор окончен... На рассвете встретимся на аэродроме, — раздражаясь, сказал член Военного совета, и тут его вызвали к командующему.

Самым обидным для Байдалакова было то, что он действительно был пьющим. И сейчас, сидя в самолете, он думал сразу и о своей обиде и о батальоне, жизнью которого жил больше года, знал в нем чуть ли не каждого бойца, проделал с ним огромный путь, и из которого теперь был вырван вдруг — в самый опасный, в самый напряженный момент.

Под предлогом необходимости собирать кое-какие вещи Байдалаков пришел в землянки саперов, вслед за Соколенко.

Бойцы снаряжались в путь, они были заняты своими делами, укладывали вещевые мешки, прилаживали обмундирование, перематывали поудобнее портянки, и мало кто из саперов заметил своего бывшего комиссара. Новый уже успел им представиться.

Байдалаков без дела ходил по землянкам, внезапно почувствовав себя здесь совсем посторонним. И это после всех трудов, положенных на батальон и не раз даже отмеченных приказами! Ощущать себя посторонним человеком в землянках, каждый закоулочек которых был ему знаком, которые делались по им утверждённому плану, было вдвойне обидно. Ни на секунду не сомкнув глаз до старта самолета, Байдалаков сейчас дремал, склонив свою светлорусую голову на высокое плечо смуглого Крапивина. Но и во сне не покидало его неприятное чувство незаслуженной обиды. Плечо Крапивина немело под тяжестью сложенной головы товарища, но он, глядя на заспанные вершины пронесавшихся внизу елок, старался не шевелиться. Неизвестно ведь скоро ли сподается поспать товарищу, и в какой это будет обстановке, — в избе ли, в окопе, в землянке или под открытым небом.

Иногда Крапивин отрывал глаза от покрывшегося тонким ледком обшивки самолета и вглядывался в лица своих спутников. Здесь был генерал-майор Сулов — преподаватель одной из академий, известный тем, что всегда был всем доволен и очень любил толковать и вразумительно объяснять то, что, впрочем, и без него хорошо знали. Здесь был полковник Свирский, рябоватый, с добродушной улыбкой человек, побывавший в боях в Монголии. Он недавно вывел свою дивизию из окружения, был ранен и сейчас только выписался из госпиталя. Рядом с ним сидел батальонный комиссар Степняк, огромный, широкоплечий, но энергичный человек, которого командование бросало всегда на самые опасные и ответственные участки. Он выполнял то, что иным казалось невыполнимым. Его уважали, но почему-то недолюбливали. Справа от Крапивина сидел старший подполковник Волков — работник по комсомолу, развеселый, круглолицый и статный парень.

Самолет наклонился, мотор на мгновение заглох. В этой внезапной тишине очнулись дремавшие. Над землей шел частый снег. Плотной сеткой он мельтешил перед окошками и мешал разглядеть аэродром.

Снизу взвилась ракета.

Самолет делал второй круг над аэродромом.

Летчик не мог в метели разглядеть выложенного на снегу посадочного знака. Когда он шел на третий круг, снизу зажглись две дымовые шапки, самолет коснулся земли. Толчок, другой, — он уже шел по аэродрому.

На лыжу вскочили люди, весом своим тормозя ход машины.

Борис Крапивин первый выскочил из самолета, и сразу же его глаза зацепили мокрый снег.

Крапивин помог выбраться Свирослому. Не сгибаясь, прыгнул на землю, поскользнулся Волков. С легкостью, неожиданной в таком грузном человеке, сошел командующий, и темная его кубанка сразу побелела.

Но в это мгновение вдруг раздалась стрельба из пулемета и кто-то закричал:

— Сюда! Сюда!

Крапивин услышал гудение моторов и громкий оглушительный звук взрыва, а затем команду члена Военного совета.

— Прочь от самолета! Прочь от самолета!

— Берегите командующего!

По снежному аэродрому бегали люди. Крапивин очутился рядом с командующим.

— Бегите! Бегите скорее, молодой человек, — сказал командующий, — а у меня одышка, тяжел я.

Совсем близко от них разорвалась вторая бомба. Их ударило воздушный волной, словно молотом по лицу со всего размаха.

— Вот сволочи, нашли время бомбить! — выругался командующий и, усмехнувшись в подстриженные усы, громко проговорил: — «Эх, люблю военную жизнь, — сказал солдат и горько заплакал». Ну, ничего. Свое дело все равно сделаем.

Через десять минут вся опергруппа, отряхивая с шинтелей снег, собралась в холодной избе опустевшей деревни Сарожка, где почти все дома были разбиты немецкой авиацией. В шести километрах отсюда шли к Сарожке отступающие в беспорядке части соседа, за ними двигались преследующие их вылетающую немцы, а далеко позади спешили к Сарожке на грузовниках сапёры и еще дальше шел стрелковый полк и заводили моторы танкисты мотомехбригады.

Командующий скинул бекену и, положив на планшет карту, давал быстрые и точные приказы. На деревянной лавочке, покрытой пятнами стеарина, два связиста устанавливали прямоугольные ящики полевых телефонов. А на аэродроме все еще раздавались взрывы, от которых ходуном ходили стены старого бревенчатого домика. Это, взметая перемешанную со снегом землю, рвались немецкие бомбы.

## Глава вторая

### ДОРОГА ОТ ЭНСКА

Окна с выбитыми стеклами были закрыты кусками старой фанеры и похучками. Хозяева избы, боясь прихода немцев, ушли с детьми в лес. Никто не хотел оставаться в деревне. В суматохе на печи оставили большой, старинный медный самовар, с вытесненными на нем гербами и медалями международных призов, полученных Тульским заводом. Самовар этот теперь мирно урчал, наполняя избу серым паром. В чисто выбеленной русской печи весело запылало пламя, и в избе постепенно становилось тепло. Но все командиры опергруппы, получив задание, уже ушли. Вслед за ними собрался командующий, который должен был в тот же день на самолете перебраться в место расположения штаба соседней армии, оставившей Энск, чтобы согласно приказу ставки принять командование и над ней. Здесь оставался сформированный командующим штаб опергруппы, которая должна была действовать с севера от Энска, остановить и организовать в беспорядке отступающие части соседа. Командиром группы назначался генерал-майор Суслев, заместителем его полковник Свирский, батальонный комиссар Степняк был назначен комиссаром штаба, Крапивин — начальником политотдела группы.

Зазуммерил телефон...

— Индия! Индия! Индия! — тихо проговорил в трубку связист и затем громко сказал: — Товарищ генерал-майор, вас просит Испания.

Суслов взял трубку. Рвущийся из нее толос был слышен за несколько шагов. Говорил лейтенант Артюшенко:

— Передо мной несколько танков, а у меня всего десять человек и два противотанковых орудия без снарядов. Сейчас танки проскочат через мост, и я останусь окруженным. Разрешите уйти на северный берег.

— Орудия! Орудия с собой заберите, — закричал в трубку Суслов.

Где-то вблизи раздалась длинная пулметная очередь. Суслов передал трубку связисту.

— И вы разрешили ему оставить переправу? — спокойным голосом спросил командующий. — Запомните, что с этого часа — ни одного разрешения хотя бы на шаг назад никто от вас не должен слышать. Вперед сколько угодно. Поняли? Эск должен быть отбит! Ясно?!

— Но ведь надо спасать орудия, — пробормотал Суслов, — даже Евгений Савойский...

— Давайте условимся, что вы забудете Евгения Савойского и даже Наполеона, а будете помнить князя Итальянского. А еще лучше не утомляйте себя историческими параллелями, товарищ генерал, — раздраженно сказал командующий и направился к двери. Когда он спускался по скользким заснеженным ступеням крытого крыльца, снова зазуммерил телефон. Снова вызвала генерала Испания. Командующий быстро повернулся, вошел в избу и быстро взял трубку из рук связиста.

— Товарищ командир, — задыхаясь говорил кто-то в трубку, — Говорю я, связист Испания Петин Семен... Сейчас вам звонил лейтенант Артюшенко и говорил, что перед нами немецкие танки. Это неправда. Никого нет. Я прошел вперед. Трактор-тягач за полкилометра что-то вытягивает... Вот и все.

— Кто там, кроме тебя, товарищ Петин, остался? — спокойно спросил командующий. — Как никого? Ты один? А где лейтенант Артюшенко? А люди? Ушел. Увел людей. Так, так, так... А орудия? Орудия оставил на месте! Так... Так... Что тебе делать? Сиди до тех пор, пока можно наблюдать. Командование благодарит тебя за честную службу.

Командующий отдал трубку связисту и радостно сказал:

— Есть у нас настоящие люди! Товарищ Краснов, запишите — не забыть бы фамилию: Петин Семен. — И он быстро вышел из избы на деревенскую улицу, по обеим сторонам которой стояли избы, зияющие пустотами выбитых окон.

На высоком шесте перед избой штаба висел пофосывшийся скворечник. И хотя был уже полдень и снегопад прекратился — также внезапно, как начался, — все вокруг казалось сырым, и серым, и неуютным. Каждый шаг оставлял за собой темный след в снегу.

Брапивин не слышал телефонных разговоров ни с Артюшенко, ни с Петиним. Вместе с другими товарищами он был далеко на дороге.

Навстречу по растоптанной рыхлой дороге, которую с обеих сторон обступили бескрайние леса, шли колхозники, волоча за собой саночки с пехитры деревенским скарбом и примостившимися сверху малыми детишками. Они уходили в лес. Тут же рядом, вразброд, без строя, по одиночке и группами шли

бойцы. Почти у всех были винтовки, некоторые несли ручные пулеметы Дегтярева, и Крапивин видел, как двое бойцов тянули за собой на колесиках станковый пулемет.

Среди бойцов грядки шли командиры. Они выглядели очень утомленными, шли понуро и даже не пытались навести хоть какой-нибудь порядок.

Вся эта толпа, теснясь, текла по дороге уныло и равнодушно.

Крапивин глядел на небритые осунувшиеся лица, на этих вооруженных людей, бессмысленно идущих по дороге, стремящихся поскорее уйти неизвестно куда, своим скоплением создававших для самих же себя опасность значительно большую, чем если бы они в организованном порядке приняли бой, — и на сердце Крапивина вскипало раздражение и даже злость против этих уныло бредущих людей.

— Где командир полка? — остановил он старшего сержанта.

— Не знаю, — ответил тот и пошел дальше.

— Там, кажись, за поворотом дороги у костра греется, — отозвался боец.

— Стой! Стой! Куда идешь? — кричал на идущих по дороге Байдалаков, останавливая то одного, то другого. Но как только он переходил к следующему бойцу, тот, кто был остановлен раньше, вдруг вновь вскидывал винтовку на плечо и снова начинал шагать по дороге.

На помощь Байдалакову пришел Волков, и вскоре им удалось сколотить небольшой отряд, разбить его на взводы и поставить поперек дороги, преграждая путь отступавшим.

Командиры взводов назначались тут же: из младших сержантов и наиболее спокойных бойцов.

Степняк с Крапивиным прошли дальше.

Около трехдвоймовки, колесо которой застряло на повороте в обочину, столпились люди, помогающие артиллеристам вытаскивать орудие. И далеко по дороге и по лесу раздавались их уверенные выкрики:

— Эй, дружно! Эй, разом! Эй, вместе!

И когда Крапивин слышал эти обидные и будничные возгласы, он незаметно для самого себя проникся чувством уверенности, стал спокойнее. И все же ему хотелось вытащить свой пистолет и стрелять по тем, кто, перепрыгивая через канавы, обочины, убегал в лес. Неизвестно каким образом до идущих в беспорядке людей донесся слух о том, что впереди стоит отряд. Некоторые хотели миновать его, пробираясь по глубокому, рыхлому снегу, через чащу, в обход дороги. Большинство из них были в ботинках и обмотках — валенок еще не успели раздать, так как ранние морозы наступили внезапно, — все они знали, что лес болотистый — и вот поди ж ты, обламывая сучья, все же пробирались через частый, цепкий кустарник с дороги в лес.

— Ты не горячись! — положил руку на плечо Крапивина Степняк. — По существу, — это хорошие люди, поверь мне, я вторую войну воюю. Эти красноармейцы еще как драться будут! Увидишь!

За поворотом дороги был разложен костер. Протягивая руку над сизым его дымом, стоял и что-то оживленно рассказывал бойцам чисто выбритый лейтенант в новеньком, пахнущем еще мастерской, овчинном полушубке.

«Где он его раздобыл?» — подумал Степняк.

В эту минуту неподалеку, справа от дороги, из лесу раздались глухие звуки выстрелов. Слева откликнулась дробная очередь автомата, и кто-то на дороге крикнул:

— Отрезают! Обходят!

Лейтенант, разговаривавший у костра, побледнел и рванулся в сторону.

По дороге бежали люди, некоторые бросали оружие в снег. Справа и слева от дороги снова повторилось несколько выстрелов.

— Всего только два или три немецких автоматчика, — сказал Степняк Крапивину, тот кивнул ему и быстрым шагом отошел от костра на дорогу.

— Стой! Стой! Куда ты? — кричал он бегущим ему навстречу бойцам.

По они пробегали, отворачивая от Крапивина лица, делая вид, что не замечают.

Одного из бегущих, с широко раскрытым ртом и испуганными глазами Крапивин схватил за винтовку — и винтовка осталась у него в руках.

Навстречу, держа винтовку наперевес, бежал другой боец. Казалось, заломит всякого, кто попытается его остановить.

Злая досада охватывала Крапивина. Он отлично понимал, что по сторонам дороги идут всего несколько неприятельских автоматчиков, цель которых — создать панику. Довольно нескольких спокойных и не напуганных людей, чтобы их уничтожить. Было обидно, что эти автоматчики так легко достигли своей цели, а он ничего не может сделать, чтобы остановить бегущих.

Уже близкий к отчаянию, Крапивин вдруг увидел спокойное лицо одного из бойцов, который медленно шел среди бегущих. Глаза их встретились, бодро подмигнул старшему политруку и, крикнув: — Хлопцы, я ваш бог! — стал рядом с ним.

Но хлопцы также мало сейчас были склонны слушать своего бога, как старшего политрука.

Шарахаясь в сторону от каждого редкого выстрела, они продолжали бежать, превращая снег на дороге в желтое месиво.

И вдруг почти над самым своим ухом Крапивин услышал промовой голос:

— Ложись! Ложись!

Это кричал Степняк. Крапивин увидел, как впереди, и справа, и слева него люди падают, валятся в снег, на дорогу. Иные падают, не выпуская рук винтовку, другие откидывают подальше оружие. Но не было вокруг одного человека, который не подчинился бы этой внезапной команде. Оно понятно — команда «ложись» дается тогда, когда угрожает опасность, гораздо большая, чем та, от которой можно бежать. И сам Крапивин не упал тогда оттого, что увидел стоявшего рядом во весь рост Степняка.

Степняк подошел к одному из лежащих в снегу бойцов.

— А ну, вставай! — сказал он ему. — Немцев-то всего парочка, а сотни. Ты, я вижу, парень неплохой, только зря от других паникой заражаешься. Вставай! Будешь мне помогать отряд восстанавливать.

Лежащий на земле человек более способен прислушаться к спокойному голосу и понять его. И боец, смущенно оглядываясь — ему было неудобно перед другими за то, что он праздновал труса, — встал и поднял свою винтовку.

— Борис, делай то, что и я! — крикнул Крапивину Степняк, но тот, догадавшись, поднимал других. Ему помогал Сухарев — боец, который раньше остановился и стал рядом.

Минут через пятнадцать около них сгруппировался небольшой отряд. Степняк, отбрав нескольких красноармейцев, стал окапываться с ними по сторонам дороги, время от времени стреляя в сторону автоматчиков. И те действительно перестали стрелять и, повидимому, ушли обратно.

Крапивин оглянулся. На камне у дороги, смахнув с него снег, сидел боец, молодой парень, и флегматично перемазывал портянки. Винтовку он зажал между ног. Лицо его дышало таким спокойствием, что Крапивин даже поразился.

— Вы запасник? — спросил он.

— Мы? Мы — запасник, — словоохотливо ответил боец.

— Ваша фамилия?

— Наша фамилия? Наша фамилия — Иванов.

— Так вот, товарищ Иванов, вы пойдете со мной.

И вдруг Крапивин увидел у края дороги бойца, который, держа винтовку наперевес, только что бежал прямо на него. Сейчас он стоял около дерева и, сморщив из обрывка газеты козью ножку, деловито насыпал в нее махорку.

— До каких пор ты думаешь отступать? До Пудожки или до Вологды? — спросил Крапивин бойца.

— Может, до Вологды, а может, и дальше, за Вологду, — ответил тот, — куда придется.

— Ах ты, сукин сын, за Вологду готов! — выругался Степняк, подходя к ним.

— Я не знаю, — ответил боец, — куда придется.

— Идем со мной, — сказал Крапивин. Вытащив из кармана своей шинели пачку папирос, он распечатал ее и стал угощать окружающих его бойцов. Сам Крапивин не курил — и поэтому карманы его всегда были набиты папиросными папиросами, и он охотно всех угощал.

Дымки от папирос смешались с паром дыхания.

— Опасаюсь, — сказал боец, которого Крапивин мысленно называл «Вологда», — опасаюсь, как бы наша кухня немцу не досталась.

Вместе с отобранными им красноармейцами Крапивин быстро пошел вперед по дороге.

В это время к костру, около которого опять стоял щеголеватый лейтенант, подходил командующий, за ним, поблескивая плоскими лопатками полуавтоматов, шло пять бойцов пограничников. Лейтенант увлеченно продолжал рассказывать собравшимся у костра о том, как здорово папирали немецкие танки, как они с двумя противотанковыми пушками били по немцам чуть ли не в упор. При этом он в такт речи размахивал рукой. Несколько молодых бойцов, раскрыв рты, с вниманием и уважением слушали его рассказ.

— И лишь тогда, когда уже не оставалось снарядов, я перешел на северный берег. По этому мосту я прошел последним.

— Вы лейтенант Аргюшенко? — раздался резкий голос из-за спины рассказчика.

Слушая рассказ лейтенанта, люди не заметили, как подошел командующий. Никто из стоящих у костра не знал его в лицо, на бегу же не видно было знаков различия, но по тому, что на нем была не принятая здесь каракульчевая кубанка, и по тому, что его сопровождали пограничники, и по властному тону, которым он задал вопрос, — все поняли, что перед ними находится человек, облеченный большой властью.

Лейтенант вытянулся, взял под козырек и тоном победного рапорта ответил

— Так точно, я лейтенант Артюшенко!

— Это вы бросили, шарушая приказ, два орудия на том берегу, остав их немцам?

— Да, по... не было никакой возможности, — начал оправдываться Артюшенко.

Он уже не походил больше на того развязного человека, героя, рассказ которого с таким вниманием слушали бойцы. Он бормотал:

— Не было никакой возможности. Наседали фашистские танки.

— Врешь! Никаких танков и в помине не было! Трус! Удирает с поля боя! Бросает орудия! Вводит в заблуждение командование! Подлец! — выругался командующий, и в голосе его было столько уничтожающего презрения, что лейтенант сам прочел себе в нем приговор, но подлежащий кассации.

— Возьмите его, — приказал командующий пограничникам. — Снимите с него зимнее обмундирование.

Повернувшись к пограничникам и снова на мгновение обрета спокойствия Артюшенко, желая самому себе показаться стоящим человеком, шагловато пошел из лесу:

— Эх, был лейтенант и нет лейтенанта!

— Не было лейтенанта! — спокойно сказал командарм.

Красивин вместе со своими людьми, каждому из которых он сам для себя дал наименование — бог, Вологда, просто Иванов, — с пулеметчиком Бельцерковским, тащившим на себе ручной пулемет и диски к нему, — шел вперед по дороге.

Все меньше и меньше людей попадалось навстречу. Шли только одиночки. Красивин спешил. По заданию члена Военного совета Краснова он должен был дойти до того места, где уже совсем заканчивалось расположение наших частей и начинались форпосты врага, и немедленно сообщить ему об этом. Здесь у края дороги он заметил группу бойцов, человек двенадцать, сидевших на поваленном дереве. Он не остановился, но все же он увидел то, что надолго ему запомнилось.

В бойцам, расположившимся на поваленном дереве, подбежал молодой лейтенант, на синеглазом его лице от напряжения выступили крупные, прозрачные капли пота.

— Там, в лесу, несколько немцев! Ребята, за мной! — крикнул он.

Но никто даже не пошевелился.

— Кто здесь верный сын революции, встань! — крикнул лейтенант.

Один из бойцов встал, поглядел на лейтенанта, затем на товарищей и решительно сказал:

— Пойдем, что ли?

За ним встал другой боец, остальные сидели не шевелясь, как бы не слыша приказа. Тогда, отстегивая кобуру и обнажая пистолет, молодой лейтенант громко сказал:

— А в предателей революции и родины я буду стрелять!

Медленно отряхивая с шинели снег, встал еще один боец, за ним второй, третий... Послышались щелканье затворов.

— За мной! — сказал лейтенант, легко перепрыгнул через канаву и, проваливаясь почти по колено в снег, устремился в лес.

Когда через два дня Красивин снова встретился с лейтенантом Глебовым, тот приказом командующего уже был произведен в старшие лейтенанты.



## ПЕРЕПРАВА

Связист Семён Петин раздвинул запорошенные снегом кусты и выглянул вперед.

По дороге марным шагом проходили немецкие солдаты в шинелях мышиного цвета. Они с опаской смотрели на придорожные кусты и деревья и держали оружие наготове, но все же шли не рассредоточившись, как полагается, а тучей.

Петин пожалел, что у него нет под рукой пистолета-автомата — всех бы снял.

Он тяжело вздохнул, оборвал провод и, взяв ящик телефонного аппарата подмышку, быстро пошел к реке по едва заметной тропке. Он непременно должен был опередить немцев и первым перейти по досчатому мосту.

Проходя мимо замаскированного ельником и пестрой осенней листвой противотанкового орудия, одиноко стоявшего у самой тропки, он погладил ладонью холодный ствол его, стер серебристый иней с пальца. Рука заныла от холода. Он снова тяжело вздохнул, поправил за плечом винтовку и еще быстрее пошел к реке. До войны Петин был счетоводом, но все свободное время отдавал занятиям в кружке живописи при заводском доме культуры. Но если бы он и не занимался живописью, то все равно не мог бы не замечать суровый пейзаж, который открывался перед его глазами.

Снег в этом году был ранний, с каждой минутой становилось холоднее и холоднее. Никогда к началу ноября не было здесь такого мороза и не все еще березки и осины успели сбросить с себя пестрое осеннее оперение. На ветвях, сохранивших кое-где красную и золотую листву, налипал уже пушистый снег. Скалистый высокий берег был покрыт снегом, но кое-где под прикрытием отвесных скал, на которых лежали одинокие сосенки, виднелись желтовато-зеленые прогалины с яркокрасными точками мороженой брусники. И по одной такой прогалине важно и медленно прохаживались, поклеивая ягоды, три огромных глухаря. Вокруг стояли тишина и безлюдье, и на чистом уже небе, отражаясь розовыми отблесками на бронзовой коре высоких деревьев, пылал закат. А внизу, под скалами, текла по своему руслу, словно по просеке, прорубленной в густом лесу, река, плавно пронося потемневшие холодные воды к Лалогю.

Лужицы на дороге и вода в канавках обочины уже застыли, подернулись тонким, хрупким молодым ледком, а над рекою подымался белесый туман.

Тропка вывела Петина на большую пустынную дорогу, и здесь по бестолочи следов, по лошадиному навозу, по обломанным ветвям — ему стало ясно, что, хотя на дороге никого не было видно, ни о каком безлюдьи говорить не приходилось. Здесь на дороге даже явственно слышен был какой-то неразличимый гул, в котором отзвуки выстрелов смешивались с гудением моторов, жужжаньем лошадей и человеческими голосами.

Спуск к переправе был крутой. И около него — ДЗОТы справа и слева. Впрочем, если бы Петин раньше не знал, что здесь есть ДЗОТы, он не заметил бы их, так хорошо они были замаскированы.

«Пустыни оставили! А сколько над этим саперы напши корпели», — подумал он и почти бегом спустился к самой переправе. Противоположный берег был значительно ниже. Сцепленные друг с другом бревна составляли как бы

каркас переправы, на который сверху были набиты сплошным настилом доски по краям закрепленные каемкой из поперечных бревен. Нижки, уступы, быков — не было, и поэтому настил достигал уровня воды и пружинил ногами; вода на нем проступала и замерзала на досках блестящим скользким.

Сейчас гладкие, обледеневшие доски чернели под слоем свежего снега. Петя стояло больших усилий перейти по этой переправе со своим грузом и не скользнуться. Но он, балансируя, все же прошол на другой берег и стал поправлять по дороге. Надо было пройти по совершенно открытому месту до первых камней и метров пятнадцать до леса. Пройдя это пространство, Петин вошел в лесок и тут услышал скрип и ровный плеск воды, от колебания настила. повернулся и увидел идущего по нему немецкого автоматчика. В первое мгновение Петин растерялся, руки у него были заняты телефонным аппаратом, он не знал, что делать с ним. Затем пришла ясность. Он поставил ящик, камень, снял из-за плеча винтовку, стал за ствол и, приложившись, стоя, в стрелял. Приклад ударил в плечо. Петин зажмурился, потом открыл глаза, увидел круги на воде. Немец, раскинув руки, лежал на досчатом настиле переправы, и пальцы его левой руки, сжимаясь, загребали снег. По воде расползли широкою круги от оброченного пистолета пулемета.

«Жаль пистолета, — подумал Петин, — пригодился бы».

Он снова взвалил на себя ящик и ускорил шаг. Каждую минуту через переправу могли проскочить немецкие мотоциклисты. Но не успел он отойти и двадцати шагов, как из-за дерева выступил человек. Сердце у Петя екнуло.

Он остановился.

— Товарищ, — обратился к нему боец, — ты идешь в тыл, скажи там чтобы меня сменили, а то уж вторые сутки здесь дежурю. Убило, наверно того, кто меня поставил, вот и стою тут не жалею.

— Да уходи ты! Впереди никого нет. Немцы, — сказал ему Петин, — ищете, немцы!

— Говорят тебе — не могу от вещей уйти, — разозлился боец. И таким же раздраженным тоном спросил:

— Сухарь есть?

Петин повернулся к нему боком, чтобы не снимать с плеча ящик.

— Один есть. Тащи из кармана! Только чур пополам!

— Ладно, — ответил боец и запустил свою покрасневшую от холода руку в карман его шинели.

— Я ведь сапер, — сказал он неизвестно к чему, разламывая большу сухарь надвое. Петин хотел спросить, что охраняет здесь сапер, но в эту минуту они увидели быстро шагающего к ним командира в черной лету шинели, с которым шло несколько бойцов. Высокий, худощавый и смуглый он шел быстро, широко расставляя ноги. Сапер, увидя прямоугольник на лубых петлицах шинели и красную звезду на рукаве, сказал:

— Товарищ старший политрук, позвольте к вам обратиться.

И он повторил то, о чем только что говорил Петину.

— А вы откуда? — обратился Крашвин к Петину.

Тот спокойно и подробно рассказал все, что видел.

— Немцы каждую секунду могут пройти через эту переправу, — закончил он свое сообщение.

— Что вы охраняете, товарищ сапер?

— Сено, бочку горючего, колючую проволоку.

Метрах в двенадцати от дороги оказался его груз, прикрытый брезентом, в складках которого лежал снег.

— Товарищи, — приказал бойцам Крапивину, — тащите сено на мост, займите горючим и подожгите.

Те сразу принялись за дело. проволокли тучки прессованного сена вниз к переправе, покатали туда ребристый металлический бочонок керосина. И вскоре съездом строй стволов сосен стало видно, как в наступивших сумерках вспыхивали на реке языки пламени.

А сам Крапивин в это время смахнул снег с придорожного камня, сел на него и принялся писать записку командиру опергруппой, члену Военного совета Краснову о том, что немцы движутся к оставленной нашими частями переправе и что он с группой бойцов займет оборону, уничтожит переправу и не допустит фашистов пробраться на этот берег.

Крапивин прекрасно понимал, что защита этой маленькой переправы имела теперь огромное значение.

Если немцы захватят переправу и проскочат на этот берег, они сумеют перевести танки и ринутся по открытой дороге на штаб и на тылы Северной армии. При одной этой мысли у Крапивина холодело сердце.

— Немедленно доставьте эту бумагу члену Военного совета дивизионному комиссару Краснову от старшего политрука Крапивина, — сказал он Петину.

Петин расстегнул шинель, спрятал написанный Крапивиним листок в карман гимнастерки, козырнул, поправил за плечом винтовку и, взяв подмышку телефонный ящик, пошел по дороге.

Крапивин встал с камня и пошел вниз к переправе. Навстречу ему шел сапер. Сухарь похрустывал у него на зубах.

— Еще тучки сена возьму, — сказал он Крапивину, — а то просто беда, мост не горит.

Крапивин ускорил шаг. Издалека он увидел, как ярко в сумерках быстро наступающего вечера горит сено, политое керосином. Из круглых клубов дыма взметались вверх и разбрызгивались в стороны острые длинные языки пламени. Но как только пламя доходило до досок настила, оно становилось все мельче и мельче, и дым стелился все ниже к реке. Настил не загорался. Холодная вода, накатывавшая на доски, не давала им загораться. Это понял Крапивин, и в то же мгновение он увидел показавшихся на дороге неприятельских солдат.

— Назад! — закричал он бойцам, стоявшим открыто у самого берега и с живейшим интересом наблюдавшим за тем, как горело на мосту сено. Немцы тоже заметили красноармейцев и остановились. Один из них выстрелил в группу, но не попал и быстро лег у дороги.

Крапивин вздрогнул, совсем рядом с ним раздалась оглушительная звуков пулеметной очереди.

Притаившись за камнем у ручного пулемета, полуоткрыв рот и блестя серебряным зубом, лежал небритый Белоцерковский. Один из немцев рухнул на порыжелый снег дороги, остальные разбежались по сторонам. Когда они открыли ответную стрельбу, все люди Крапивина были уже наверху, за камнями.

«Так неужели же мы сдадим эту переправу? — подумал Крапивин. — В этом ничего нельзя будет винить, кроме нас, кроме меня. — добавил он. — Особенно после моей записки. Да и к черту записку! Хватит! В самом деле, не до Вологды же отступать!»

Немцы вели беспорядочную стрельбу.

Крапивин оглянулся. Сзади, из-за леса, к нему приближался сапер, вояча два ящика с взрывчаткой, похожей на бруски плавленного сыра.

Через плечо сапера был перекинут бикфордов шнур.

— Товарищ старший политрук, — сказал он, радостно улыбаясь, — может, этот ящик подойдет? Чудесная взрывчатка, там под снегом была.

— Подойдет!

Снегом дотлевало на пастиле переправы. Темные обгорелые пучки сухой травы носились по воздуху. И все так же, раскинув руки, лежал на мосту немский автоматчик.

Крапивин отошел назад на несколько шагов и подождал, пока себе краснотой армейцев.

— Товарищи, — сказал он и оглянулся.

Перед ним на снегу стояло два ящика с желтоватым толом. Сапер сидел на них, распрямляя бикфордов шнур.

— Товарищи, — повторил Крапивин и кончиком языка облизнул внезапно пересохшие губы.

— Как ваше самочувствие? — вдруг спросил он.

— Как у всего народа, — серьезно отозвался Сухарев. — Я лично чувствую себя, как в пекарне перед тем, как в печь хлебы ставить, — добавил он балагурия по свойственной ему привычке.

— Имейте в виду, что нам на долю пало ответственное задание. Очень опасное задание, — сказал Крапивин. — Если враг проскочит через эту переправу, то до штаба нашей армии ему дорога открыта. Если он перейдет реку, то, чтобы отогнать его обратно, придется положить тысячу жизней. Эти жизни сейчас в наших руках. Мы здесь с вами стоим, и нет спины, за которую нам можно спрятаться. Если не Иванов, не Сухарев, не Фадеев, не Белоперковский, то кто же? Ну, вот

— Товарищ комиссар, вы меня не агитируйте, — сказал Белоцерковский. — Кроме того, что я дерусь за свою родину, у меня есть особые счета с Гитлером. Мне с ним за сына, за жену посчитаться нужно!

Все это он выпалил одним духом и снова занялся диском.

— Так, все ясно! — и Крапивин показал на ящики с взрывчаткой. — Это надо будет доставить на мост и взорвать его. Один поползет с взрывчаткой, остальные будут прикрывать его огнем.

Белоцерковский поймал его взгляд на себе.

— Для этого и существует ручной пулемет! Для прикрывания продвижения стрелков вперед. Мы-то устав знаем.

И он стал прилаживать пулемет в расщелине между двумя камнями.

— Дай-кась я пойду первый, — сказал Иванов.

Он, примериваясь, поднял ящики с взрывчаткой и удовлетворенно крикнул:

— Ничего, подходяще!

— Сними шинель, удобнее будет, — сказал Крапивин.

Иванов снял шинель и положил на снег.

— В случае чего, там в кармане четверка махорки есть. Возьмите!

— Кем до войны работал? — спросил Крапивин.

— Лесоруб, наследственный лесоруб я буду

Сказав это, Иванов ловко подобрал ящики, пронес их, полусогнувшись вперед, затем лег в снег и пополз вниз по склону, толкая их перед собой.

Товарищи, затаив дыхание, следили за ним, и хотя в наступающих сумерках было уже трудно его разглядеть, они видели каждое, даже самое малое движение ловкого шария.

С противоположного берега раздался выстрел, другой.

Иванов продолжал ползти.

Белоцерковский дал очередь по тем кустам, из-за которых стреляли немцы. Другие товарищи поддержали его.

Иванов продолжал медленно ползти, всем телом прижимаясь к земле, толкал перед собой драгоценные ящики. И хотя было холодно, от волнения на лбу у Крапивина выступили крупные капли пота. С вражеского берега били все чаще и чаще. Крапивин оглянулся, справа от него лежал сапер. Он разгребал руками снег, освобождая от него куст брусники, собирал в ладонь крупные багряные ягоды и затем подносил полную брусники ладонь ко рту. Слева от Крапивина Вологда, скинув шинель, снимал теперь уже свою гимнастерку.

«Для чего он это делает?» — подумал Крапивин и снова взглянул вперед.

Иванов дополз почти до камешка, стоявшего как раз посередине между ружьем, от которого он начал движение, и началом переправы.

Выстрелы с немецкой стороны зачастили, и вдруг Иванов дернулся и замер.

«Ранен или затаился?» — с тоской подумал Крапивин.

— Кончился, — произнес рядом с ним Вологда и тихо повторил: — Кончился.

И вдруг все увидели, как Иванов пошевелил руками, выбросил их вперед и отползнул еще на полметра взрывчатку. Потом он снова дернулся и затем остался лежать уже без движения, с протянутыми вперед руками.

Крапивин оглянулся — Вологда натягивал сорочку поверх гимнастерки. Молча он взглянул в глаза Крапивину.

— Прощай, товарищ командир, — сказал Фадейкин и перекрестился.

Он вылез из след Иванова, лег в снег и, быстро работая локтями и коленями, пополз вглубь по склону.

Огонь с немецкой стороны не прекращался ни на минуту. Когда немцы увидели ползущего Фадейкина, огонь стал еще чаще.

Наступавшая темнота прикрывала Фадейкина, помогая ему пробираться вперед. Он дополз до рокового камня, около которого лежал Иванов. Прополз мимо, взял обеими руками ящики с взрывчаткой и толкнул их вперед. В это мгновение резкий свет, словно вспышка молнии, заставил зажмуриться Крапивина. Но когда он открыл глаза, попрежнему над рекой, над переправой стоял этот ослепляющий, ровный и ясный, белый, слегка зеленоватый свет. Деревья резко выступали из мрака, стало светло, как днем, как при вспышке молнии. Это немцы пустили осветительную ракету.

Сорочка Фадейкина отлично маскировала его, если бы он лежал без движения, но так как он продолжал ползти вперед и двигать ящики взрывчатки, его не так уж трудно было при свете ракеты разглядеть.

Дробно заработал немецкий пулемет, и хлесткие звуки выстрелов, отражаемые прибрежными камнями, далеко разносились вокруг.

Белоцерковскому удалось поймать место вспышек, он ответил длинной очередью. Немецкий пулемет замолк. Но Фадейкин уже не шевелился. Рука его недвижно лежала на ящике. Ему удалось продвинуть вперед взрывчатку от тела бойца Иванова всего на два метра.

Погасла немецкая ракета, и Крапивину на мигновение показалось, что он ослеп — такая вдруг потемнела у глаз негрозная темнота.

— Товарищ Сухарев,— сказал он и почувствовал не то по какому-то неувловимому звуку, не то по так же неувовимо мелькнувшей между стволами тени, что и некарь отправился в путь.

Но снова зажеглась помещная осветительная ракета. И снова с ожесточением поднялась прицельная стрельба с помещного берега.

Крапивин видел, как Сухарев подполз к телу Иванова. На нем сверху была надета не только сорочка, но он успел совсем передеться и натянуть поверх штанов кальсоны.

Далеко на той стороне реки слышалось стрекотание мотоциклетных торов.

«Чего он задерживается?»— с досадою подумал Крапивин, видя, что Сухарев замедлил свое движение около Иванова.— Ведь мотоциклисты с лету могут проскочить мост.

Сухарев между тем приподнялся на локте около Иванова, приблизил свое лицо к лицу убитого и поцеловал его в губы, затем припал к земле и, извиваясь, неумело пополз вперед, по следу, проложенному Фадейкиным. Около тела Фадейкина он опять остановился, чтобы немного отдышаться, затем припал его еще теплым губам и поцеловал их, не обращая внимания на пули, которые совсем рядом вздымали кверху струйки не успевшего слежаться снега.

— Да не медли! Вперед! Не медли,— шептал Крапивин.

Он и не думал, что произносит вслух эти слова.

Сухарев взял из-под руки Фадейкина ящики со взрывчаткой и пополз вперед, волоча их за собой. Стрельба не прекращалась. Сухарев прополз еще два шага и замер без движения.

Крапивин даже не уловил того мгновения, когда пуля попала в Сухарева. Выблужившись из-за камня, он громко крикнул:

— Товарищ Сухарев, Сухарев!

И словно гальванический ток прошел по телу Сухарева, он приподнялся на локте и громко крикнул в ответ:

— Хлопцы! Ваш бог умирает!— и снова поник на холодном снегу.

Теперь было все время светло, немцы, не давая догорать одной ракете, зажигали другую.

— Товарищ старший политрук,— сказал тихо сапер, снимая шинель,— там во внутреннем кармане мое заявление, мое письмо к матери и адрес. А если случится вам встретить ребят с «Путиловца», так вы им скажите, что я был.

Он снял шинель, из кармана выпала книжка. Он нагнулся, подобрал бережно положил ее обратно. Всем своим существом Крапивин понимал, что саперу неохота выходить вперед под огонь, и еще он понимал, что может положиться на этого парня, как на самого себя. И действительно, сапер не бежал вперед не стбываясь, не наклоняясь. Он сделал несколько больших прыжков, обманув этим пристрелявшихся немцев, и рухнул на землю только за злополучным камнем, около Фадейкина. Он быстро пополз вперед. Достиг Сухарева, схватил ящики с взрывчаткой, с силой рванул их вперед. Прополз он еще два шага, приподнялся на локтях, и затем голова его ударила о бревно настила. Он достиг начала моста. Взрывчатка лежала рядом, на аршин не достигая настила.

— Так,— сказал самому себе Крапивин и огляделся. Поблизости, за камнем, у пулемета лежал Белоцерковский.

— Прикрывайте меня огнем, а в случае чего подожгите шнур,— приказал Крапивин и стал стягивать с себя темную летнюю шинель.

С того момента, как он сел в самолет, в нем сочеталось как бы два человека. Один Крапивин, старший политрук, говорил и действовал. Второй Крапивин, штатский, словно наблюдал за тем, что делает первый. Он оценивал его действия втайне, боясь, как бы первый не проявил трусости. Но с той минуты, как он отдал приказ сжечь переправу, исчезли и первый и второй — и был только один человек, поглощенный одной мыслью, одной страстью: уничтожить переправу, задержать немца.

Почему-то в памяти его встало, как он пальтичал зря на семилетнюю дочку Надюшку за то, что она переложила на столе его бумаги, и только после опохватился, что сам переложил эти бумаги. И еще припомнились ему веселые карие глаза Тани, темные ее туго заплетенные косы.

Крапивин быстро снял шинель и посмотрел из-за камня вперед, соразмеряя лежащее перед ним пространство и то усилие, которое он должен употребить, чтобы преодолеть его.

— Товарищ комиссар, — вдруг сказал Белоцерковский, отрываясь от своего пулемета. — Знаете что? Командир дорожке для армии, чем сапожник, — а это моя профессия, так что разрешите мне толкнуть вперед ящики. Осталась пара пустяков, а вы здесь отсюда будете прикрывать. Ведь вы знаете пулемет?

Крапивин на мигновение задумался.

— Идите, — сказал он взволнованно и лег за пулемет.

И Белоцерковский пошел. Он полз быстро, но неумело. Около камня пуля пробила ему ногу. Крапивин слышал, как он вскрикнул, и сердце его сжалось.

На другом берегу показалось несколько немцев. Они, пригибаясь, перебежали с одного места на другое. Крапивин прицелился. Он очень волновался, но старался уверить себя, что очень спокоен, — и длинной очередью он скошил немцев. И снова взгляд его приковался к Белоцерковскому.

Раненый Белоцерковский продолжал ползти вперед, он уже миновал Сухарева и был рядом с сапером. Он взял ящики и тут новая пуля пробила ему правую руку. Крапивин снова сквозь гул непрерывной стрельбы услышал, как тонким голосом вскрикнул Белоцерковский. И потом он увидел, как тот левой рукой стал толкать ящики уже на мосту, по дощатому скользкому настилу, к распростертому поперек переправы немецкому автоматчику. За двести секунд он продвинулся на два метра и успокоился. Он лежал, так естественно и просто положив руку на голову, словно прилег на минутку отдохнуть.

Диск пулемета был пуст.

Крапивин услышал приближающееся, уже совсем близкое стрекотание немецких мотоциклистов и, дрожащими руками рассыпая на снег сички из коробки, стал поджигать шнур. От третьей сички шнур загорелся, и голубоватый огонек побежал по нему вниз.

Крапивин волоча за собой пулемет Белоцерковского, отполз подальше назад, прилег за камень и стал считать.

Он знал, что шнур горит сантиметра два в секунду, однако, прошло уже необходимое время, а попрежнему слышна только стрельба, и взрыва нет.

«Неужели поребили шнур, или огонь погас?» — с тоской подумал Крапивин, и холодок пробежал у него по спине. И он снова начал считать. Прошли еще невыносимые десять секунд.

«Неужели все пятеро погибли ли за что?» — думал Крапивин. Тоннота нацпала подкатывать к торлу. Еще десять секунд. И еще десять.

Крапивин встал во весь рост, он хотел посмотреть, что там делается, на мосту, и тут произошло то, чего он ждал всеми силами души. С грохотом взлетели вверх разбрасываемые взрывом доски пластила. Со всех сторон слышны были всплески: взметнувшиеся вверх обломки дерева падали в воду. Сразу прохнула вшышка выстрелов с немецкого берега и наступила темнота: погасла осветительная ракета. Но в последнюю секунду Крапивин отчетливо увидел раздвоенный ствол ветвистой опромной березы на том берегу, и около нее, на краю дороги, там, где она начинается свой спуск к реке, труппу немецких мотоциклистов.

— Так, — сказал он и, протягивая вперед руки, чтобы во внезапно наступившей темноте не выколоть глаза сучком или не стукнуться лбом о ствол, пошел туда, где лежали шинели его товарищей. Наклонившись над ними, он нашел шинель сапера, вытащил из нее связку бумаг, положил их в свою полевую сумку. Из кармана снова выпала книжка.

Опять зажглась ракета на другом берегу. Немцы проверяли, действительно взорван мост. На гребне стояло уже два немецких танка; слышался глухой рокот моторов идущих за ними машин.

Крапивин напнулся, поднял книжку сапера. Это были стихи. Он раскрыл их и прочитал:

На холмах Грузии лежит ночная мгла.  
Шумит Арагва предо мною.  
Мне грустно и легко, печаль моя светла,  
Печаль моя полна тобою...

Таия любила это стихотворение и хорошо читала его. И все же сейчас, читая эти строки, и всем своим сердцем помня о ней, он представил себе не ее, а простое лицо голубоглазого Иванова, вспомнил, как он спокойно перематывал портянки, и как Фадеекин говорил: «Прощай, товарищ командир», крестился, и что из-под белой его сорочки торчал край защитной гимнастерки.

Крапивин, повторяя строки стихотворения, закрыл книжку, положил ее в карман шинели и вышел на дорогу.

Навстречу ему шли бойцы и с ними девушка — военфельдшер. Группу вел лейтенант Глебов, а рядом с ним шел Волков.

— Займите оборону у взорванной переправы, — сказал лейтенанту Крапивин.

— Осмотрите берег, — обратился он к девушке военфельдшеру, — там пятеро наших лежат, может быть, среди убитых есть и раненые.

— Или, Маруся, — сказал девушке Глебов, — возьми с собой двух бойцов.

И Крапивин зашагал по дороге. Он не думал в эту минуту, что то, что произошло у переправы, было началом перелома на всем фронте. Но он был счастлив, что отстоял переправу.

Крапивин с трудом передвигал ноги, он чувствовал опромную усталость и вместе с тем гордость за то, что совершили его бойцы, ставшие ему дорогими и близкими людьми, — он был восхищен ими. И еще его обуревала злость на то, что другие не таковы, что возможно было это бедство от Эиска, это отступничество.

Во ведь «Вологда» умер, как надо. Но ведь сапожник... И перед глазами его снова вставало небритое лицо немолодого еврея. Но ведь лейтенант Глебов. Но ведь Иванов... И снова гордость заливала его сердце.



Брат был остановлен.

В этот же день под хутором Вехручей шел в бой саперный батальон. Но об этом бое Крапивин узнал только на другой день.

## Глава четвертая

### БОЙ У ХУТОРА ВЕХРУЧЕЙ

Прокофий Соколенко так был занят мыслями о саперном батальоне, комиссаром которого его только что назначили, так напряженно готовил себя к встрече с командиром батальона, капитаном Конкиным, что, лишь подходя к землянкам саперов, вспомнил, что именно здесь работала Анна.

Анна Петровна Коростелева недавно окончила медицинский институт. В институт Анна поступила семнадцати лет. На первом курсе она большую часть времени посвящала не академическим занятиям, а вечеринкам. Весною ее увлекали прогулки на лодках по Малой Невке, по Большой Невке, с выходом далеко на взморье, когда издалека виден блистающий под вечерним солнцем купол Исаакиевского собора, а на западе темнеют прямоугольники врезанных в голубизну моря фортов, легкая зыбь покачивает лодку, звенит напористая песня студентов, и к ночи поезд на северном берегу кажется ползущей свещающейся гусеницей.

Обо всем этом было приятно вспоминать и вместе с тем почему-то немного грустно.

Зимой были прогулки на лыжах в Юрки, в Шувалово, в Токсово. Анна очень шел лыжный костюм, а румянец на щеках, усиленный морозом, делает еще милее ее смуглое продолговатое лицо и смятые от возбуждения темные глаза с черными длинными ресницами.

Неожиданно для всех она вышла замуж за доцента, который вел у них хирургический практикум.

Николай Коростелев был талантливым хирургом, и брат Анны не раз дома восхищался его смелыми и почти всегда удачными операциями. Вот почему самолюбие Анны было очень польщено, когда она почувствовала, что молодой доцент, которого она считала очень и очень взрослым — относится к ней совсем по-иному, чем ко всем ее подругам. Они встречались после лекций в институте на бульваре — около памятника «Стерегущему», проходили до самого конца по улице Красных Зорь, подолгу стояли на Троицком мосту, любуясь широким течением царственной Невы, бастионами Петропавловской крепости, между огромных камней которой росла молодая, ярко-зеленая трава.

Однажды вечером, когда она уже собиралась идти домой, начался сильный дождь. Николай жил очень близко, и они быстро добежали до его квартиры, шлепая по лужам, на которых подскакивали, плыли и дрожали быстрыми дробными кружками крупные капли теплого дождя. Окна комнаты Николая выходили на Неву, по которой тогда медленно шел буксир, волока за собой длинный караван груженых барж. Дождь прибывал кинутой валивший из трубы дым. Видно было, как тучи вдали обрываются и пылают закат. Но это было очень далеко. А здесь шел дождь.

Анна осталась почевать у Николая. Утром она проснулась и с недоумением посмотрела в широкое, незнакомое венецианское окно, на голубую теперь утрешнюю Неву. В комнату вошел Николай и, улыбаясь, сказал ей:

— Я только что звонил твоим родным, чтобы они не беспокоились, что ты у меня.

— Ой, зачем, но надо! — умоляющим голосом протворила Анна.

Она знала, что к Николаю дома относятся хорошо, по ее-то считают еще совсем девочкой. И один раз, когда зашел разговор о возможном замужестве одной из ее ровесниц-подруг, отец смеялся так громко, что мать пришла из другой комнаты, чтобы узнать причину такого смеха.

— Подумай только, — отвечал он и снова засмеялся, — такие фитюльки, а всерьез о замужестве говорят.

Анна стала женой Николая.

Началась ее семейная жизнь, в которой, впрочем, ни она, не любившая по-настоящему мужа, ни муж, любивший ее горячо, не были счастливы.

Но веселая жизнь и поездки за город не прекратились даже тогда, когда она почувствовала себя беременной.

В огромной семье Николая, возглавляемой его матерью, со множеством тетушек, сестер и дальних родотвенниц, маленькая Наташка была первым младенцем, и все усиленно занялось ею. Анна окончила институт, став по специальности хирургом. Хотя Анна и говорила, что не испытывает особой любви к своей специальности, она с самого начала своей самостоятельной работы зарекомендовала себя умелым хирургом.

К началу отечественной войны Наташке было уже около четырех лет. Анну призвали в первую же неделю и, не желая пользоваться никакими льготами, она отправила дочь вместе с бабушкой в пыльный, но зато удаленный от фронта, сытый городок и попросилась в действующую армию. Николая оставили старшим врачом госпиталя и профессором института — необходимо было ускоренно готовить новых врачей для фронта.

Анну назначили в отдельный саперный батальон, и первые дни войны она работала в чистом, словно интрипечном, уютном городке, раскинувшимся на северном скалистом берегу Ладожского озера.

Батальон, где начала работать Анна, в те дни был придан дивизии, которая целый месяц сдерживала наступление финнов и наносила тяжелые удары в пять раз сильнеешему противнику.

В эти жаркие польские дни, когда горели леса, когда немецкие самолеты гонялись по дорогам даже за отдельными панями машинами, когда раненные продолжали драться, как здоровые, когда, подымая пыль, шли по дорогам в тыл поднятые с моста, тревожно мычание стада, а у придорожных костров плакали тянувшиеся к материнской груди младенцы, когда каждая нить покидаемой земли становилась все дорожке и дорожке, и мысль об оставленных городках вызывала на глаза слезы, — Анна, работая по восемнадцать, по двадцать часов в сутки, так, что набухали на ногах вены и ноги немели, поняла и переживала очень многое. За долгие годы мирной жизни она бы не увидела и не поняла столько, сколько за неделю в которой счастливым считался тот день, когда санитарам хватало бинтов.

Одно дело — читать в книжках о том, как спартанцы, уходя на войну, брали с собой горсть родной земли и хранили ее на сердце, а другое дело — видеть, как неграмотный седой старик берет на огороде за домом в своем

трясущуюся руку горсть земли, просыпая ее между пальцами, смотрит на нее с тоскою и бережно завязывает в серый, затасканный платок.

Санерам вместе с другой частью приходится, отходя, прорываться через многочисленные засады, устроенные белофиннами. Отдельные их отряды пытались, оседлав дороги, отрезать наши части от тылов.

В один из таких дней Анна получила приказ эвакуировать свой медицинский пункт, на котором было уже много раненых из соседних подразделений. Анна погрузила их на два санитарных автомобиля. Мимо шли машины, груженные боеприпасами и людьми. Туда удалось пристроить еще несколько раненых. Те, которые могли передвигаться, сами пошли по дороге. Впрочем, дороги не было. Санеры валялись на болоте деревья и, обрубая сучья, тут же устраивали бревенчатый, колеблющийся настил, по которому должны были, в обход постоянной дороге, занятой белофиннами, пройти несколько десятков перегруженных машин, семь орудий, обозы и пять танков. У Анны, с которой были две фельдшерши и две дружинницы (санитары уехали, сопровождая машины), оставалось еще двадцать человек раненых, которые не могли сами передвигаться. В совершенной растерянности стояла Анна со своими людьми около раненых, лежавших на траве, на мшистых кочках, поросших кустиками поспевающей черники. Раненых надо было увозить,—но на чем? Надо было их унести, по по было посилок.

— Товарищ майор! Товарищ майор!—обратилась Анна к командиру, который остановился около танка.

— Что вам надо,—резко отзывался майор, но оглянувшись, он увидел перед собой военного врача, женщину миловидную, растерянную и сердитую. Ушки майора Бахтадзе были тщательно подбриты, его щегольской китель даже сейчас, на болотистой, грязной дороге, под начинающимся дождем, казался только что сшитым на заказ.

— Чем могу служить?—спросил он с кавказским акцентом и поклонился.

— Да вот,—и Анна указала на раненых, лежавших на земле под дождем.

— Да, это плохо, дорогой товарищ, но что делать?—Майор Бахтадзе поглядел на танки и просил.—Положим их на броню! Вот как будет, генерал!

И он подозвал танкистов. Однако сверху на каждый танк можно было примостить не больше двух раненых. Так и сделали. При этом один раненый стал скользить по броне и чуть не упал с танка. Раненым боком он коснулся гусеницы, и лицо его стало меловым. Он сжал зубы, удерживаясь от стопа.

— Да тише вы там!—майор Бахтадзе выругался.

Танки, вздрагивая на бревнах и дзггая гусеницами, тронулись дальше, неся на своей броне раненых.

Теперь у Анны оставалось еще десять раненых, а медицинского персонала вместе с ней было всего пять человек. Пять человек, без носилок! И вот тут она первый раз увидела Прокофия Соколенко: он шел рядом с Крапивным, но круглым стеклам его очков долзли капли дождя, маузер, прикрепленный к поясу этого невысокого коренастого человека, казался намного большим, чем обыкновенно бывают маузеры.

Крапивин остановился около автомобиля, заднее колесо которого, съехав с настила, завязло в болоте. Соколенко своей слегка подпрыгивающей походкой подошел к Анне и строго спросил, указывая на раненых:

— А это что?

— Раненые,—отозвалась безнадежным голосом Анна.

— Не слепой! Виску!

«Как не слепой?» — хотела ответить Анна, взглянув на мокрые очки. Она тоже разозлилась.

— Почему не эвакуируете?

— Нет носилок, и не из чего их сделать. Начальников здесь много, а помочь никто не хочет. — сказала Анна, готовая заплакать, несправедливо, забывая и о добавочном пузовике и о тайках майора Бахтадзе.

— Так! Носилки не из чего сделать? — насмешливо сказал Соколенко и сделав еще шаг к Анне, неожиданно наклонился и из всех сил дернул ее за юбку.

— А это что? — и он повторил: — А это что?! — и еще раз дернул сильную юбку Анны книзу.

— И выправду! — восхищенно взвизгнула одна из сандружников и быстро стала отстегивать крючки своей юбки.

Соколенко смущенно отвернулся.

Зная, что он некрасив, и преувеличивая свою неказистость, Прокофий всегда был в обращении с женщинами очень робок. Здесь же... Впрочем, здесь он не при чем — это было общее и очень важное дело.

Анна не привыкла к резкому обращению, она вспыхнула и хотела уже обругать этого грубияна, старшего политрука. Но увидев его смущенное лицо и поняв, что и впрямь из их юбок можно сделать носилки на жердях, замолчала. А Соколенко в этот момент снял очки и стирал с них капли дождя, который становился с каждой минутой все сильнее. Смущенное лицо его бесочью показалось Анне очень трогательным и как-то по-особенному милым.

Через минуту голос его раздавался уже где-то впереди. Он кричал на шофера остановившейся машины.

Вместе со своими санитарками Анна быстро наломала жердей и продела на них юбки. Носилки получились неважные, но все же их можно было приспособить к делу. Всего вышло трое носилок.

— Эй, голубчик! — сказала санитарка проходящему мимо бойцу. — Помогите, пожалуйста!

И он стал помогать. Они перенесли раненых на девятнадцать километров. Впрочем, фактически это было около сорока километров.

Перенеся трех раненых вперед на два километра, они укладывали их под кустами, пряча от дождя, возвращались за оставленными, укладывали их на носилки и снова несли вперед два-три километра, к кустам, под которыми тихо стонали ранее припрятанные.

Руки тяжелели от носилок, на ладони налипала смола от жердей, сделанных из молодых сосенок, в сапогах чавкала проникавшая туда влага. Казалось, конца не будет походу по бревенчатому пластилу. Каблуки иногда застревали между бревнами и тогда приходилось останавливаться. И сзади останавливались вторые носилки.

— Смотри под ноги, — громко командовал боец, помогавший переносить раненых.

Так шли они безостановочно весь вечер и всю короткую летнюю ночь. Анне иногда казалось, что больше уже нельзя сделать ни шагу, и все же она продолжала идти, не выпуская из рук носилок.

Ей хотелось плакать. Руки отяжелели, и ей казалось, что никогда в жизни она не сможет их весело водить, спокойно взмахнуть, заложить за спину. И когда уже начинало казаться, что путь этот бесконечен и что шли они так

и вчера, и позавчера, и сегодняшний день, и завтра надо будет также идти, и нет конца дороге,— боец, который шел первым, останавливался и опускал посылки на землю. Тогда приходила внезапная счастливая легкость. Кровь стывала от рук, и Анна, медленно шевеля онемевшими пальцами, подымала руки и отбрасывала со лба малеuatingшие на глаза волосы... И они снова шли назад, навстречу медленно идущим машинам и людям, за оставшимися ранеными.

Когда в последний раз девушки возвращались за своей ношей, они услышали недалеко стрельбу и увидели, как льется останавливаясь на настиле машина. Пехватило горячего, и шофер Галанов поджег ее. И опять Анна увидела Соколенко и Крапивина. Они находились около горящего грузовика, организуя тут же оборону от наседавших неприятельских солдат. В эту минуту Соколенко вовсе не показался ей смешным.

Марш оказался удачным. Все люди, танки, орудия, все автомобили, за исключением одного, были выведены.

Санитарная летучка забрала раненых, и Анна отдыхала со своими девушками в быстро сделанном из еловых ветвей шалаше. Проснувшись она внезапно и несколько минут лежала, закрыв глаза, стараясь вообразить, сколько же времени она спала. Вечер сейчас, утро, день или ночь?

Плечи ныли, на ладонях всколотили водяные пузыри. Анна открыла глаза, вытащила из нагрудного кармана гимнастерки маленькое круглое зеркальце из пержающей стали и поднесла к лицу. В ее глаза взглянули карие блестящие глаза, немного утомленные. Черную прядь распустившихся волос надо было отвести за ухо. Милое продолговатое лицо отражалось на металлической пластинке и было в нем что-то новое, чего раньше Анна не замечала.

«Ума, что ли больше стало?» — подумала она и улыбнулась. И улыбка эта отразилась в зеркале.

И в это время совсем близко мужской голос запел:

Ой, за гаем, гаем,  
Гаем велененьким,  
Там орала дивчинонька  
Волыком чорненьким.

Анна затмурилась от удовольствия и, слегка подпевая, стала слушать. Голос был красивый, глубокий, сильный. И каждый, кто внимательно прислушался к песне, понимал, что тот, кто ее пел, вкладывал в нее гораздо больше смысла, чем было в простых незатейливых словах.

Орала, орала, не вмила гукаты,  
Попросила козаченька  
На бандурци граты.

Песня эта уводила Анну к ее детству, к тем дням, когда она только-только начинала себя помнить. Раннее свое детство она провела на Украине. Отец ее, старый украинский интеллигент, уже переехав в Петроград, любил подчеркнуть, что он душою и сердцем остается украинцем, и украинские песни были дома в большом почете.

Анна встала и вышла, чтобы умыться у ручья, пробежавшего вблизи от шалаша. На берегу у самого ручья подымался синий дымок костра, вокруг него сидело несколько командиров и бойцов. На треноге вскипал котелок. Все

они слушали, как свободно, сам наслаждаясь звуками мелодии, выводил свои песни Соколенко.

Анна подошла к ручью. Прокофий взглянул на нее, оборвал песню и сказал:

— Извините меня, товарищ врач, я, кажется, вас вчера расстроил.

— Да нет, вы, паверно, были правы, — ответила Анна, вспыхнула, и посмотрела прямо в глаза Соколенко.

\*\*\*

Прокофий Соколенко до 1939 года работал корреспондентом ТАСС в местных центрах Союза. Восемнадцатилетним парнишкой он, поссорившись с отцом — протоиереем, в уездном приднепровском городке, — ушел добровольцем в Красную Армию и во время боев под Перекопом вступил в коммунистическую партию. В 1922 году он демобилизовался и через год поступил на юридический факультет Саратовского университета. Однако, вместо того чтобы стать судьей или прокурором, стал работать в газете, ведя там отдел «В суде». В личной жизни Соколенко был неудачлив. В женском обществе держался очень скромно. Многие из его друзей-мужчин, уважавшие в нем ум и незыркую начитанность, удивлялись его неповоротливости, ответам пегуон и порой даже резкости, под которой он старался скрыть свое смущение перед женщинами.

Соколенко долго не обзаводился семьей. Став областным представителем ТАСС, он часто переезжал из одного города в другой, пока, наконец, не остался на несколько лет в Саратове. Здесь, в клубе педагогического института, 5 мая он прочитал доклад о печати в капиталистических странах и у нас. Прокофий был хорошим докладчиком, говорил он в тот день с вдохновением, читал стихи Маяковского и произвел большое впечатление на студенческую аудиторию.

После доклада его обступили студенты и студентки, смущающиеся, любопытные, задорные, — и среди них была Тося, вскоре ставшая его женой. Светловолосая полная девушка, она увидела в Соколенко то, что многие женщины не могли разглядеть за его неказистой наружностью.

Жили они спокойно, мирно, без больших радостей и без ссор, что было легко при равном характере Тоси и ее ни с чем несравнимом трудолюбии.

Окончив институт, Тося с увлечением начала работать в школе. Целиком поглощенная тетрадками учеников, педагогическими советами, она все умела выбирать время для сына, которому в сентябре 1939 года, когда Соколенко призвали в Красную Армию, было около пяти лет. Через несколько дней после того как наши части перешли границу Финляндии, во время жестоких боев у станции Лоймала, он получил телеграмму о том, что у Тоси родилась дочка.

В июле он приехал домой, в отпуск. Шесть недель отпуска после трудной боевой жизни, после пережитого и передуманного в дни войны показались ему пресными и скучными, и на Тосю, которая была попросту мила и равна с ним и с учениками, он тоже посмотрел другими глазами. Для нее продолжалась прежняя, обычная жизнь, словно ничего и не произошло, словно бы муж ее вернулся из командировки, хотя командировка эта и была опасной. А суже был человеком, пережившим войну, во время которой многое пришлось переоценить.

Разговаривая с Тосей о самом сокровищем из того, что он передумал, он друг убеждался, что она смотрит на него непонимающими глазами, делает собой усилие, чтобы войти в круг его идей. Из отпуска Прокофий вернулся в армию немного разочарованным.

В день, когда он ожидал приказа о своей демобилизации, гитлеровцы перешли границу. Так и не повидавшись, не попрощавшись с Тосей и детьми, Соколенко, награжденный медалью «За отвагу», в звании старшего политрука вступил в отечественную войну.

В первые недели и месяцы, потянувшись боевыми делами, Прокофий мало вспоминал о Тосе, и лишь порой ему снились сны. Письма из дому тревожили его, навевали тоску, Тося беспокоилась о нем и просила писать чаще и подробнее. Но как писать подробно, когда, во-первых, и самому-то трудно было разобраться во всем, что происходило вокруг, и, во-вторых, не было и часа, не залюбленного работой.

Глядя на этого маленького деятельного человека, в очках, с большим трофейным маузером у пояса, человека, который всегда был в движении, в словах и глазах которого была неиссякаемая уверенность в том, что мы победим, несмотря ни на что, каждый думал: «Нет, не так уже плохи наши дела», каждый, сам проникался уверенностью в том, что мы выстоим.

И Анна, в лесу у костра взглянувшая в его глаза, тоже прониклась этим чувством спокойствия и уверенности, а он смотрел на нее и удивлялся тому, как веселые у нее светлоглазые глаза и как блестят в свете заходящего солнца ее черные гладкие волосы.

В тот день они больше не виделись и не сказали друг другу ни слова. Только через неделю Анна снова встретила Соколенко на улице горячей деревни. Потом каждый раз, приезжая из частей в Поарм, он выстраивал час для того, чтобы зайти в окошечок отдельного саперного батальона, который стоял в полутора километрах от штаба, в лесу. И в этот час они разговаривали. О чем? Трудно сказать. И о стихах Маяковского и Блока, и о кесаревом сечении, и о новейших способах анестезии, и о преимуществе пулеметно-пистолета Дегтярева перед пистолетом-автоматом «Суоми», о красоте карельских озер, о переменчивой эфемерной погоде, о прошлой войне с белофиннами, и о Саратове, где учился Соколенко, о героической Одессе, о Ленинграде.

О Ленинграде Анна могла говорить часами.

И никто, слушая их разговоры, не мог бы понять, что за этими, подчас незначательными речами кроется подспудный, очень глубокий, несказуемый смысл.

Об одном только они не говорили — о любви.

Соколенко, то и дело вспоминая Анну, прожужжал о ней уши Крапивину (их койки в общежитии Поарма стояли рядом), и тот начал подтрунивать над ним.

Но Прокофий в этих добродушных подтруниваниях находил для себя какое-то удовольствие. Сначала Соколенко не отдавал себе отчета в том, что он переживал. Думая об Анне, испытывал только удовольствие, которого раньше он никогда не ощущал. Затем поняв, что с ним происходит, он стал тяготиться мыслями о Тосе, о том, что она любит его, верит ему и, мучаясь за его судьбу, с нетерпением ждет его возвращения. Ему казалось, что, любя Анну, он в чем-то глубоко неправ перед женой, которая во всем права, и перед ним вставало простое, близкое ему лицо Тоси, и сердце его разрывалось от жалости.

Он отгонял тогда от себя мысли о будущей жизни, — после войны разумеется, там видно будет. Но иногда, видя во сне Анну, Соколенко легко и свободно говорил с ней о том, о чем молчал при встречах.

И вот сегодня, подходя к землянкам саперного батальона, наклоняясь и встречая порывам холодного ветра, он вспомнил, что именно здесь работа Анна, и теперь, назначенный комиссаром саперного батальона, он, неожиданно для себя, становится как бы ее начальством.

\*\*\*

Молодой капитан Кошкин уже строил своих людей.

На дороге водители автобата заводили моторы грузовиков.

Соколенко поздоровался с капитаном. Если бывают такие лица, о к-х можно сразу сказать, что они принадлежат смелым, честным и прямодушным людям, то именно такое лицо было у капитана Петра Кошкина.

— Знаете задачу? — спросил Соколенко.

— Знаю!

— Всех собрать не удастся?

— Нет.

— Тогда я пойду по грузовикам.

Было очень холодно и шел мелкий сухой снег. Путаясь в длинных шиннели, Соколенко подошел к первому грузовику.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал он.

— Здравствуйте! — дружно отозвались саперы.

Перед ним были кадровые бойцы, специалисты своего дела, умелые в бою и уже отличившиеся в бою.

— Товарищи, я очень много слышал про ваши славные дела, — сказал Соколенко. — Вы героически наводили переправы для наших войск и взрывали за собой мосты, чтобы враг не мог пройти по ним. Но теперь, — продолжил он, — нам предстоит иное! Хватит нам обороняться, хватит нам прикрывать отходы. Теперь мы сами пойдем в наступление, чтобы вышибить врага с пятых им рубежей, погоним его, освободим город Эпск — ключ к городу великого Ленина! И сегодня нам надо будет больше действовать винтовкой и пистолетом, чем лопатой — обычным оружием сапера. Положение такое: либо погоним и уничтожим немца, либо он уничтожит нас и Ленинград.

Саперы молча слушали взволнованную речь Соколенко и затем также молча и спокойно, завязав ушанки, стали усаживаться на грузовики. Зимние плащи и теплые белье уже были розданы. Валенки должны были прибыть через три дня. Соколенко перешел к другой машине, затем к третьей. Саперов было семьсот человек. Им предстояло преодолеть больше ста километров холмистой перовоной лесной дороги. Из последнюю санитарную машину рядом с водителем усаживалась Анна.

— Вы теперь наш комиссар? — спросила она у Соколенко, на минуту державшегося у ее машины. И он в темноте по ее голосу понял, что улыбается.

— Да, будем работать вместе!

Он пожал ее руку, отпустил и снова взял в свою и пожал.

— Ну, вперед.

Машины поехали по дороге. Соколенко и Кошкин сидели в эмке, шедшей в середине колонны.



— Надо будет победить машину, — сказал Соколенко.

— Еще бы, — отзывался Кошкин.

— Я боюсь, как бы в сапогах они ноги не отморозили.

— Каждый час будем на десять минут приказы для разгрома делать.

— Ты ел чего-нибудь? — незаметно переходя на ты, спросил Кошкин.

— Нет.

— У меня замечательный пачирод — на, возьми, — и Кошкин протянул бутылку Соколенко.

Это был изюм, чудесная сабза.

— Видишь, ни у кого нет, а у нас есть, — с гордостью сказал Кошкин.

Он охотно хвастался расторопностью своего пачирода, но очень смущался, когда кто-нибудь с похвалой отзывался об умелой работе батальона или личной храбрости его командира.

Командир и комиссар ели изюм и разговаривали о делах батальона, о том, что надо будет делать, прибыв на место. На ухабах их здорово подбрасывало.

Но что им надо будет делать — так и оставалось неясным до самого утра, пока машины миновали пустую деревню Сарожа и, согласно заранее отданному приказанию командующего, на развилке дорог взяли влево.

Из Сарожи на Эиск шли три дороги. Прямая, где была переправа, которую сейчас защищал Крайнев, вела к северной окраине Эиска. Направо, минуя деревню Шомушка, с паромом через реку, вторая дорога приводила к западной окраине города. И налево третья дорога вела на восточную его окраину. Вот по этой-то дороге и поехали машины саперов. Все три дороги с этого дня должны быть закрыты для немцев. А для нас — из дорог от Эиска — они, по приказу командующего, должны были стать дорогами на Эиск.

Когда до Эиска оставалось уже немногим больше двадцати километров, Кошкин остановил свой батальон. Вперед был послан в разведку взвод младшего лейтенанта Пескова — высоченного молодого парня, выпущенного из военного училища досрочно, на второй месяц войны. Взвод этот отправился вперед по лесной дороге. Разведчики шли быстро. Ничего угрожающего на дороге они не заметили и спокойно прошли до отмеченной на карте деревни Пильцы.

— Тоже мне деревня! — сказал усмехаясь Песков. — Всего три дома!

Действительно, три дома, при постройке которых, правда, не пожалели леса, стояли на болоте у мостика через уже замёрзший ручеек.

Пройдя деревню, Песков встретил двух немцев, шедших по дороге. Они заметили наших разведчиков и открыли стрельбу. Пришлось их прикончить.

С неба повалил густой, хлопьями, снег. В это время немцы бомбили аэродром, на который только что села машина командующего, а Соколенко копал беду с политработниками рот, — они расходились по своим подразделениям.

Весь покрытый хлопьями мокрого снега, Соколенко подошел к санитарной машине, около которой хлопотала Анна, раздавая добавочные бинты и медикаменты санитарным инструкторам.

Высокий, черный, с горделивым профилем красноармеец Гасан Исмаилов накладывал индивидуальные пакеты в свою сумку и говорил:

— Товарищ доктор, тебе надо в избе остановиться, здесь ты совсем замёрзнешь.

Соколенко подошел к Анне.

— Сегодня бой, — сказал он тихо и посмотрел ей в глаза. На черных длинных ее ресницах таял снег.

— Прокофий Яковлевич, — сказала она, — Прокофий...

И тогда они поняли, что все уже сказано и не нужно слов, которые обычно говорят в такие минуты.

— Прокофий, только я должна сказать тебе одну вещь, — и она смутилась.

— Какую? — у Соколенко от тревоги перехватило дыхание.

— У меня есть дочка, Наташа. Четыре года.

У него отлегло от сердца.

— Какая ты замечательная, Анна!

Больше разговаривать им было нельзя.

— Желаю боевого успеха, — улыбаясь, сказала Анна.

— Есть успеха, — весело отозвался он и пошел отыскивать Бошкина.

★ ★ ★

Когда уже стемнело, пришел первый посланец от Пескова с запиской, в которой сообщалось, что разведчики, пройдя шесть километров, встретили и уничтожили немцев, — больше ничего не обнаружено, взвод подходит к хутору Вехручей, по видимому, есть немцы.

Бошкин и Соколенко решили начать движение вперед, с тем чтобы, бив немцев, започевать на хуторе и с утра продолжать движение на Энс. Автомобили ушли обратно за боеприпасами, и батальон поротно по движению вперед в пешем строю.

В это время Песков со своим взводом разведчиков подошел почти вплотную к хутору Вехручей. Было уже совсем темно. Песков остановился и стал выжидать. Он заметил, как из стоящего поближе к дороге дома вышли солдаты. Они стали мочиться прямо с крыльца. Потом сказали что-то друг другу, громко засмеялись и пошли обратно в избу.

«Так, значит, здесь есть немцы», — подумал Песков и вдруг вздрогнул. Чей-то громкий, как бы искусственный, голос выкрикивал немецкие слова, вырывались с прясвистом и хрипением, словно звуки нечетко работающего радиоприемника. Потом раздалась какая-то песня. «Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin», — с трудом разобрал слова припева Песков.

— Товарищ командир, — шепотом сказал ему пулеметчик, поглаживая свою дыку, — там они кину свое смотрят, самый момент ударить и заки гранатами.

Действительно, из домика слышался стрекот аппарата кинопередвижки.

— Правильно, Шевелев, — сказал Песков, — так и сделаем.

Для того чтобы подойти к нескольким домикам, которые составляли этот населенный пункт, надо было пройти по небольшому деревянному мостику, переброшенному через ручей, метра три в ширину. Но с другой стороны моста изредка выглядывая, высываясь из окопчика, немецкий солдат. Песков заметил его после нескольких минут пристального наблюдения. Идти прямо по мосту было нельзя. Песков решил перебираться через ручей. Лед на ручье был тонкий, ломкий, течение быстрое, а посередине черпела еще незамерзшая вода, в шаг, полынья. И только в одном месте кем-то, а может быть, и самой природой, камни были положены так, что нетрудно было, переступая одного на другой, перебраться через ручей.

«Здесь и перейдем», — решил Песков.

Осторожно переступая с камня на камень, боясь поскользнуться, первым на другой берег босц и лег в снег у куста, в двух метрах правее камней. Вторым перебрался пулеметчик Шевелев.

«Пушу второй номер, а затем сам перейду», — решил Песков и вложил запыля в гранату. Но тут-то и случилось непредвиденное: третий боец, проделав почти весь опасный путь, вдруг остушился и рухнул в воду, при этом котелок его ударился о камень и загремел. Звон котелка, хруст ломающегося льда, всплеск воды и приглушенную ругань упавшего услышали немецкие дозорные.

— *Weg da?* — крикнул один из них, и, не получив ответа, они открыли частую беспорядочную стрельбу.

Наши бойцы тоже ответили несколькими выстрелами. Пулеметчик Шевелев, успевший перебраться на другую сторону ручья, дал короткую очередь. В ответ заработало четыре немецких пулемета, и Шевелев стих.

Стрекотание кинопередвижки прекратилось. Немецкие солдаты, не досмотрев сеанса, выбежали из избы с черного хода.

— Вот материн сын, — сказал Песков, — сорвалось!

Он злобно выругался, затем приказал бойцам прекратить стрельбу.

Соколенко и Кошкин слышали звуки этой стрельбы за пелтора километра от хутора и, замедлив движение, выслали влево и вправо от дороги по отделению разведчиков.

Вскоре пришел расстроенный Песков и рассказал историю своей неудачи. Византизм подхода была сорвана.

— Там у них есть два танка, — докладывал Песков.

Надо было решать, когда ударить, на рассвете или ночью.

— Будем действовать немедленно, не давая им закрепиться, — сказал Кошкин.

— Это правильное соображение, — сказал Соколенко, — ударим ночью.

Так как идти на лобовой удар означало нести большие жертвы, они решили взять хутор фланговым обходом. Одна рота должна занять дорогу; вторая рота, Камодина, пошла в обход справа, туда, где простиралось обширное болото, замаскированное теперь первым снегом; третья рота, Симакова, заходила слева, через густой лес. Сигналом для общего удара должна была служить синяя ракета Симакова, которую он пустит, заняв в лесу исходное положение.

Первая рота, с которой шел Кошкин, ровно к часу ночи заняла на дороге исходное положение, и Кошкин, посмотрев на часы, начинал уже нервничать. Сигнала не было.

С ротой Камодина пошел Соколенко.

Сначала, держась в полукилometре от дороги, шли редким лиственным, теперь почти прозрачным лесом. Листва опала, и на тонкие оголенные ветви снег ложился не так густо, как на ветви хвойных деревьев. Белые стволы берез тоже, казалось, были выделены из снега и словно растворялись в нем.

Шли, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, молча, не закурижая. К счастью, небо было закрыто облаками, и усилившаяся от этого темнота помогала походу. За лесом началось болото, прикрытое сверху молодым пушистым снегом. Болото не замерзло, и каждый шаг сопровождался хлопаньем и чавканьем проваливающейся под тяжестью тела трясины. Вытаскивать ноги становилось все труднее и труднее, а с приближением к хутору передвигаться надо было все осторожнее. Бойцы медленно пробирались по незамерзавшему болоту с винтовками наперевес. Холодная влага пробивалась через смазку, через кожу яловых сапог и начала холодить, потом обжигать ноги.

У Соколенко на правой ноге был большой палец. Он старался как-нибудь поджать его, чтобы он не вылезал и не упирался в холодную твердую кожу сапога. Ему казалось, что кто-то цепляется за шпатель, держит ее, тянет и пугает. Он поглядывал: ноги его липли, мокрые от болотной влаги, теперь зацепили и стали твердыми.

Когда рота подошла к исходному рубежу, часы показывали почти третьего. А сигнала к атаке не было. Значит, рота Симакова все еще успела занять исходное положение. Второй роте пришлось залечь в снег, в болоте.

Третья рота, Симакова, должна была пройти к своему рубежу через высокие лесные заросли. И хотя, если смотреть и рассчитывать движение по карте, ей предстояло пройти меньший путь, чем второй роте, шла она значительно дольше. Надо было находить просветы в густом заснеженном ельнике и пробираться сквозь чащу. Каждый сучок, казался, цеплялся за шпатель, но с размаху били по лицу, через поваленный буреломом ствол пужно без пероваливаться всем телом. И пока бойцы второй роты, лежа в болоте, замедляя, с нетерпением отсчитывали каждую минуту, бойцы третьей роты тяжело дышали от утомления, и глаза их заливал пот. Только к пяти часам у третьей роты подошла к исходному положению. Надо было давать сигнал. Леопольд Симаков сунул руку в карман, где лежала ракетница. И вдруг в руку его словно образовалась пустота: ракетницы не было. По всей видимости, когда он пробирался сквозь чащу, случайный сучок зацепил ее за рукоятку и она выпала на снег.

Что делать? Симаков был в отчаянии, ему хотелось пустить себе пулю в лоб за то, что он потерял ракетницу.

Но тут, оглянувшись, он увидел рядом с собой связанного Кошкина — молодого левкового бойца Галактионова.

— Ну что? — спросил он его тихо.

— Товарищ капитан приказал сигнал к началу атаки давать тремя выстрелами и криком «ура», а то немцы ракетами разные пускают.

— Вот это чудо! — обрадовался Симаков. Он готов был расцеловать Галактионова, но тот, передав приказание, сразу отправился обратно через лесную чащу к Кошкину.

Было 5.30 утра.

Симаков посмотрел вокруг себя: бойцов не было видно, но он знал, что за каждым кустом, за каждым стволом теперь таятся свои. Он приложил к плечу винтовку, с которой не расставался, считая ее лучшим оружием, выстрелил один раз, затем выбросил гильзу, выстрелил в немецкую сторону второй раз, отвел затвор назад, дослал патрон и дал третий выстрел. И сразу загрели выстрелы. Это наши минометы несли огонь в глубь неприятельской обороны. Взмахнув перед собой винтовкой, Симаков закричал:

— Вперед! За родину! За Сталина! Ура!

Сотни голосов подхватили этот возглас, усилили его и разнесли по пред рассветному темному лесу.

Громкое торжествующее «ура» раздалось на болоте. С громким «ура!» началась в атаку первая рота на дороге. Мгновенно все пространство осветилось вспышками выстрелов и их грохотом. У немцев работало шесть станковых пулеметов, два противотанковых орудия и орудия двух танков. При сигнале

и понеслось родное «ура», когда он увидел, как дружно все, кто был рядом, поднялись и побежали вперед в атаку, сердце его замерло от волнения и радости.

«Так дружно не кричали и так весело не подымались даже на учении», — подумал он и, не в силах устоять на месте, влекомый какой-то неизвестной ему радостной силой, побежал вперед. На той стороне ручья по немцам бил ручной пулемет. И это зафиксировано было сознанием Соколенко.

«Молодец, уже перебрался!» — подумал он, но это строчил пулеметчик из взвода Пескова, перебравшийся на ту сторону еще с вечера и до сих пор лежавший за кустом. Ему казалось, что он уже умирает от холода, но сейчас он ожил и посылал прицельные очереди по врагу. Соколенко бежал вперед, чувствуя всем своим существом, что товарищи рядом делают то же, что и он.

Снег был глубокий, бойцы проваливались в него по пояс. Снег оседал под ногами и, сидя на нем, как в седле, нужно было вытягивать ногу и высоко ее поднимать, чтобы, сделав следующий шаг, снова провалиться и карабкаться дальше. После нескольких таких шагов сердце отчаянно колотилось и трудно становилось дышать. И хотя стоял мороз и замерзали ноги, рубашка прилипала к потному телу.

Пройдя полтора десятка метров, необходимо было лечь в снег, для того чтобы отдышаться, отдохнуть, и через три-четыре минуты снова подняться, для следующего рывка вперед. Здесь не было чувства локтя, столь обычного в пехотной атаке, потому что никто не мог видеть сразу больше, чем одного-двух товарищей. Было темно, но если бы и не было темно, то стволы широко разросшихся деревьев и покрытые снегом кусты мешали бойцам видеть друг друга. И вот тут-то дружное «ура», наводя страх на врага, объединяло бойцов.

Когда после первого рывка саперы залегли в снег, Кошкин, подзвав своего связного Галактионова, только что вернувшегося из роты Симакова, приказал ему снова идти к Симакову и сказать, чтобы тот выделил отделение и бросил его подальше от хутора на дорогу. Сквозь трохот стрельбы Кошкин услышал, как немцы заводили моторы. И он решил отрезать путь отхода неприятельским машинам. Галактионов, повторив приказание, исчез, словно его размыла почная тьма. Снова вспыхнуло «ура», и саперы поднялись для очередного броска. Немцы вели ураганный огонь. Лейтенант Ларькин был ранен, у него подкосились ноги, и он упал. Но, и лежа в снегу, он продолжал выкрикивать:

— Вперед, товарищи!

Пробега мимо него, Соколенко сказал:

— Не беспокойся, назад мы не пойдём!

Ларькина вынес из боя Гассан Исмаилов.

Так, под сильным неприятельским огнем, семь раз залегали в снегу и семь раз дружно по сигналу подымались саперы. После седьмого броска их уже ничего не отделяло от немцев. Начинался рукопашный бой. Соколенко подбежал к блиндажу, на нем стоял Шевелев.

— Товарищ командир, — сказал он, — поберегитесь! Оттуда еще стреляют. Как их взять?

— Гранатой, — ответил Соколенко.

Шевелев бросил гранату в амбразуру, и выстрелы из блиндажа прекратились.

Соколенко нагнулся, взял винтовку, валявшуюся рядом с убитым бойцом и побежал к дому, из которого еще велась стрельба.

Позади, на дороге к хутору, раздались выстрелы. Услышав позади себя крики «ура», немецкие танкисты хотели повернуть назад, но вся дорога была забита машинами. Два немецких танкиста вышли из танка, чтобы расчистить путь. В это мгновение к танку подбежал молодой белообрый боец Ренквист. Одного немецкого танкиста он застрелил, другого, который, странно размахивая руками, побежал прочь, он заколол птыком. Взмахнув винтовкой, он сбил при этом с себя каску, но, не поднимая ее, не теряя ни секунды ловко взобрался в башню танка и повернул его пулемет в сторону немцев. Он нажал гашетку и израсходовал в одной длинной очереди полностью весь диск. Затем, высунувшись из люка танка, он увидел, как к дому бежит Соколенко, выскочил из танка и с криком: «Вперед, комсомол!» устремился на помощь комиссару.

Подбежав к дому, Соколенко увидел, как маленький и верткий боец Соколов ведет огромного немца. Соколенко рванул дверь. Она распахнулась. На пороге стояло два немецких солдата, один был без сапог. Увидев направленного на них в упор винтовку, они бросили свои ружья на пол и подняли руки. У Соколенко не было времени с ними возиться, он сказал подбежавшему Ренквисту: «Сдай их!», а сам выскочил обратно на улицу.

Когда Ренквист выскочил из танка, замерший там водитель завел машину и помчался назад по дороге. Ренквист не видел этого, но когда ему это рассказали, сначала не поверил, а потом очень сокрушался, что не успел прикончить водителя.

Впрочем, танк далеко не ушел. Галактионов, который проделал за эту ночь путь вчетверо больший, чем каждый боец роты, снова пробрался через чужую территорию к роту Симаква.

Рота была в бою. Галактионов никак не мог разыскать Симаква и не мог дать ему срочное приказание капитана: послать группу бойцов на дом, чтобы отрезать отход немцам. Он хорошо понимал важность приказа и не мог не выполнить его.

— Чорт побери! — выругался он и остановил одного из находящихся поблизости саперов.

— Командир приказал тебе идти со мной, — сказал он бойцу.

Несмотря на страшную усталость, на то, что ныли ноги, Галактионов стало легко и весело. Одного за другим он остановил пятерых бойцов и пошел с ними. Обогнув лесок, они вышли на дорогу в полтора километрах от хутора и увидели, как, взмывая гусеницами снег, уходит упущенный Ренквистом немецкий танк. Они метнули связку гранат под гусеницу. Танк остановился.

Стрельбу группы Галактионова на дороге слышали. На хуторе это вызвало среди немцев панику. Немецкий полковник решил проскочить в тыл на машине. Он уже садился в легковой автомобиль, когда к машине бежал сапер Прокопьев. Полковник поднял пистолет, но Прокопьеву удалось выстрелить раньше, и полковник, держась левой рукой за дверцу автомобиля, упал внутрь машины.

Около колонны захваченных трофейных грузовиков толпились бойцы, обращая внимания на раздававшиеся вокруг выстрелы они с любопытством рассматривали эти незнакомые машины с высокими бортами. Из кузовов вытаскивали матрацы, дамское белье, одеяла.

— Смотри, железные туфли! — сказал Шевелев.

— Ну, туфли я еще понимаю, а это, зачем? — изумленно отозвался другой сапер и вытряхнул пакет, из которого посыпались коричневые и красные резиновые детские соски.

— Вот это да!

— Товарищи! — сказал Соколенко, подходя к этой группе. — Завтра будем разбирать и подсчитывать трофеи, а сейчас вперед! А ну, давай!

И бойцы отошли от грузовиков и присоединились к тем, кто выковыривал из блиндажей и окопов еще сопротивляющихся немцев.

Около первого грузовика возлились бойцы. Соколенко подошел к ним, — здесь хлбнутая Гассан Исмаилов. Трофейная машина была наполнена ранеными, подобранными санинструкторами.

— Товарищ комиссар, — весело обратился к нему Исмаилов, — я имею личного водителя и живо их всех на машине к военврачу препровожу и обгатию.

— Давай! — сказал Соколенко. И вдруг услышал, как метрах в пяти от него раздался выстрел, и увидел, как упал Кошкин. Однако он тут же приподнялся и выстрелил в куст из пистолета. Оттуда раздался крик.

— Пойди проверь куст! — приказал Соколенко саперу и подбежал к Кошкину.

— Комиссар, — сказал тот, — Прокофий, эта свблочь продырявила мне шею.

— Исмаилов! — крикнул Соколенко, — постой! — Остановив санинструктора, он вместе с ним осторожно перенес раненого командира к грузовику. Наскоро перебинтовав командира, Исмаилов включил мотор и повел машину по лесной дороге.

Бой затихал, немцы уходили, оставив на хуторе оружие и убитых.

Стоя на крыльце избы, Соколенко советовался с Симаковым, что делать дальше — закрепляться здесь или идти вперед. Серовато-молочный свет зимнего утра уже наступал на леса. Низко над болотом вставало тусклое солнце. Оно напоминало круг мороженого масла, и на него можно было смотреть в упор, не жмурясь.

В деревню вошли два небольших камуфлированных танка. Из первого выскочил полковник Свирский и пошел прямо к крыльцу, где стояли Соколенко и Симаков.

— Ну, как дела? — весело спросил полковник.

— Заняли хутор, выбили немцев, — ответил Соколенко.

— Что думаете делать?

— Собирались здесь ночевать, но какая теперь почевка, когда уже день скоро, а потом нельзя давать им ни на минуту опомниться. Так что будем двигаться вперед.

— Правильно, товарищ комиссар. Таков и приказ командующего, — сказал Свирский.

И Соколенко повел саперов вперед.

Шесть километров немцы откатывались без сопротивления, затем попытались закрепиться на высоте, но опять первая рота сковала их лобовым действием, вторая пошла в обхват левого, третья — правого фланга.

Минометчики, не отставая, шли за саперами. Кроме своих минометов, в бой включились трофейные и два захваченных орудия. Саперов поддерживал еще двух танков, и немцы откатились назад еще на три километра.

Дальше Соколенко идти не решился. Люди буквально падали на снег и сыпали.

Саперы двое суток не смыкавшие глаз, вступив с ходу в бой, выиграв два сражения, уничтожили неприятельский батальон и, самое главное, погна назад немцев, которые собирались продолжать наступление.

• — Мы погнали немцев! Мы погнали немцев! — эта мысль радовала, Соколенко не замечал, что произносит ее вслух.

Он приказал саперам рыть временные землянки-блиндажи. Почва была песчаная, и хотя уже стояли морозы, землянки делаться были очень быстро. Небритый, с воспаленными от бессонницы глазами, Соколенко шел по дороге и вдруг увидел группу людей.

Разложив бумагу на снегу, человек сидел и быстро записывал что-то. Было темно, и один боец, держа в руках коробку спичек, вытаскивал и зажигал одну за другой, и в мигающем свете этих спичек человек писал. Двое бойцов держали над пишущим плащ-палатку.

— Товарищ комиссар, — сказал один из них, довольно улыбаясь, — наш писатель здесь, пишет про бой у хутора!

Пишущий поднял лицо, и Соколенко узнал в нем писателя Григория Сметова, работающего в армейской газете.

— Чернила в вечном пере замерзли, приходится орудовать карандашом, — сказал он Соколенку и снова склонился над блокнотом.

## Глава пятая

### ДЕНЬ БОРИСА КРАПИВИНА

Крапивин шел по разбитой деревенской улице. Сильно морозило, и хотелось хотя бы с полчаса отдохнуть в жарко натопленной избе политотдела, казавшейся сейчас самым уютным местом на земле. Это была одна из трех-четырех сохранившихся в деревне изб. Все политотдельцы, выполнив поручения и доложив об этом, собирались здесь — пили чай, закусывали, делились друг с другом впечатлениями за день и спали по двое на одной койке.

На столе валялась книга «Тысяча и одна ночь» с выданными листами, и все весело смеялось, когда кто-нибудь перечитывал вслух заключительные строки последней страницы: «И сказав это, она заплакала горькими слезами и произнесла следующие стихи». Это превратилось у политотдельцев в шутку, в присловье.

Но перед тем как зайти в избу, носящую гордое наименование «Политотдел», Крапивин должен был зайти к Суслову и Степняку, чтобы доложить им, как он выполнял последнее поручение. Поручение это при всей кажущейся незначительности было чрезвычайно важным.

В частях северной опергруппы нехватало бойцов и простых, обычных трехлинейных винтовок.

Уже третий день, как войска под Энском, вступив во встречный бой с наступавшими немцами, остановили их, сшибли, заставили сначала отступить, а затем перейти к обороне. Но теперь установилось нечто вроде равновесия. Немцы закопались и сосредоточивали войска для массированного артиллерийского, минометного и пулеметного огня. При общем наступательном намерении, охватившем бойцов, наше наступление все же выдыхалось. Ни одной позиции уже не удавалось продвигаться вперед. Данные разведки и допросы



ных говорили о том, что у врага солдат намного больше. И для того, чтобы вновь вести активные действия, нужны были люди, а их-то и не хватало. И тогда политотделыцы пошли по тыловым дорогам, по обозам, по госпиталям, чтобы обнаружить осевшее оружие и людей, которые, может быть, и вполне законно, но в данной обстановке совсем неправильно находились в нескольких километрах от переднего края, в то время, когда для общего дела им полезнее было быть впереди.

За три часа Крапивин собрал семь таких человек. Двое из них были в охране госпиталя, двое повозочных, у которых вражеские снаряды разбили повозки, один водитель разбитой машины и боец, отбившийся от своей части. Еще одного бойца Крапивин взял у начальника АХО. Все они были вооружены. Кроме того, Крапивину удалось обнаружить и извлечь из госпиталя и проходной бани шесть винтовок, один полуавтомат и ручной пулемет.

Крапивин поднялся по ступенькам крыльца, перед которым был водружен шест с покосившимся скворешником. В избе теперь было очень чисто. На столе лежала полотняная скатерть с цветной бахромой, кровати были застланы байковыми одеялами. В углу кипел самовар. У входа стоял часовой. Связист с сосредоточенным видом сидел у нескольких телефонных ящиков, изредка выкрикивая: «Сабля! Сабля!»

За небольшой перегородкой, около ручного умывальника, склонившись над тазом, стоял Суслов и чистил зубы. Не замечая за этим делом вошедшего с мороза Крапивина, он жалующимся голосом продолжал свой разговор со Степняком:

— Устав для наступления требует тройного превосходства сил.

— Но что же поделать, товарищ генерал, если у нас нет такого превосходства, и даже наоборот, а наступать все же приказано,— сдержанно отвечал из другой комнаты Степняк.

— Это весьма рискованно и для настоящего военачальника недопустимо. Эх...— и тяжело вздохнув, Суслов с треском захлопнул крышку синей жестяной коробки, рассыпав при этом на пол зубной порошок.

— Обещают, обещают резервы... А драться велят ни с чем!

Крапивин прошел в комнату. Суслов вышел из-за перегородки и, продевая руки в рукава шинели, бросил на ходу Степняку:

— Я пошел, лично допрошу пленного.

Степняк сидел за столом и что-то чертил на листке бумаги.

— Так,— сказал он недовольным голосом, обращаясь к Крапивину,— у тебя семь, Байдалаков достал одиннадцать, Безручко — девять, Петров — тоже семь, Арсентьев — пятерых, Колосов — четырех. Я сам шестерых нашел; другие еще до сотни собрали. Мы их сейчас же бросим к танкистам. Волков туда поедет. Танки без поддержки пехоты многого не сделают. А вот у нас как раз и не хватает простой пехоты.

— Я думаю,— тихо сказал Крапивин,— что можно будет пустить в дело роту охраны БАО.

— Это мы тоже думали и, пожалуй, сегодня сделаем.

Степняк встал со стула и прошелся по рогожной дорожке, проложенной от стола к двери. Он подошел к окну и поднял синюю бумажную штору. Комната наполнилась робким светом зимнего утра. Степняк потушил лампу и с жаром продолжал:

— Нам надо действовать, действовать и действовать, не ожидая прибытия резервов. Надо поражать воображение противника, наскакивать на него

даже меньшими силами. Надо ошеломить врага, запугать, не дать ни секунды отдыха. Вот ты так и объясни Соколенко.

— Немцы перебросят на его участок силы с другого. Тогда мы остановим Соколенко и прикажем двигаться понтонерам за двенадцать километров напрова. Немцы метнутся туда, а мы начнем на другом участке. По дороге на машинах с людьми будут налетать наши самолеты. Потому и дай приказ — мелкими группами выходить на немецкие коммуникации и резать их. Действовать днем и ночью! Ни минуты передышки, ни секунды отдыха немцу давать! Надо их изматывать, чтобы к моменту прибытия резервов немцы их побежали. Так я понимаю замысел командующего. Всю ночь сегодня этим раздумывал. Суслов прав: здесь кое-что и не сходится с уставом. Но что делать, если у нас нет тройного превосходства, а есть приказ: взять Эппель. Я об этом разговаривал со Свирским. Он тоже так понимает приказ командующего. Вот, смотри, какая разнища... Оба — академики. Один все знает, умеет, а другой только знает — и ничего не умеет. Принимает сразу десять решений и не в силах выполнить ни одного. Теряется при первом же осложнении. Как говорится: «Бородка Минина, а душонка глиняпа».

Степняк остановился, вытянул портсигар из кармана.

— Да я и забыл, что ты не куришь. Так вот! Сейчас поедешь к сапёрам и в личной беседе объясни Соколенку приказ командующего. Объяви ему, что сегодня придут к ним в батальон валепки, пусть немедленно раздаст. Полушубки и ватники будут завтра. А потом, возьми с собой две сотни экземпляры газеты и раздай там. У них большие потери, и, знаешь, появилось какое-то опасное бравирование, — люди ходят не пригибаясь там, где следует проползти, и когда им говорят об этом, иные отвечают: «Не все ли равно — сегодня убьют или завтра». Такое равнодушие к смерти мне не нравится. А здесь в номере большая статья Столетова о героическом штурме хутора Вехручи. Пусть сапёры выдают, что о них помнят, что их прославляют, что страна будет знать их подвиги и имена героев.

— Значит, сейчас ехать? — спросил Крапивин, отгоняя от себя мысли, теплой избе, о горячем чае и мягком тюфяке на походной койке.

— Если найдешь нужным, можешь остаться там до завтра, проведя все, что я сказал, но все же лучше поезжай поскорее. Да перед тем как ехать, зайди к пленным и спроси, может быть, Суслов захочет что-нибудь передать туда.

— Сабля! Сабля! — громко сказал связист.

— Товарищ комиссар, к телефону; вас требует член Военного совета.

— Пока я говорю, — на, прочитай-ка. Взято у убитого обер-офицера. Весьма поучительно, — и Степняк сунул Крапивину помятый голубой конверт. Острыми готическими буквами был выписан адрес: «Маннгейм, Элиз Аирен».

Майор не успел не только отправить письмо, но даже и дописать его. Сначала шли обычные вестунительные слова. Крапивин, приученный к латинскому шрифту, с трудом разбирал рукописный готический. Дальше майор сообщал о том, что он получил второй Железный крест, и еще дальше шли строки, которые Борис прочитал дважды.

«Я был, — писал майор, — в Бельгии, во Фламандии, во Франции, в Греции, в Дании, в Валонии, в Норвегии, в Финляндии со своими молодцами, но нигде мы не встречали такого ожесточенного сопротивления, такой самоотверженности войск и населения, какие довелось нам встретить здесь. Что же защи-

пашут с такой энергией и смелостью эти люди? Для меня, дорогая Эльза, это до сих пор является загадкой...»

«Ну, теперь-то вам, майор Апреп, придется разрешить эту загадку на скворороде у тойфеля», — подумал Крапивин.

— Здесь нет ничего интересного с оперативной точки зрения, — сказал он Степняку, продолжавшему разговаривать по телефону с членом Военного совета, и вышел на улицу.

Пленные содержались в помещении избы-читальни. В дверях Крапивин столкнулся с пленным — белобрысым, почти без бровей, со сломанными очками, слезящимися глазами и распухшими от холода руками; шея его была обмотана полотенцем. Дрожащий, в зеленой тужурке, он был именно таким, каким в это время уже начинали рисовать фрицев и гансов наши художники.

Увидев Крапивина, пленный вытянулся в струнку.

В полутемной комнате за столом, спиною к иконам, сидели Суслов, Свирский, переводчик и писатель Григорий Столетов. Перед ними на табурете сидел второй военнопленный, судя по нашивкам, — ефрейтор. Увидав вошедшего в комнату Крапивина, он быстро вскочил с табурета, вытянулся и, четко отдав честь, опустил руки по швам.

Это был высокий черноволосый парень с блестящими карими глазами. Руки у него были забинтованы.

— Нет, этого в нашей роте не было. Наш лейтенант этого не допустит, — продолжал он отвечать на вопрос, заданный раньше.

Свирский усмехнулся.

— Кого ни спросишь, в их роте этого быть не могло, а однако, есть и изнасилованные женщины и расстрелянные колхозники!

— Теперь ответь, — обратился к пленному Суслов, — почему ты стрелял?

— Потому что война, — спокойно отвечал ефрейтор.

— Да нет, я по о том спрашиваю, я знаю, что война — раздражался Суслов, — я спрашиваю, почему ты, когда уже со всех сторон был окружен, все-таки продолжал стрелять?

— Потому что были патроны, — также спокойно ответил немец.

Суслов оглянулся на соседей. Столетов что-то быстро записывал в свой блокнот.

Расстегнутая, набитая бумагами, полевая сумка лежала рядом с ним на деревянной лавочке. У стены рядом с лавочкой стоял книжный шкаф без дверей. Книги на полках лежали в беспорядке, стопками.

— Вот это солдат, чорт побери! — И Суслов выругался. Но в его ругани Крапивин учуял оттенок одобрения.

— Товарищ генерал, — обратился он к Суслову, — я еду сейчас к саперам, не будет ли от вас поручений?

— Я поеду с вами туда, — отозвался Свирский, — грузовик уже заказан. Подождите меня. Не больше чем четверть часа...

«Значит, удастся все-таки выпить чаю», — подумал Крапивин и, выйдя из избы-читальни, пошел в политотдел. На крыльце его догнал Григорий Столетов.

— Все же матёрый волк, — сказал он; и Крапивин понял, что речь идет о немецком солдате, — нелегко таких прошибить. Как он сказал! «Стреляя потому, что были патроны»!

— Однакож прошибаем и прошибем,— резко ответил Крапивин.

— В этом у нас разногласий нет. Но каков солдат!

— Да что солдат? Вот именно — только солдат, окопаченный слепец, — с неожиданной для себя запальчивостью сказал Крапивин. — «Стрелял потому что были патроны». Вы представьте себе на месте этого солдата нашего красноармейца. Что бы он ответил на такой вопрос немецкому офицеру? «Потому что были патроны»? Чорта с два! Разве вы не чувствуете в этом ответе какие-то ланше пайти смягчающие вину обстоятельства? Нет, красноармеец сказал бы что стреляет потому, что дерется за свой народ, за свой язык, за родину, за отечество, за советскую власть! Может быть, он сказал бы другие слова, но уверяю вас, смысл его ответа был бы именно таков. Вот где можно восхитаться силой духа! А тут перед нами иднот, ландскнехт, профессионал-баблит. Да что тут!

И вдруг Крапивин сообразил, что вся горячность его ответа Столетову происходила потому, что не Столетову он сейчас возражал, а объяснял убитому майору Антропу из Маннгейма суть дела, и еще спорил с Сусловым. И по этому, повернувшись к Столетову, он сказал:

— Этого в Маннгейме не поймут.

— «Тут Шехерезада увидела его, залилась горячими слезами и произнесла следующие стихи», — такими словами встретил Волков Крапивина. И все находившиеся в комнате, их было человек восемь, засмеялись.

— Что же ты, дружище, опаздываешь? — многозначительно спросил Волков.

— А мне не надо, — понимая и усмехаясь, ответил Крапивин, — мне и стакана горячего чая хватит, шпик ведь есть.

Крапивин и Столетов сели за стол и налили себе по кружке крепко заваренного чая. Крапивин взял с тарелки кусок шпика, острой финкой отделил свежий, розоватый, почти прозрачный кусочек и положил его на ломоть ржаного свежего хлеба.

Дверь в комнату распахнулась, и вошел боец, связист Антропов.

— Разрешите доложить сводку Информбюро, — обратился он к Крапивину, четко и раздельно выговаривая слова, как бы отдавая рапорт на параде.

— Говори! — отозвался Крапивин, продолжая уплетать хлеб со шпиком.

И Антропов тем же торжественным голосом, старательно подражая диктору, приставив приклад винтовки к поску сапога, стал наизусть отчеканивать слова вечернего сообщения Советского Информбюро, принятого в шесть часов утра по радио связистами. И хотя сводка была обычной, скандирующий голос Антропова создавал у всех слушающих ощущение спокойствия.

— Так! А что еще, кроме сводки, интересного передавали?

Антропов, вспоминая, молчал минуты две, и в это время все в комнате с ожиданием глядели на него и тоже молчали.

— Да, — сказал, вспомнив, боец, и покраснел от удовольствия, — еще сообщали, что в Куйбышеве с большим успехом прошла премьера Большого академического ордена Ленина театра оперы и балета.

Сам он никогда в Большом театре не был, и сейчас его увлекало это громкое и торжественное наименование.

«Неужели еще есть где-то театры, и балет, и опера?» — с удивлением подумал Крапивин.

— Потом была очень интересная статья, — оживился Антропов и заговорил обычным человеческим голосом, торопясь скорее сообщить новость, раду-

ясь тому, что столько командиров прислушиваются к его словам, и робея от этого,— очень интересная статья... Про то, как на Украине действует один партизанский отряд, про то, как женщина-партизанка, бывшая пятисотница Евфросинья Г., подожгла сахарный завод... Как в районе Малые Шуры пустила поезд под откос...

Крапивин отодвинул в сторону стакан чая.

— А ну, повтори, Евфросинья. Район Малые Шуры...— он привстал.

— Да, да. Все население деревни немцы угнали...

— Что ты так волнуешься, Борис?— спросил Волков.

— Я очень хорошо знаю Малые Шуры. Три года там прожил... И, мне кажется, знаю и Фросю...

И он подумал, что если бы вчера не получил письма с адресом Тани, то сейчас, после слов Антропова,— не мог бы найти себе места.

— Можно идти?— спросил Антропов.

— Идите.

У обледеневшего окна загудел кляксон и послышалось тарахтение мотора. Крапивин встал из-за стола, надел свою черную шинель и вышел из комнаты.

На крыльце стоял заместитель Суслова, полковник Свирский в полушубке, и фотограф, тоже в полушубке, с аппаратом на ремне через плечо. Фотограф приехал на рассвете на цистерне с горючим и сейчас стремился на передовые. Там было много заявлений о вступлении в партию. Надо было их оформлять. Он собирался вместе с Крапивиным и Свирским ехать к саперам.

Крапивин узнал водителя.

— Что, получил новую машину?— спросил он.

— Какая новая,— с гордостью отозвался шофер,— по виштикам собрал из старых брошенных машин.

Это был шофер Галанов, машину которого пришлось поджечь и бросить летом, при выходе из окружения. Крапивин помнил, как бесстрашно вел себя в тот день Галанов. Под огнем автоматчиков он сам поджег свою машину, а потом, отходя с разведзвездом, сдерживал белофишнов. Из трех обойм, которые лежали у него в подсумке, редко какая пуля была истрачена впустую. Сейчас, на лице его можно было прочесть смущение, растерянность. Рядом с ним в кабине сидела девушка — военфельдшер.

— Сидите, сидите,— остановил ее Свирский,— мы устроимся в кузове. Да что у тебя, Галанов, такой расстроенный вид? Невеста, что ли, дома изменила?

— Да нет! Вот, посмотрите сами, товарищ полковник!— и Галанов, распахнув дверцу, вышел из кабины и, обойдя сзади грузовик, стал спускать борт.

Кузов был устлан сеном. В переднем правом углу, на старом драпе армяке лежала рыжая длинношерстная сука. Она с тревогой, страхом и тоской в умных глазах разглядывала стоящих перед грузовиком людей.

— Нашла место где щепиться! А теперь не подпускает никого к щенку!— сказал Галанов, и в голосе его слышалось умиление. Видно было, как при дыхании опускаются и поднимаются толстые, ребристые бока собаки. Она жалобно взвизгнула, когда фотограф вскочил в машину и затем, осклабившись, угрожающе заворчала. Фотограф перепугался и тоскочил обратно на дорогу.

— Вот ты какое дело!— сказал Галанов и ласково посмотрел на собаку.— Удобнее места не было? Дура такая!

Собака лизнула какой-то шевелящийся около ее сосков шерстяной комочек.  
— Да-а-с,— тихо сказал Свирский,— однакож ехать надо.

И, словно понимая, о чем идет речь, собака отозвалась на его слова воцаньем, обнажая большие белые клыки.

— Я ее вот как растревожу,— сказал Галанов и вскочил в кабину. Затем он запустил мотор, и автомобиль медленно проехал несколько шагов. Галанов рывком остановил его. Собака вздрогнула. Также рывком Галанов переключил рычаг скоростей на задний ход. Машина пошла назад. Встревоженная собака, вскочив на ноги и испуганно озираясь, повизгивала, не зная на что решиться. Галанов снова дернул машину и остановился. Тогда сука, бережно взяв зубами своего большоголового слепого щенка, подошла к краю машины и осторожно, мягко соскочила на заснеженную дорогу.

— Иди в дом, милая!— сказал ей Галанов.

— Иди!

— Жучка! Жучка!— кричали из избы-караулки.

Собака стояла посреди дороги, держа во рту своего детеныша, и боязливо озираясь на морозе, не зная, куда его укрыть, спрятать, чтобы было ему поудобнее, и потеплее, и побезопаснее.

— Бобка! Жучка! Сюда! Сюда!— слышал Крапивин уже и тогда, когда машина за пятой избой свернула на дорогу к хутору Вехручей.

— Поразительна эта сила жизни!— сказал Крапивин.— Война! Смерть! Бомбежки! Холодина! И тут вот эта дворняжка, оберегающая своего щенка от всего мира.

— Это ирландский сеттер, а не дворняжка,— поправил его Свирский потом, помолчав и вспомнив что-то свое, согласился.

— Да, действительно трогательно.

Миновав деревню, дорога врезалась в густой лес. Ветви ударяли по кабине, осыпая ее крышу снежными хлопьями. Сучья царапали борта грузовика. Корни столетних елей словно переползали с одной стороны дороги на другую, машина, натываясь на них, вздрагивала. Крапивин полулежал на дне кузова, опираясь спиной о стенку кабины и положив под бок пачку газет. Когда он взглядывал вверх, то видно было, как вершины деревьев чуть ли не вплотную сходились над дорогой, оставляя сверху только узенькую светлую полосу. И, несмотря на то, что дорога была с обеих сторон закрыта деревьями, острый ветер от быстрой езды холодила все тело. Крапивин и Свирский старались упрятать лицо в поднятые воротнички, и у Крапивина воротничок по лбу начинал леденеть от оседающего пара дыхания.

— Надо накрыться брезентом!— сказал Свирский, и они натянули через головы брезент, лежавший в кузове. Под брезентом было совсем темно, и зато стало теплее.

— Когда санеры снова будут брошены вперед?— спросил Крапивин.

— Завтра, часов в десять утра,— тонотом ответил Свирский и, слова продолжая давно начатый разговор, сказал:— Какую огромную роль играют воля начальника к наступлению, его вера в победу, доверие к нему бойцов! Если это есть, то можно делать такие дела, которые, если судить только по количеству бойцов и их вооружению, кажутся с первого взгляда немыслимыми! Я бы мог вам рассказать, как вел себя мой вестовой во время нашего выхода из окружения.

А впрочем, вот вам другой пример. У Халхин-гола одну часть пришлось немного отвести назад, из-за того, что нехватало воды. Там ведь днем жарко

невозможная. Здесь воды и болот избыток, а там все наоборот — нет воды! А соседняя часть держится, и даже о воде не заикается, хотя колодцев там нет и реки тоже. Рано это было еще, на рассвете. Проезжаю я мимо этой части и вижу картину, которая так поразила меня, что и сейчас, вспоминая о ней я не могу забыть удивления, охватившего меня тогда. Бойцы идут по степи рядами, как у нас в России бывает при ручной косьбе, пригибаются к траве и поглаживают ее большими белыми посовыми платками. И так не один раз! Что за чертовщина? И остановился и подошел разузнать, в чем тут дело? И что ж вы думаете? Оказывается, они смахивали почную росу с трав, промачивали ею платки, а затем выжимали их над котелками, наполняя росистой водой, — и так выходили из положения! А почему? Потому что командир хотел встречи с противником, хотел боя! А ведь у него тоже имелось формальное основание, как и у соседа, жаловаться на отсутствие воды и этим обосновать свое бездействие. А он, как видите, не только не жаловался, а даже не считал нужным начальству доложить. Надо — значит, сделано! Ведь самое важное — это искать, искать выхода и способов, и приемов, как выполнить приказ.

Крапивин слушал Свирского и понимал, что тот не столько разговаривал с ним, с Крапивиным, сколько спорил с Суловым.

Водитель вдруг резко затормозил, и машина остановилась посреди леса. Крапивин быстро поднял брезент и выглянул. Посреди дороги стояла женщина и, подняв руку, просила подвести ее несколько километров.

Водитель Галанов деловито проверил документы женщины и, высунувшись из кабины, сказал Крапивину:

— Это райкомовский работник Степанова. Я ее знаю. Разрешите взять?

Женщина вскарабкалась на машину, и грузовик снова, громяхая всеми своими шестью колесами, ринулся дальше по лесной дороге.

Крапивин смотрел на лес. Деревья стояли тихо, не шевелясь, словно зачарованные. Как клочки ваты с блестками борной кислоты на новогодних елках, лежали на ветвях огромные глыбы снега. Мелкие елочки и пожелтевшие кусты в снежных покровах казались вставшими с земли лыжниками в маскировочных костюмах. Сквозь строй стволов деревьев справа пробивалось широкое лилово-красное пламя заката. Крапивин взглянул на женщину, севшую к ним в кузов. Обыкновенный крестьянский овчинный полутулупчик, завязанный вокруг головы шерстяной платок. Обычное русское лицо, не первой уже молодости, большие редкие морщины на лбу, мелкие частые морщинки у серых глубоких глаз. Она молча сидела и, думая о чем-то своем, прислушивалась к песенке, которую вполголоса напевал фотограф:

Брала русская бригада  
Галицийские поля,  
И достались мне в награду  
Два сосновых костыля.

Крапивин тоже слушал тихий и печальный напев и смотрел на простое и милое лицо русской крестьянки. Справа за лесом разгоралось пламя заката.

«Господи, — подумал Крапивин, — такой же закат зимою стоял над этими лесами семьсот лет назад, когда по этим местам проходили дружины Александра Невского, отстаивая парод, и такие же были славные и простые лица у наших крестьянок, и так же нам угрожало небытие».

И вдруг он со всей силой почувствовал свою кровную связь со всем тем, что было здесь сотни лет назад; почувствовал всем своим существом огромную

толщу и глубину времеп. Такое чувство, вероятно, испытывала бы, если бы она могла чувствовать, волна на поверхности океана, ощущая под собой всю глубину его, и толщу, и силу, единой частью которой она была.

И вся борьба, которая здесь шла сотни лет,—от колычуги до буденнов-ки—вдруг стала для него осязаемой частью его собственной, словно начавшейся когда-то давно, никогда не прекращавшейся жизни. И Крапивин молчал, охваченный этим чувством, потрясенный его осязаемостью. В этот час зимнего заката он ощутил в себе силу для совершения подвига, спокойствие и мысли о смерти и какое-то явно осязаемое бессмертие.

Степанова попросила остановить машину, и Крапивин попрощался с ней, словно очнувшись от глубокого сна.

Женщина, попрощавшись со всеми, углубилась в чащу по еле приметной лесной тропе.

Третий секретарь райкома партии — Марья Николаевна Степанова уходила через линию фронта, в ту часть района, которая была занята немцами, для того, чтобы в лесных землянках рассказать крестьянам о речи товарища Сталина, прозвучавшей из Москвы вечером шестого ноября. Если бы Крапивин знал об этом в ту минуту, когда она сходила с машины, он постарался бы лучше запомнить ее лицо и простился бы с ней сердечнее.

Степанова прошла несколько шагов, увязая валенками в глубоком снегу, и оглянулась. Позади была ровная наезженная дорога, близкие люди, теплые избы. Впереди километров двадцать зимнего, трудно проходимого леса, немецкие солдаты, холодные землянки и... Женщина глубоко вздохнула, отвела глаза от дороги и медленно пошла вперед. Через две-три минуты ее уже не было видно, и только покачивание задетых веток, с которых осыпались снежинки, могло открыть внимательному глазу, что здесь кто-то прошел.

Грузовик подходил к хутору, у которого несколько дней назад разыгрался бой.

Машина простучала по деревянному мостику через замерзший ручей. С шиком подкатив к самому крыльцу дома, Галапов остановил ее. Это был тот самый дом, где немцы не успели досмотреть кинокартину.

На дороге и возле избы валялись немецкие каски, пробитые и целые, обрывки немецких газет, поблескивали пустые консервные банки... Немного отодвинутые в сторону, чтобы не мешали, мрачно стояли немецкие грузовики.

В избе, около которой Галапов остановил машину, теперь располагался медпункт. Приезжих встретила военврач третьего ранга Анна Петровна Коростелева. Она отдала рапорт Свирскому. Крапивин вглядывался в нее, припоминая, где же это они встречались? А Анна сразу, по описанию Соколенко, поняла, что перед нею стоит его друг — Борис.

— Здесь у нас командир батальона Кошкин, он не захотел эвакуироваться в тыл, — сказала она и пригласила прибывших в соседнюю комнатушку, немного больше чулана. За столом сидел, с забинтованной головой и шеей, Кошкин. Увидев Свирского, он хотел встать.

— Сиди, ты же ранен! — предупредил его Свирский.

— Голову повернуть нельзя, а то бы! — мечтательно произнес Кошкин и потом заволновался: — Очень прошу, доведите до сведения командования мою покорнейшую просьбу — не надо распылять раненых саперов по разным госпиталиям. Тех, что могут вернуться в строй, не надо эвакуировать далеко вглубь. Пусть полечат их где-нибудь поблизости. И я, и все хотят вернуться обратно в батальон. Зря, что ли, столько силы было положено? Ей-бо-



гу, в другом месте они будут скучнее драться, уверяю вас,— сказал он, обращая последние слова к Анне.

— Я передам, обязательно передам об этом члену Военного совета,— сказал Крапивин,— и вспомнил, что, когда ему рассказали о том, что Сухарев — «бог» — жив, и он захотел его разыскать, то никак нельзя было установить, куда его эвакуировали, в какой госпиталь.

— Обязательно передам, я сам понимаю, насколько это важно,— еще раз сказал Крапивин и взглянул на стол. На столе стояли три тарелки, из которых одна была пустая, а в двух других лежало по куску мяса. Посредине лежала надрезанная буханка хлеба. Анна Петровна перехватила взгляд Крапивина.

— Третья тарелка... это Прокофий ел. Он только что вышел, чуть не рассорился с капитаном и обратно — на перелгий край — сказала Анна. — А впрочем, плохая я хозяйка — не потчую гостей. Сейчас вам тоже поесть принесу! Сию секунду. — И она быстро вышла из комнаты.

«Вот оно что,— подумал Крапивин,— значит, это и есть Анна? Ну, да, помню! Это он ее тогда падоумил, как посылки соорудить».

Кошкин тоже, как и Анна, перехватил взгляд Крапивина, но реагировал на него по-своему.

— Сейчас Коростелева принесет мясо — просто объедение! Это лось! Во время боев не эвакуировался и пал на поле брани! Ну, а мой начпрод зевать не станет. Вот вам и дополнительный приварок! Чудесный работник! А Анна Петровна! Если бы вы видели, как замечательно она работает. Честное слово! Беззаветная женщина.

Кошкин никогда не упускал случая расхвалить хорошую работу своих товарищей и подчиненных.

— А из-за чего вы с комиссаром ссоритесь? — спросил Крапивин.

— Да так, на исторические темы. Он говорит, что в литературе о прошлой войне все внимание сосредоточено на Карельском перешейке, и все, кто не был на войне, думают, что только там война и шла. «На Петрозаводском направлении и на берегу Ладоги было не менее поучительно», — говорит он, — и напрасно об этом нигде не печатают». А я говорю: «Значит, так надо». Он и рассердился. В общем — вот и все разногласия. А на сегодняшнем этапе мы едины, и лучшего комиссара мне не найти. Да вот вам и лось!

— Зачем же вы. Я хотела, чтобы они сами догадались, что это,— сказала Анна, ставя на стол котелок с лосиной.

— Спасибо, нам надо идти к Соколенко,— сказал Свирский,— мы не можем задерживаться!

— Тогда возьмите с собой в дорогу.

Анна быстро сделала бутерброды с мясом, завернула их в бумагу и положила в карманы Свирскому и Крапивину.

Грузовик провез их еще полтора километра вперед. Теперь совсем близко раздавались выстрелы. Из-за дерева вышел часовой и сказал, что дальше нет проезда.

Предстояло пройти по тропе около километра, неся с собой в пачках армейскую газету.

Они пошли след в след.

Надо было перейти через ручей, по льду. Около самой тропы чернела небольшая прорубь, и вокруг нее было очень скользко от нарощенного льда.

— Хорошо бы напиться,— сказал Свирский,— только как зачерпнуть?

— А вот!— Крапивин увидел граненый стакан. Он стоял на краю проруби, и на прозрачном стекле его у края поблескивали ледышки. На земле опускался холодный вечер, но берегам ручья стоял густой лес, казалось, на самом ухом раздавалась оглушительная дробь пулемета — и вот... около проруби на льду стоит небольшой граненый стаканчик.

Свирский зачерпнул воды из ручья.

— Кто его здесь поставил?

— Известно, кто же, кроме старшего политрука, комиссара Соколенко, — ответил Крапивину сопровождавший их боец.

Они взобрались по откосу на берег и, пройдя шагов двадцать, сгибаясь в три погибели и пачкая шинели мерзлым сыпучим песком, заползли в землянку Соколенко.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — встретил он их, когда, еще не освоившись в темноте, они решительно не могли разобрать, откуда идет голос.

В песчаной стенке землянки, около самого входа, было выкопано углубление, в котором потрескивал небольшой костер. Он немного согревал воздух, но сильно чадил, а так как Свирский и Крапивин закрывали собою выход, то дым стал быстро распространяться по землянке. Крапивин закашлялся.

— Да сядь же ниже. Тогда лучше будет!

И, послушавшись Соколенко, Крапивин нагнулся и затем устроился в дальнем углу землянки, куда его подозвал Соколенко. Глаза постепенно свыкались с полутьмой землянки, стало видно, как, весело потрескивая, сгорают на костре ветки, и сизым туманом вверху под бревнами настила плавают дым. В землянке находилось еще несколько человек. Они расположились впритык. Трудно было найти между ними местечко, чтобы поставить ногу. Некоторые спали сидя, прислонившись спиной к мерзлой песчаной стене. Один из командиров спал, растянувшись на хвое, устилавшей землянку, подложив под голову несколько гранат. Неподалеку раздавались громкие орудийные выстрелы, и при каждом таком выстреле по стенке струйками сбежал песок.

— Саперы, саперы! — с укором сказал Свирский. — Землянки какие у вас неудобные.

— Некогда уютнее делать, — отозвался Соколенко. — наступаем ведь, меняем позиции не в обороне находимся!

— И то правда! — согласился Свирский, устраиваясь на место, которое уступил ему лейтенант Симakov.

Чтобы поговорить без свидетелей, как того хотел Крапивин, он и Соколенко должны были выйти из землянки. Уже темно, где-то недалеко раздалась автоматная очередь. Совсем близко пронизали воздух голубые трассирующие пули.

— Ложись! — сказал Соколенко, и сам ушел в снег около куста.

Так, лежа в снегу, они и вели беседу между собой. Крапивин передал Прокофью все, о чем говорил ему Степняк.

— Правда ли, что твои люди стали отчаянными?

Соколенко подтвердил.

— Вот надо раздать им газету, и потом я хотел бы поговорить с ними.

— Сейчас нельзя, все спят. А те, что не спят, работают. Утром наступаем. По тебе, пожалуй, с восьми до десяти утра хватит времени для переговоров!

Они лежали рядом в снегу, и, разговаривая, Соколенко склонял голову к Крапивину.

Борису было неудобно лежать на боку... Что-то твердое в кармане упиралось в тело. Он повернулся и лег вверх спиной, вытащил из кармана две пачки «Казбека» и отдал Соколенко.

— Теперь запомни и передай и Степняку и командованию то, что я скажу, — продолжал Соколенко. — Надо отдать точный приказ, чтобы при наступлении, когда будут захватывать трофейные грузовики, немедленно открывали краники и выпускали воду из радиаторов. А то мы, преследуя немцев, забывали это делать. Вода замерзала, разрывала радиатор, блок, и вместо одиннадцати машин на ходу, мы получили кладбище моторов. Потом вот что: люди, уходя в бой, пишут заявления о вступлении в партию и в случае, если их убьют, просят считать коммунистами. Как давать о таких сведения в списке потерь — входят ли они в число погибших коммунистов или нет? Формальный момент здесь очень важен, но пусть учтут при ответе и психологическую сторону дела! За валенки скажи спасибо, в самый раз! Ну, а остальное видишь сам. Беседы проведешь утром, — повторил Соколенко и посмотрел на небо.

В высокой и густой синеве поблескивала одинокая звезда.

— Когда пройдут наши самолеты, буду передний край обозначать серией белых ракет, как ты говоришь. Только проследи, чтобы прислали еще, а старые уже на исходе.

И совсем не изменяя тона, неожиданно для самого себя, Соколенко сказал:

— Знаешь, Борис, я женился на Анне.

Он не мог сейчас не сказать другу о своем счастье.

Прокофий искоса взглянул на товарища. Крапивин, задумавшись, молчал. «Все это, может быть, надо было отложить до конца войны, — думал он, — а может быть, Соколенко прав, и любить надо тогда, когда любитесь. Ведь мне же не мешает любовь».

Наоборот, когда Крапивин думал о Татьяне, о том, что она должна была оставить свой дом и работу и уехать, когда он думал о том, что его дочурка находится в оккупированном немцами городе, — все в нем собиралось в какой-то мускульно-нервный клубок, и он мог в эти часы работать без сна, без отдыха, за двох, за трех. Мысли о горе близких не расслабляли его, а наоборот, укрепляли. И сейчас, лежа под кустом на снегу, запоминая все, что сказал Соколенко, и глядя на далекую мигающую звезду, рядом с которой начинали мерцать другие, он молчал.

— Спать будешь на хуторе, — помолчав, сказал Соколенко. — В землянке места нет и ни к чему. И так, с утра я тебя жду, а сейчас поговорю со Звирским и тоже постараюсь заснуть немного.

Крапивин пристально посмотрел на Прокофия. На лице Соколенко была четырехдневная щетина, лицо его выглядело очень усталым, и под красными, воспаленными от бессонницы и дыма веками пристально из-под стекол очков глядели совсем молодые и счастливые глаза.

Когда Крапивин подходил к избе медпункта саперного батальона, было уже темно и только изредка вспыхивали зарницы далеких неслышных оружейных выстрелов.

Укладываясь спать на полу и приспособив под голову вместо подушки туго набитую бумагой полевую сумку, Крапивин вдруг сказал Анне, которая вошла в комнату с большими черными часами в руках.

— А я вас знаю! Помните, как Соколенко учил вас носилки делать?

— Помню,— ответила, вся вспыхнув, Анна.— Вы лучше скажите, как вам нравятся мои новые часы? Трофейные! Мне их ребята из немецкого автомобиля выломали. Мои испортились, приходится с этим чудовищем нуль выслушивать.

Заведя огромные часы с черным циферблатом и белыми цифрами и поставив их на столик, она сказала:

— А я вас тоже знаю. Вы медвежонок в рюкзаке прячете!

— Это Ирокофий вам сказал?— застеснялся Крапивин.

Как-то Соколенко, по ошибке, вместо своего открыл рюкзак Крапивина и изумился, увидев там плюшевого мишку...

— Что это? Для чего тебе?

— Видишь ли,— смущаясь, признался ему Крапивин.— Мне все кажется, что я встречу дочурку, вдруг, неожиданно, ведь до сих пор не знаю, где она и вообще жива ли? Так вот, тогда я смогу ей сразу подарить какую-нибудь игрушку. А потом, признайся, ведь этот мишка очень симпатичный!

И Крапивин запрягал тогда плюшевого мишку с пуговичными глазами поглубже в рюкзак.

— Вы давно женаты?— спросила Анна у Крапивина.

— Семь лет. Я был тогда начальником политотдела МТС, а она приехала на практику. Только что окончила агрономический институт. Она приехала увлеченная идеей яровизации,— вы знаете что-нибудь об этом? Нет? Жаль. Стоит знать такие вещи. Так вот она с головой ушла в борьбу, которая разгоралась в агробиологии. Все в их группе работали, как одержимые. И знает, я смотрел на нее, слушал, что она говорила, и как она работала. И это могло мне в моей научной работе. Впрочем, вам это, наверное, не интересно.

Борис замолчал.

В тусклом свете фитиля копилки, сделанной из консервной банки, неясно проступали закопченные доски потолка. Лежа на спине и следя за колеблющейся узорной тенью паутины в углу у самого потолка, Борис вспоминал первые дни своего знакомства с Татьяной.

Крапивин вспомнил, какой в те дни была Татьяна — с косынкою на голове, в туфлях на босу ногу, веселая, задористая, неутомимая, готовая избить всякого, кто сказал бы ей о неизменности гена и усомнился в ее любимом учителе Лысенко. В ней была неиссякаемая жадность к жизни, и, может быть; именно за эту жадность полюбил ее Крапивин. Впрочем, ему все нравилось в ней. Она даже досадовала, когда, примеряя платье, спрашивала, к лицу ли оно. Он отвечал:

— Конечно!

Татьяне это казалось шуткой, желанием сказать приятное. Но что же он мог сделать, если и после нескольких лет совместной жизни каждый день с ней казался ему таким, как первый. И когда он возвращался домой с лекции или заседания и не застаивал ее, он ощущал квартиру свою словно опустевшей, и до тех пор, пока она не приходила, не мог ничем заняться. Но всего этого он не сумел рассказать Анне и поэтому показавшись ей и скучнее, и суше, чем был на самом деле.

Да и как могла она представить, что, говоря о том, как труд Татьяны и ее товарищей по науке привлек через хаты-лаборатории огромные массы кол-

знитов к научному творчеству, он, думая и говоря об этом, все время видел длинные деловые, пашины, на которых зеленеют посевы озимой пшеницы, и Татьяну, которая, наклоняясь, показывает ему неисчислимы оттенки зеленого цвета различных сортов пшеницы. А он и многие другие даже не замечали никакой разницы в цвете! Зеленые и зеленые, вот и все! А оказывается сколько разного в этом живом зеленом цвете. Вот травушка светится, словно зеленое пламя, а вот рядом другая — матовая, третья — темнее... Нет, словами этого не объяснишь! Особенно, когда рядом стоит Татьяна — в холщовом платье, такая загорелая и деловая.

Но знала Анна, что, говоря с ней, он вспомнил Евфросинью Гонимес,ую на сырой вспаханной земле — эту красивую черноглазую девушку. Впрочем, где теперь Фрося, где теперь ее небывалый урожай свеклы! Все по-прежнему или сожжено! Да и жила ли она? «Наверно, все-таки она и есть та прищипанка, о которой говорил Антропов», — снова подумал Крапивин.

Анна тихо лежала на походной койке и, наверно, думала о своем, и страшно было Крапивину, засыпая, слышать, что где-то, как в раннем детстве, в домике отца — путевого обходчика, за печкой ведет свою деловую однообразную песню сверчок.

## Глава шестая

### НОЧЬ АЛЕКСЕЯ БАЙДАЛАКОВА

Вращаясь, грохотали барабаны бетономешалок. Крепкие железные прутья арматуры были изогнуты, как и полагалось. Плотники ладили доски для опалубки. Стоя на узкой доске, проложенной на высоте четвертого этажа, Байдалаков с удовольствием наблюдал за ловкой работой опалубщиков. К тому моменту, когда будет готов бетон, будут готовы и деревянные формы, след которых навсегда останется на шершавых вечных балках бетонных перекрытий.

Байдалакову нравился труд плотников. Ему по душе был и труд кровельщиков, и каменщиков, и маляров, и арматурщиков, и землеплов. Ему доставляло удовольствие видеть, как на пустыре возникает сложная неразбериха извилистых путей, котлованов, куч песка, гравия, ребусное переплетение железной арматуры, — и знать, что из всего этого выйдет строгое стройное здание, такое, как оно возникло сначала в голове строителя, с точностью до одного шага, до одного дюйма.

Это вновь построенное здание войдет в жизнь тысяч людей. С него будут начинаться воспоминания детства многих мужчин и женщин, в нем будут жить, работать, наполнять своей жизнью и делом тысячи людей, несколько поколений. У широкого подъезда его на улице будут проставать часами назначившие здесь свидание влюбленные. Может быть, они zalюбуются этими высокими наличниками и скажут: «Как это красиво». А может быть, в муках расставаясь друг с другом, они навсегда проклянут эти прямые линейные контуры карнизов и колонн.

И Байдалакова из всех работ больше всего увлекала его собственная работа — организатора инженера-строителя, без которого мысль осталась бы только мыслью, а материал только материалом.

И поэтому сейчас, стоя на узкой пружинящей доске и с удовольствием

наблюдая работу плотников, он то и дело торопил их — боясь, что к тем времени, когда будет готов бетон, окажется, что какая-нибудь доска еще прибиита.

Бетономешалка грохнула еще раз, сильнее, чем обыкновенно... На стул задребезжали чашки, и Байдалаков проснулся. Его толкнул в бок батальонный комиссар Безручко. И это не бетономешалка грохотала, а работала зенит и совсем близко разорвалась бомба.

— Вставай, — сказал Безручко, — нас с тобой требует комиссар Степняк.

Степняк, переваливая с ноги на ногу свое огромное массивное тело, был похож на медведя в берлоге.

— Вот, — сказал он товарищам и показал на большие четвертные тилы с водкой, стоявшие на столе. Их было шесть штук. Рядом с бутылками лежало несколько больших розоватых кусков шпика. — Так вот, поздравляю сейчас, немедленно, в шестой стрелковый полк, тот, что взаимодействует с танками на переднем крае. Выложите там порциями эту водку и шпик для улучшения питания. Ознакомьтесь с настроениями и обстановкой, проведите разведывательную работу. Тема: только вперед, ни минуты спокойствия врагу! Не вернетесь, доложите мне. Так вот, берите. Только, смотрите, не разбейте.

— Товарищ комиссар, — сказал Безручко, — возить водку и раздавать по порциям — это обязанность старшины, а мы все же таки старший полсостав.

— Как старшему политсоставу вам бы следовало знать, что специально выполнять приказание старшего начальника и лишь потом его можно обжаловать...

— Ну, раз дело пошло так, — покорным голосом, в котором он, однако, не мог скрыть досады, сказал Безручко и, не закончив фразы, стал приносить живые куски шпика так, чтобы их было поудобнее нести.

— Скажи, а как дела у саперов? — спросил Байдалаков.

Каждое сообщение, каждое слово о саперах он ловил с живейшим интересом. Он провел со своим батальоном всю войну с белофиннами и по окончании войны целый год своей жизни целиком отдал саперному батальону. И теперь, оторванный от него, он живо переживал все, что говорилось о недавних питомцах.

Байдалаков немного стеснялся, что задает такой вопрос, стеснялся, и влюбленный стесняется спросить о жизни покинувшей его возлюбленной.

— Саперы! Прекрасно! Прекрасно! Наступательный порыв! Ренквист немецкого танка бил! — охотно отвечал Степняк.

— Молодец! — сказал Байдалаков, представляя себе этого неуклюжего голубоглазого паренька, — а мы его считали недисциплинированным.

— Кошкин ранен. Не беспокойся, легко.

— Ну, а как он с новым комиссаром сработался? — поднимая бутылку, спросил Байдалаков и замер в ожидании ответа.

— Прекрасно сработались. Лучше трудно придумать, — весело ответил Степняк и подал последнюю четверть.

— Ну, вот и чудесно, — сказал Байдалаков, — и сердце его сжалось. Хотя и очень уважал Соколенко и хотел скорейшей победы и взятия Энгельса, но ему было бы приятно услышать, что Соколенко с Кошкиным не сработались, и тогда, может быть, снова вспомнили бы о нем.

— Ну, вот и чудесно! — еще раз повторил он, выходя из комнаты.

— Ты смотри,—крикнул ему вдогонку Степняк,— не разбей бутылей. Ты ведь у дивизионного на примете — не поверит, что разбил. Опять подумает — выпил.

И снова жгучая обида ворвалась в сердце Байдалакова. Обида эта была тем горше, чем яснее Байдалаков сознавал, что вина, которую ему приписывают, просто противоречит всем его привычкам. Так вышло в его жизни, что он ни разу не был пьян, чувствовал к водке отвращение.

В тот злополучный вечер у него очень болел зуб, и Кошкин посоветовал ему поддержать на зубе водку, которая, по его заверениям, действовала отлично. В течение полутора часов перед тем, как его вызвал к себе член Военного совета, Байдалаков полоскал водкой рот. Когда его вызвал к себе Краснов, он торопливо выплюнул водку и почти бегом отправился в штаб. Входя в кабинет, он впопыхах запутался ногами в дорожке и, споткнувшись, очутился совсем рядом с дивизионным комиссаром.

— Дохните на меня! — приказал Краснов.

Байдалаков был снят с батальона. Он от обиды чуть не заболел. И вот тут Степняк напомнил ему то, что он в напряженной работе так старался забыть.

Байдалаков с трудом сдержал себя, чтобы не выругаться.

Как только Байдалаков и Безручко выехали из деревни и повернули направо в лесок, навстречу им выскочил из-за угла на стрекочущем трофейном мотоцикле младший лейтенант и скрылся снова за поворотом, успев только крикнуть:

— Бахтадзе везут!

Водитель замедлил ход машины. Навстречу, медленно и плавно обходя снеговые рытвины, двигался броневик. На подножке Байдалаков увидел Волкова. Водитель пододвинул грузовик к обочине, чтобы он не мешал броневику, и заглушил мотор. Байдалаков выскочил из кузова. В кабине, на мягком сиденье, рядом с водителем, стояли четвертные бутылки. Броневик тоже остановился. Волков легко соскочил с подножки и пошел навстречу Байдалакову.

— Леша! — тихо сказал он, — Леша, горе — Бахтадзе убит! — и он указал рукою на броневик.

Сверху на броне, привязанное ремнями, чтобы не скатилось, лежало тело майора Бахтадзе.

В темных сумерках вечернего леса особенно торжественным казался этот печальный кортеж — медленно идущий по снежной лесной дороге броневик с распростертым на броне телом убитого командира.

— Как убит?

— Я передал ему то, что приказал Суслов, — сказал Волков. Он сейчас говорил медленнее, чем обычно. — Майор только сжал губы и сказал: «Хорошо!» Потом пошел на передний край, прогнал корректировщиков и сам взялся за корректировку. Оказывается, оттуда ничего не было видно, и они корректировали наобум. Тогда он выполз вперед. Прополз чуть ли не до самой деревни, впереди всех был, и скорректировал так удачно, что артиллеристы с закрытых позиций со второго выстрела уничтожили один ДЗОТ, потом, через три выстрела, — второй. Потом поднялась пехота и взвод, который я привел. Одним словом теперь деревня наполовину наша.

— Ну, а как Бахтадзе убили? Не томи душу! Говори толком.

— Он прошел вперед. Там должна была отправляться группа в тыл, чтобы

незамедлительно отрезать Шомушку и еще три деревни от немцев. А лейтенант, который командует этой группой, как на грех, ранен, вчера эвакуировали его. «Я их сам поведу!» — сказал мне Бахтадзе по телефону, — так и передай Суслову: либо грудь в крестах, либо голова в кустах; либо полковник, либо покойник!» — и повесил трубку. И через двадцать минут снова мне звонят оттуда и говорят: «Больше нет нашего майора на свете!» Любили его бойцы. Гордым он был. Беда!

И Волков, махнув рукой, снова вскочил на подножку броневика.

Он стоял на подножке медленно идущего броневика и глядел в спокойное лицо Бахтадзе. Задетые ветки осыпали снег из брони, на тело, на лицо майора, и никто не смачивал этих случайных хлопьев с застывшего смуглого лица.

Через час Байдалаков и Безручко доехали на машине до того места, дальше которого ехать было нельзя. Надо было сходить с машины и еще с километр идти по лесной тропе до пункта, обозначенного на карте.

— Чорт побери! — выругался Безручко, — довольно трудно будет добраться теперь с этими бутылками до роты. Опять же, руки замёрзнут в полную меру.

— Да, что и говорить, отморозишь себе все десять пальцев из десяти возможных! Но взялся за гуж, не говори, что не дюж, — тоже недовольно пробурчал Байдалаков и принялся снимать грузные и холодные бутылки с шоферского сиденья.

Освободившись от груза, шофер развернул автомобиль и повел его обратно.

На зимней дороге остались Байдалаков и Безручко со своими шестью четвертями и брусками сала.

Бутылки высекались из рук, и если нести их сразу все, то можно было разбить.

— Каждый возьмет по две, — предложил Безручко. — Пронесем их по сто метров, а за оставшимися двумя пойду я, и опять двинем дальше. Следующие сто метров ты за оставшимися четвертями пойдешь.

— Ладно!

Попринести так им пришлось всего один раз. Поджилая возвращения Безручко, Байдалаков услышал за спиной своей какое-то посасывание. Он вздрогнул и стал зглядываться. Из ветвей высунулась лошадиная морда, невдалеке послышались голоса. Байдалаков развинул кусты. Лошадь стояла на месте, выпраженная в сани. В нескольких метрах от развалней был на скорую руку устроен шалам из еловых ветвей. Байдалаков осторожно заглянул внутрь, там при свете ручного фонарика (для того чтобы он светил, надо было непрерывно сжимать и разжимать ладонь) один боец, прислонив винтовку к дереву, стриг другого, притоваривая:

— Десять лет, как я парикмахерствую. Всю Старую Руссу стриг, но такого народа, как повозочные, нигде еще не встречал, — он поднес машинку для стрижки ко рту и подыпнал на нее.

— А чем плохи повозочные! — обиженно отозвался второй боец, не переставая сжимать и разжимать рычажки фонарика.

— Как чем? Нет, ты, вижу, совсем не входишь в мое положение. Я, воюющих дел мастер, обязан всю свою роту под пулевку подстричь, а младший комсостав под второй номер? Ну, так вот! — и он снова с ожесточением принялся за свое дело.

Полстриженные волосы темными хлопьями падали на снег.

— Всех я стригу во-время. За свою роту душа спокойна. А вот повозоч-



ные — то там, то здесь. Как за них ответить? А отвечать надо. Военное дело всё.

— Конечно, военное, — отозвался повозочный, — вот потому-то мы все время и в разгоне. Расею не охота иногда самому в немца выстрелить? А времени нет — все в разгоне.

— Ну, если б разумение было, так, приехав в роту, сами бы пришли к тебе. А ведь не было еще такого случая! Вот и приходится таскать с собой машинку, и где встретишь повозочного — останавливай и стриги! Да свети! Свети, чорт! — прикрикнул парикмахер на повозочного, который увидел заглядывающего в шалаш Байдалакова и отпустил фонарь.

Оказалось, что и повозка и парикмахер сейчас отправляются к избе лесника, где расположилась рота, но парикмахер, боясь подвоха со стороны повозочного, решил, не дожидаясь прибытия на место, воспользоваться своими привилегиями и постричь его немедленно.

— Теперь у меня душа за всю роту спокойна! — сказал он, сбрасывая последний клоч выстриженных волос и сдувая с лезвия машинки примерзшие волоски.

— Но дерет ведь? — с гордостью спросил он.

— Нет, спокойно берет, — подтвердил повозочный, — только боюсь, как бы ты, Бомба, мне головы не застудил. Это мы все его так зовем: Бомба и Бомба, — одним словом потому, что всегда готов взорваться человек, такой характер. А еще его зовут: парикмахер из Старой Руссы, — сказал повозочный Байдалакову и, одобрительно смеясь, пошел к своей лошади.

— А поглядите, какие условия работы, — горделиво сказал боец, пряча в сумку противогаза машинку, — какова мастерская?

К шалашу подошел Безручко с остальными бутылками. Их погрузили на сани, и через четверть часа все были у темных строений хутора.

— Стой! Кто идет? — остановил часовой и, узнав своих, пропустил.

С трудом разгоняя тьму, в избе горела небольшая керосиновая лампочка с разбитым и заклеенным законченной бумагой стеклом.

— Здравствуйте! — сказал Безручко, внося в избу бутылки.

— Здравствуйте! — уныло отозвалось несколько бойцов, расположившихся поближе к двери.

Теперь было видно, что некоторые из них в полутьме заняты чистой винтовкой.

— Кто здесь командир? — строго спросил Байдалаков.

Один из бойцов осторожно тронул за плечо человека, сидевшего за столом. Тот сидел, уронив голову на руки, положенные на стол, и спал.

— Товарищ младший лейтенант, — сказал боец, — вас спрашивают.

Но младший лейтенант и не пошевелился.

— Трое суток без сна, понимаете, товарищ комиссар? Четвертые сутки пошли, вот и притомился, — любовно сказал боец.

— Позавчера командира роты убило, — пояснил, выходя из темноты, второй боец. — Сегодня должны были идти на задание — политрука ранило. Приехал майор кавказский, хотел вести нас вместо политрука, — так и его убило. Остался из командиров один младший лейтенант на всю роту. Он часом поспит и поведет нас. Вот какие дела!

Младший лейтенант пошевелился, приподнял над столом голову, прерывчиво что-то и снова уронил на руки голову.

Байдалаков подумал: «Нет, ему нельзя идти сейчас по тылам. И потом, нужно, чтобы и здесь оставался командир; так что поведу я, карта у меня есть».

— Вот, товарищи!— сказал он, устанавливая бутылки на стол и клая ругом с ними бруски сала.— Вот, товарищи, вам прислано для усиления питания.

— Какое уж тут усиление,— сказал первый боец,— когда двое суток горячей пищи не получаем!

— На сухарях и кипятке сидим,— мрачно сказал другой и снова тронул за плечо спящего командира.

— Не то нас начальство забыло, не то наш собственный повар полные штаны от страха наложил — одним словом, питания нет,— отозвался красноармеец, кончивший чистить винтовку.

Он вложил шомпол на место, подошел к столу и жадным взором оглядел запотевшие бутылки с водкой.

«Вот какое положение»,— подумал Байдалаков и, не отводя в сторону выбившийся из-под упанки и мешавший ему вихор, громко сказал:

— Это стало известно командующему. Дело будет немедленно расследовано и виновные понесут соответствующую кару взыскания, но пока, чтобы подкрепить вас, командующий приказал нам доставить в роту эту водку и пищу для бойцов.

В комнате наступило оживление, из всех углов выступили люди и приблизились к столу, на котором высилась батарея бутылей.

— Кто старшина?— спросил Безручко.— Сколько народа налицо? По списочному составу надо поделить,— строго сказал он и взглянул на Байдалакова.

«Молодец,— подумал он.— Какой блестящий выход нашел! Духоподъемный даже! Да он настоящий политработник!»

— Две бутылки и кусок сала — в запас, для тех, кто идет на задание.— скомандовал Байдалаков и отошел от стола, возле которого начал священнодействовать старшина, извлекая откуда-то стопку с нанесенной на ней пятаковой делений. Раскупорив бутылку, он наклонил ее и, наполнив стопку, поднес к чадавшей лампочке, чтобы проверить деление.

— Да что там смотреть, правильно,— одобрил его первый боец.

— С таким командующим не пропадем!— отозвался другой.— Вот думать: сидим здесь в лесу, в снегу, и никому до нас, кроме Сталина, и дела нет,— а на самом деле всюду настоящие люди, оказывается, есть!

— Ну, я думаю, теперь тем, кто виноват, не одобровать,— убежденно сказал третий.

— Об этом, товарищи, можете не беспокоиться,— отозвался Безручко,— я сам все расследую и прослежу за этим.

«Вот и хорошо»,— подумал Байдалаков, отходя от стола, и спросил:

— Кто здесь с майором Бахтадзе до последней минуты был?

— Я,— тихо отозвался низенький боец, все время безмолвно стоявший у самой двери. Он стоял так и даже не подошел за водкой к столу, около которого столпились бойцы.

— Это товарищ Грунь, мы с ним при майоре неотлучно состояли,— сказал один из бойцов и, опрокинув в рот стопку водки, подошел к Байдалакову.

О Груне, как о бесстрашном и умелом разведчике, Байдалаков уже знал из нескольких политдонесений, поэтому он с большим интересом слушал и раз

глядывал его. Это был коренастый и короткий, как и его фамилия, человек. Широкие, скуластое, молодое, совсем еще безусое лицо и малый рост делали его похожим на подростка, хотя ему было уже двадцать лет. Разговаривать он не умел и, рассказывая, то и дело шмыгал носом.

— Майор сказал, что сам нас поведет. Это, конечно, большая была радость, и мы пошли. Должны были бы в дальний обход идти, чтобы наверняка пройти, а майор человек горячий, ему побыстрее хотелось. Вот мы и пошли прямо по ложнине, а нам навстречу заговорили — врать не буду — враз шесть пулеметов. Сосны были очень тонкие. Мы залегли за соснами и повели огонь. Ну, и было же! Пули прямо за шинелку цеплялись.

Грунь замолчал.

Стоявший рядом боец в такт его рассказу покачивал головой, и хотя Грунь замолчал, он продолжал все покачивать головой.

Байдалаков взглянул на него и увидел, что на кончике его усов поблескивали скатившиеся слезинки.

— Майор выбрал сосну, спрятался за ней и начал бить сначала с колена по амбразурам немецкого блиндажа, — вдруг снова заговорил Грунь, — а потом — куда ни шло. Враз выпустил два диска! И немцы из блиндажа стрелять перестали. Слышу я, как майор заругался: «Чорт возьми, диски израсходовать!» И тогда вставил он двенадцатипятнадцатый рожок. Пока вставлял, я стал вести огонь. Прикрывал майора. Он был метрах в десяти от меня, впереди. Выпустил я обойму. Оглянулся. Смотрю, а он голову на правую руку склонил — и замолк: в голову попало. А мне не верится. Сердце у меня — врать не буду — остановилось. Даже винтовка из рук вывалилась, честное слово! Рядом со мной Пилыщиков лежал. Переглянулись мы с ним — и он пополз к майору. Убили его, врать не буду! Потом сержант Постоянко и еще три бойца двинулись к майору. Проползли десять метров — сержанта ранило в челюсть. Тогда я пополз к майору. Позади наши поддерживали меня огнем. Я ползу... Я маленький — в меня попасть нелегко. Вижу я, извстречу, к телу майора, из-за деревьев пять немцев подбираются. Их поддерживают из шести пулеметов. А у наших диски израсходованы, и у меня — врать не буду — не знаю как. магазин отлетел. Посмотрел я назад — никого своих не вижу. А пули прямо пришиваются к земле. Думаю, пусть лучше меня застрелят, а я все равно без майора жить не буду. Вы не знаете, что для меня майор значил! До некоторой степени отцом родным был. Впрочем, тогда я этого и не думал, это теперь я так понимаю. А тогда я одно знал — ползти! И вот, я первый подполз к майору, схватил его автомат с непочатым рожком, и, куда ни шло, всех этих пятерых, которые к майору ползли, прикончил. Вытащил майора к своим!

И Грунь снова замолчал. Молчал и Байдалаков, очень живо понимая, почему бойцы так любили Бахтадзе — за его ловкость, храбрость и требовательность.

— Он все по-настоящему объяснит, — сказал об убитом командире второй боец, — завсегда дух подымает. Скажет: «Если ты в разведке чихнул или кашлянул, значит ты — врагу помог», — и всем ясно.

Тут снова заговорил Грунь. Сегодня, против обыкновения, ему хотелось говорить.

— Теперь, знаете, словно половины меня нет! Никогда в жизни такого не было. Я думал, может, он ранен... Нет! Теперь мне — врать не буду — что жить, что умереть — все равно. Кажись, с охотой отдал бы жизнь за него.

И вот, видите, как вышло! — и Грунь развел руками. У него перехватывало дыхание.

— Тенсрь, — сказал второй боец, — мы все силы приложим к тому, что отомстить за него. Чтобы помнили немцы, кого они убили.

Он замолчал, и Байдалаков увидел, как опять в усах его остановилась небрежная по небритой щеке слезинка. Грунь тоже шмыгнул носом.

— Сегодня у нас будет возможность отомстить за майора, — сказал Байдалаков.

— Спасибо, товарищ комиссар, — в один голос отозвались оба разведчика. Байдалаков подошел к Безручко.

— Работа распределяется между нами так, — сказал он, — ты расследуешь безобразию с горячей пиццей, выпрямляешь по возможности это дело на месте, затем едешь в штаб, сообщаешь о положении, и пусть немедленно шлют с двух командиров на роту.

— А ты что будешь делать?

— А я пойду выполнять с ними задание. Не дам сегодня немцу спокойно поспать! Я-то сам днем часа три поспал.

Байдалаков разбудил младшего лейтенанта, в точности разузнал задание и расстелил перед собой его карту, перевел с нее цветными карандашами в свою разведанное расположение частей и точек противника. Расположение своих запрещалось наносить на карту, надо было держать его в уме.

— Дайте-кась я вас перед делом побрею, товарищ комиссар, — сказал Бомба.

Байдалаков провел ладонью по щекам: изрядная щетинка.

Парикмахерская помещалась в погребе для хранения картофеля. Посредине стояла самодельная печурка. Около нее — небольшая вязанка дровца. На стене висел плакатик: «Температуру поддерживает очередной клиент».

После бритья Байдалаков собрал людей, идущих с ним, и через десять минут они вышли.

Шли гуськом, след в след. Впереди Грунь, за ним — парикмахер из Старо-Руссы — Ельцов, по прозвищу Бомба, Байдалаков и с ними еще человек двенадцать. Грунь едет был не по форме, — как всегда, когда уходил в разведку в короткой темной шляпке и собственных, прилпавших из дому, валенках-шляпками.

— Здесь свернем, — сказал он Байдалакову, — если дальше прямо пойдешь — опять на шесть пулеметов нарвемся.

Они свернули с тропы и стали прокладывать новую. Итти по снегу, лесом темной ночью, было трудно.

Байдалаков шел пятым, стараясь все время попадать в след идущего впереди.

Байдалаков шел и вспоминал Бахтадзе, лежащего на брезенте, вспоминая рассказ Груня и его слезы, и потому, что он сам любил этого веселого грузина: он все старался себя представить, что виделось в последнюю секунду жизни Бахтадзе: наверно, вершина блистающей снегом горы, а может быть, холодная вода родника, протекающего у виноградника? Мне бы, наверно, привиделось последнюю секунду плывущее по Двину бревно спелава, розовое в розовой воде в час заката, и мать, теребящая лен... Или нет: коровы, гремя боталами уже принесли из стада, и мать сидит на чурбалке и теребит сосцы Пеструхи и тугие струи парного молока бьют в жестяное дно подойника... и опять раз-

все небо летного северного заката, и звенящая песня комара над самым ухом. Вот что припомнилось бы мне. А впрочем,—спохватился Байдалаков,—ведь это несколько раз мне казалось, что до моей глубокой лунки не больше трех минут ходьбы, и что же тогда я вспоминал? Но он никак не мог вспомнить, были ли у него в эти, казавшиеся последними, минуты какие-нибудь другие мысли, кроме того, как сделать так, чтобы удержаться, не уступить сразу,—тому что всего нестерпимее и злее на свете была мысль о том, что враг может восторжествовать и посмеяться над ним. И, будучи не в состоянии вспомнить свои переживания, он видел только кустики брусники на кочках около своей головы; или свежую, черную, поднятую бомбой землю ворошки, и так странно смотрящие вверх корни трав; или куски голубого неба и горящие рушащиеся балки обжато пламенем дома.

И тогда он снова вспомнил горбоносое лицо Бахтадзе, и его собственная обида, которая часа два тому назад заслоняла от него почти весь мир, при этих мыслях становилась все меньше и меньше, как будто размывалась почтем сумраком, как фигурки сзади идущих красноармейцев.

— Ну и что же, что меня обидели?—говорил себе Байдалаков.—Тоже обида! С батальона сняли! Ведь мне оставили и право и возможность воевать, как и всем товарищам моим, против гитлеровцев, и все меня считают товарищем, а для многих я еще и начальник. Так в чем обида? И кому нужна она? Кому нужно, чтобы я был обижен? Члену Военного совета? Нет. Он хотел, чтобы батальону и Красной Армии было лучше. Армии нужно, чтобы я был обижен? Нет, ей не нужно этого. Мне нужно чувствовать обиду? Да нет, это мешает мне и жить и работать. Но тогда почему же я, сознательный человек, продолжаю мучиться этой обидой и зол, зол на члена Военного совета? Ведь все это явная чепуха.

И действительно, он продолжал злиться на Краснова, но чувство обиды с каждым шагом, приближающим его к дороге, занятой немцами, становилось все меньше и меньше, и присущее ему чувство юмора начинало входить в свои права.

«Вот уничтожу сотню-другую немцев, вот возьму две-три деревни — тогда поговорим!»—подумал он в ту минуту, когда к нему подошел Грунь.

— Здесь,—сказал он,—вот кривая сосна!

Отсюда Грунь пошел вместе с парикмахером из Старой Руссы и еще одним бойцом вправо к деревне, находившейся в полутора километрах от раздвоенной кривой сосны, формой своей напоминавшей огромную лиру. Остальной отряд направлялся влево, на дорогу, по которой все время шло движение немецких автомобилей и отрядов.

Миновав приземистые бревенчатые бани и выйдя через боковой переулок на деревенскую улицу, Грунь снял красную звезду со своей фуражки, прислонил к плетню десятизарядную винтовку и, сразу утратив воинский вид, раздалку пошел по главной улице.

Часовых он не встретил. Они были расставлены на концах деревни по дороге.

Грунь шел по улице, заложив руки в карманы и нащупывая кончиками перчаточных пальцев прятки нарезок ручной гранаты. В одном кармане у него была лимонка, в другом — портативная термитная палка.

Снег хрустел под его ногами. Пустые избы мрачно смотрели черными щельями окон. В иных избах окна были забиты досками, и сквозь ще-

ли пробивается тусклый свет, ложившийся тоненькими лучиками на заснеженный частокот плетня.

Возле одной избы на Груня залаяла собака. Грунь остановился, погрозил ей пальцем. Собака поджала хвост и забилась под крыльцо.

У большой шестиконной избы, окна которой были забиты досками, Грунь остановился и стал прислушиваться.

Изнутри доносился громкий разговор немецких солдат.

Грунь медленно поднимался на крыльцо, осторожно отворив скрипнувшую на ржавых петлях дверь, вошел в темные, холодные сени.

Разговор стал слышнее.

Грунь, приподняв щеколду, отворил дверь и вошел в комнату. Стоявшие на столе около окошка две стеариновые свечи тускло освещали избу. Увидев свечи, Грунь подумал: «Уж не покойник ли здесь?» — и снял шапку. За столом и на лавках вдоль стен сидели немецкие солдаты. Грунь отыскал в красном углу икону тихвинской ботоматери, почитаемую в этих местах, и, разглядывая исподлобья находившихся в комнате людей, стал истово креститься. Рядом с иконой висели пустые рамки. На лавке, под иконой, трое солдат и нижнем белье играли в карты, один чинил белье.

— Зибних! — торжествуя сказал один из солдат. И закрыл своей картой лежащую перед ним карту противника.

— Дрей унд фирних, — отозвался другой и громко зевнул.

За столом два солдата сидели над листками бумаг и, углубленные в писание, даже не взглянули на вошедшего.

«Пишите! Пишите! — подумал Грунь. — Только напрасно стараетесь — не получают дома ваших писем».

Он повернулся к печи. На ней разместилась группа солдат, они курили дорогой душистый табак и о чем-то громко болтали.

Увидев, что несколько немцев вскинули на него глаза, Грунь сделал шаг к ним от порога и жестом попросил табак у закурку.

Немцы, сделав вид, что не заметили или не поняли, что означал этот жест, отвернулись. И только один из них, рослый рыжий детина, нагло улыбуясь, провел пальцем у себя под носом. Этим жестом он хотел сказать, как совершенно безошибочно понял Грунь: «Утри сначала нос!»

Другой немец недовольным голосом что-то сказал рыжему детине и повелительно показал Груню на дверь. И этот интернациональный жест, обозначающий: «Убирайся вон!», был правильно расшифрован Грунем. Притворившись обиженным и чуть было громко не сказав: «А, вот, вам утру нос!» — Грунь повернулся и пошел к выходу, заложив руки в карманы, готовый каждое мгновение, чуть что, внезапно обернуться и метнуть гранату.

— Wir müssen ihn verhaften, — сказал кто-то из немцев.

— Aber es ist ein kleiner Knabe! — возразил ему рыжий детина, рядом с которым Грунь действительно казался малышкой.

А Грунь в это время в сенях, заложив дверь на засов, зажигал термитную шашку и подкладывал ее под деревянный брусок порога.

Сделав это, он вышел на улицу. Снова собака выскочила и залаяла на него.

— Десятьнадцать штук! Там их, жучка, девятнадцать фрицев! — сказал он ей и потрозил пальцем.

За минуту, которую Грунь провел в избе, он успел быстро подчитать всех находившихся в комнате немцев. И несмотря на то, что только одну ми-

был он там, все им увиденное,— и склоненные над письмами солдаты, и унтер, свесивший ноги с печки, и поблескивающий очками солдат, и маленький дотина, достаравший головой до притоки, и даже их толпса, и как они сидели, выглядели и говорили,— на всю жизнь запечатлелось в его памяти.

К тому времени, когда он взял прислоненную к плетню винтовку, из избы, подымаясь к высокому, притчущемуся в тучах месяцу, уже валили столбы дыма. Подышались громкие выкрики на немецком языке. Грунь усмехнулся: «Это ж за майора!»— сказал он и, пройдя по проулку, зашел за бани и, обогнув с другой стороны высокий стог сена, прикрытый сверху снегом, вошел в рощицу. В это время он услышал с другого конца деревни короткий винтовочный выстрел.

«Это, наверное, Бомба орудует,— подумал Грунь,— Ну, что? Кто кому нос тер?!»

Он не ошибся,— услышанный им выстрел принадлежал Ельцову.

Вместе с товарищем Бомба нашел избу, где находились немецкие офицеры. За нетрудно было обнаружить, хотя бы потому, что около крыльца все время прохаживался взад и вперед немецкий часовой. Он поживался от холода, прищипывая ногами в сапогах с короткими голенищами раструбом и хлопал ладонями по бокам, стараясь согреться.

Время от времени он стрелял по сторонам, для того чтобы подбодрить себя и показать командирам, что он не дремлет, и напугать врагов, если они недалеко.

Из щелей плохо замаскированных окон выбивался пучок света, в нескольких шагах от крыльца стояла легковая машина. И Ельцов явственно слышал, как в избе играет патефон.

— Сволочи! «Стеньку Разина» играют!— сказал он.

Протоптанная в снегу через приусадебный огород тропинка вела к дощатой чулану — отдельно стоящей уборной.

Свежие, свежие следы,— радуясь, сказал Бомба,— внимательно разглядывая тропинку.— Вот это то, что нам надо.

Товарищ Бомбы сразу понял причину его радости и снял с плеча небольшую мишу, которую взял с собой. Почти у самой уборной, на тропе, они, нагорюясь, поставили мишу и присыпали ее свежим снежком. Затем, кусая губы, чтобы не засмеяться, пошли, таясь за плетнями, прочь от этого места.

— Здорово получится!— сказал товарищ.— Пойдет утром офицер по большой нужде — а тут как ахнет!

— Да, как говорится, ладил баба в Ладогу, а попала в Тихвин,— отозвался Бомба и тихо засмеялся в рукавицу.

Часовой попрежнему ходил перед избой. Десять шагов в одну сторону, десять в другую.

— Мучается от холода, сволочь!— сказал Бомба.

— Пристрели его, чтобы не мучился!— отозвался товарищ.

Бомба утвердил свою винтовку между двумя жердями плетня и, медленно дулом винтовки вслед за движениями часового, стал целиться, затем нажал спусковой крючок.

Раздался выстрел, тот самый, который услышал Грунь,— и часовой упал. Падая, он два раза стукнулся головой о ступеньки крыльца, и, не выпу-

ская из рук винтовки, так и застыл. А Бомба и товарищ его, ускорив шаг, бросились к намеченному месту сбора.

Сделали они даже больше, чем было им приказано.

Стало совсем темно. Большие бесформенные облака закрыли месяц. А тем — словно разорвались какие-то воздушные перины, рассыпая сверху числимый, неистощимый снежный пух. Стало немного теплее.

Когда Грунь дошел до группы Байдалакова, Бомба с товарищем уже там.

Байдалаков кончал минировать дорогу. Восемь мин были расставлены шахматном порядке. И, глядя на то, как валится с неба снег, Байдалаков дождался снегопада, так отлично скрывавшему от врага следы их ночной боты.

Грунь доложил ему о поджоге избы-казармы.

— Отлично, благодарю от лица службы, — сказал Байдалаков. — Чистое лано! И вам спасибо, — сказал он Бомбе с товарищем.

— Но за спасибо служим, товарищ комиссар! — отозвался Ельцов.

«Значит, скоро надо ждать гостей на дороге, они бросят подмогу в Шомку», — подумал Байдалаков и приказал бойцам сойти с дороги, отойти на двенадцать в глубину леса и вести наблюдение.

Сам он тоже пошел вместе с ними и залет в снег.

Снегопад все еще продолжается.

— Холодно, черт побери! Как бы согреться? — тихо сказал один из бой

— Интересно, почему, когда в соломе спишь, — холодно, а в сене — тепло... Вот бы сенца добыть, — мечтательно отозвался другой.

— А ты знаешь, Смирнов, как помну всю зиму от одной вязанки дров? — строго спросил его Бомба.

— Не знаю.

— Точно и оно, что не знаешь. А вот как было дело. Окаредный был — денег много, а все жалко! И спросил он у одного умного человека, сделать, чтобы на отопление поменьше тратить? А тот ему и пообещал, всю зиму с одной вязанки жарко будет, даже потно. «А как?» — спрашивает жадного. «А вот как!» — надо сказать, что пом жил на четвертом этаже. «Возьми, — говорит, — вязанку дров и держи у себя на кухне. Как тебе ст холодно, вноси ее на плечи и снеси вниз, а затем подыми на четвертый этаж и так делай раз, и два, и три, пока согреешься. Вот живи так, и тебе всю зиму с одной вязанкой жарко будет».

— Ишь ты! — восхищенно сказал боец. — Ловкий выдался!

— Тише! — раздраженно прикрикнул на них Грунь. — Тише, слышишь?

— Я ведь говорил, — отозвался Бомба, — если на дорогу вышел и залез всегда уха будет.

Вдали слышалось гудение автомобильных моторов.

Байдалаков увидел, как из-за поворота показались два броневика, два танка и огромное четырехугольное тело многоместного автобуса. Раздался взрыв.

Шедшая впереди бронемашинка подорвалась на мине и остановилась. И почти в то же мгновение раздался второй взрыв, со стальным скрежетом свалась гусеница танка. Танк загорелся. Огненные языки осветили остановившийся на лесной дороге колонну машин, деревья, похожие на оперную декорацию.

И тут Байдалаков не выдержал, какая-то непреодолимая сила заставила



ть и, крича, бросить бутылку с воспламеняющейся жидкостью в автобус, котором, ему казалось, должны были находиться солдаты. Лежавшие рядом с ним вскочили и, объятые тем же чувством, крича, швырнули гранаты в немецкую машину.

Новенький голубой автобус загорелся. Из горящей машины и подорвавшегося танка выскочили солдаты. Байдалаков дал по ним очередь из автомата. Рядом с ним тоже стреляли. Немцы, выскочившие из танка, ушли на снег дороги. Из горящего автобуса, из дверей, из окон, прыгали люди. Остальные танки и броневики повернули свои орудия и пулеметы в лес и открыли огонь.

«Эх, ошибку я сделал, что не с обеих сторон дороги расположил людей», — подумал Байдалаков.

Он прилег, прячась за ствол многолетнего дерева от трансирующих пуль, валившихся стежками голубого и розового шелка на черном сатине ночной тьмы.

Совсем рядом с ним, скрепя и треща, упала подкошенная снарядом вершина березки.

«Нало отходить, здесь больше нечего делать», — решил Байдалаков и сказал Груню, очутившемуся рядом с ним:

— Передай по цепи, отходим к кривой сосне.

Грунь передал Бомбе, Бомба — товарищу, и так пошло дальше.

Через час у кривой сосны собрались все. Байдалаков сам сосчитал. Всех было налицо двенадцать человек — столько же, сколько и вышло. И не было раненых, только у одного по лицу текла кровь: лоб его был глубоко оцарапан осколком.

По всему лесу раздавался гудящий грохот артиллерийской, пулеметной и ружейной стрельбы.

— Слышишь? Немец свой мешок развязал, — сказал один боец, — он с перепугу по пустому месту садит! Снаряды расходует! Так его! Так его! — и он расхохотался.

— Знаешь, что, Бомба, — сказал боец, мечтавший о сене, — я почище твоего нота, и без всякой вязанки, взобрел весь.

«Да, — думал Байдалаков, — двенадцать душ, а дело свое сделали неплохо, и притом никаких потерь. А если бы рота здесь была, так и дел не больше бы сделали, а убитых не меньше десятка пришлось бы выносить».

— За мной, товарищи! — скормановал Байдалаков.

Ему приятно было думать, что сегодня ночью на всех дорогах, ведущих от Энка к немецким частям, орудут десятки таких же мелких групп, опрезая обозы, сжигая избы, где расположились на ночлег немецкие солдаты, взрывая мосты, не давая ни минуты спокойствия врагу.

Таков был замысел командования. Остановив немцев, не ожидая, пока подтянутся и другие к ним с востока резервы, мелкими группами тревожить, изматывать, окружать противника, не давая ему притти в себя. Мелкие группы красноармейцев просачивались на дороги, занимали там оборону, и немцам приходилось собирать против них кулак и вести наступательные операции. Байдалаков был восхищен точностью и ясностью, с которой командующий определил тактику борьбы за Энка. Сначала остановить. Это уже прошло. Затем наступать методами обороны, заставив врага обороняться методами наступления. Численное превосходство врага сводилось при этом к нулю... Затем, когда подойдет исполнение, удар и штурм — это впереди!

Шагая по лесу, Байдалаков слышал, как идущий впереди, рядом с ним, Грунь тихо объяснял товарищу:

— Я всегда люблю в такое дело идти, потому что я лесной человек. Я тебе наизусть слова Чапаева скажу,—помнишь, в нашей газетке напечатаны? Я выучил. «Одному хорошо против семерых воевать. Семерым против одного трудно. Семерым нужно семь бугров для стрельбы, а тебе один. Один бугорок всегда найдешь, а вот семь бугорков найти трудно. Ты лежи да постреливай. Одного убьешь — шесть останется. Двоих убьешь — четыре останется. Когда шестерых убьешь, то один должен сам напугаться тебя, заставь его руки вверх поднять и бери в плен...» Вот!

И Грунь замолчал, не один раз он повторял эти слова товарищам, и каждый раз они потрясали его.

Через час они вышли к дороге, в двух километрах от того места, по которому враг продолжал еще вести сосредоточенный огонь. Они поставили на дороге две оставшиеся мины и опять залегли в снег.

— Теперь будем окапываться, чтобы не взяли нас днем,—приказал Байдалаков. И бойцы принялись копать. Байдалаков тоже копал себе окоп. Ему вышло удобное, песчаное. Снег шел хлопьями, сразу прикрывал белой пылью свежоткопанный рыжий холодный и рассыпчатый песок.

На дороге никого не было.

Снегопад прекратился. И зарозовел снег на дороге. Байдалаков понял, пришло утро и наступает новый день. Как быстро и незаметно прошла ночь. Байдалаков оторвался от работы и поднял голову. Около его окопа стоял молодой лейтенант, тот самый, которого ему стоило таких трудов разбудить; черном.

— Товарищ старший политрук!—сказал он.—Прислан из штаба новый командир и новый политрук в роту. Меня послали командовать сюда, а вас просят обратно в штаб.—И он вскочил в окоп.

— Спасибо за отличный окоп,—искренне поблагодарил он Байдалакова. Лицо у него было молодое, выпавшееся.

Байдалаков попрощался и пошел обратно по своим следам.

К избе политотдела в Сароже Байдалаков подъезжал одновременно с павшим.

Оба они остановили свои машины около красной деревянной пирамиды, воздвигнутой на свежей насыпной могиле, на развилке дорог. На светлой гладкой обструганной дощечке иссиня-черной тушью было выведено:

«Здесь покоится павший смертью храбрых в боях за свой парод, за свою родину майор Бахтадзе!»

Оба они обнажили головы.

Через несколько минут, войдя в избу и сняв полушубок, Байдалаков уселся за стол против Крапивина. Наливая себе стакан чаю покрепче, он откинулся назад, нависавший над глазами, и сказал:

— Борис, у меня к тебе большая просьба. Скажи командующему, я объявил, что водка послана лично им! И если он будет сердиться, заступай за меня. Иначе нельзя было.—И Байдалаков начал рассказывать Крапивину всю историю.

В комнату вошел Антропов, со стуком поставил приклад на пол, к нему торжественным голосом произнес:

— От Советского Информбюро. Вечернее сообщение.

## СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Подъезжая на машине к деревне Бор, вдыхая чистый морозный воздух, Крапивин испытывал чувство, которого он давно уже не испытывал и которое он не мог назвать иначе, как радость. И в самом деле, было чему радоваться: командный пункт оперативной группы переносился вперед. Пусть всего только на шесть километров, пусть, выполняя этот приказ командующего, Суслов ворчал, пусть до Бора, куда перебирался командный пункт, долетали артиллерийские снаряды врага, но самое главное, но самое главное — командный пункт передвигался вперед! Впервые для Крапивина, за всю войну, командный пункт в своем передвижении не отходил назад, а вывигался.

«Эту дату обязательно надо будет записать в дневник; сегодня же запишу: тактика наступления методами обороны принесла свои результаты», — думал Борис.

Расставшись со Свиреким, пошедшим в новую избу штаба, Крапивин направился в политотдел. Кроме часового, у входа там никого не было — все в разгоне, выполняли свои задания и лишь часа через два, к полночи, должны были собраться.

У крыльца, рядом с часовым, стоял связной Петин. Крапивин сразу узнал его. Вчера, когда приехавшая партийная комиссия разбирала заявление Петина о вступлении в партию, оказалось, что одна рекомендация недействительна, потому что давший ее убит, и Крапивин сам написал недостающую рекомендацию, упомянув о своей встрече с Петинным у переправы.

Они поздоровались.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Крапивин.

— Жду фотографии, — ответил Петин. — Фотограф тут мне делает. Обещал вынести... Для кандидатской карточки необходима... — и, смутившись, он вдруг спросил: — Правда, что у меня нет никакого внешнего вида?

Шинель его действительно в одном месте подгорела, тесемки ушанки не были завязаны, болтались.

— А что?

— Да вот фотограф говорит, что у меня нет внешнего вида, — с сокрушением сказал Петин. — Ай, посмотрите!

Крапивин посмотрел на небо.

Высоко, во всю огромную ширину темного неба, вырастали светлые, переходящие друг в друга языки. Они светились каким-то призрачным внутренним светом, и дрожали, и трепетали, и все росли и росли. И все на небе было огромным, светлым и непонятно волнующим. В первую секунду Крапивин даже не сообразил, что это такое, изумился, хотел спросить — и вдруг догадался: северное сияние!

И как всегда, когда он видел что-то не виденное раньше, Крапивин вспомнил Татьяну и подумал: «Хорошо бы показать ей это необычайное зрелище».

— Таня! Таня! — вслух сказал Крапивин, не отрывая глаз от переливающегося на небе света. И вдруг совсем близко застрекотал мотор, и около избы политотдела остановился мотоциклист.

— Из почтово-полевой станции, просили передать письма! — сказал он. — В политотдел опергруппы.

Краниввин взял объемистый пакет, запечатанный печатами, и сердце забилось.

«Нет, мне еще рано получить ответ,—подумал он.— А если есть? И тогда я начну верить в приметы».

Борис быстро вошел в комнату. Как и в горнице избы в Сароже, так и этой новой избе на столе стояли жестяные кружки и чайник. И все казалось точно таким же, только на месте, где там был водружен лузатый комод, здесь стоял двухстворчатый шкаф. Краниввин распечатал пакет и быстро стал перебирать вложенные в него письма. Были письма к Соколенко, к Волкову, Байдалакову, Свирекому, десяткам других людей — и только для него ничто. Но вот у него перехватило дыхание, он увидел серый конверт и свое имя и имя, выведенное невыработавшимся, похожим на детский почерком. Это было письмо от Тани. Он жадно прочитал обратный адрес. И вдруг ему показалось, что в комнате еще кто-то есть, и словно слышалось глубокое дыхание. Уютная керосиновая лампа ровно освещала горницу. Краниввин оглядел ее. Ничего не было.

«Первы шаят»,—подумал он, вывернул фитиль, чтобы лампа светила ярче, надорвал конверт и жадно стал читать письмо.

«Дорогой мой Борька. Глупеньши ты мой!—писала Татьяна.— Какое счастье, что мы снова нашлись! Эта война такое несчастье, у меня было столько горя!»

«Как всегда, караданом пишет»,—думал Краниввин, читая строчки, написанные милой рукой.

«...Я потеряла Надюну — она осталась в Випнице, у бабушки. Я потеряла тебя. Никогда, конца казалось, что мы уже никогда не увидимся, не встретимся и я не увижу твоих глаз, не услышу у самого уха твоего взволнованного дыхания, шопота,—я лежала в постели целые ночи с сухими глазами, не в силах заснуть, не в силах плакать, и тогда мне не хотелось жить. Сколько раз в этих переездах с места на место, в теплушках, в грязи станционных замков хотелось остричь свои волосы — только мешают зря; но я вспоминала, что ты любишь завиток за левым ухом, и за это прощала моим волосам все неудобства и разрешала им жить».

Краниввин перевернул страницу, он чувствовал, как сильно бьется его сердце. Он взглянул в конец письма и обрадовался: еще целых восемь страничек!

«...И всегда, каждую секунду жизни моей, ты был со мной, в мыслях моих, в сердце, в памяти. Снала ли я, работала ли я, читала ли — все, все для меня было полно тобой. Борька, все напоминало тебя, и мою тоску. И вдруг письмо от Андрея с твоим адресом и через три дня записочка от тебя. Ты знаешь, когда я получила эту записку, я весь день была как ошалелая. Уже на что Трофим Денисович поглощен работой и своими мыслями, и то заметил и спросил, что со мной. Тут-то я и объявила, что ты нашелся. Он очень обрадовался и велел передать тебе привет. Он очень хорошо помнит тебя, просто удовольствие было поговорить с ним о тебе».

«Да, мне самому это было бы очень интересно»,—подумал Краниввин и вспомнил слегка худощавого, сутулого человека с глубоко запавшими, тусклыми, блестящими глазами и тонкими губами. Он разделял татьянин восторг перемены.

«...Ты просишь, чтобы я подробно рассказала тебе обо всем — как я жила

что думала, что делала за месяцы нашей разлуки. Вот и видать сразу, что ты глупеньки, хоть и доцент... Ну, как это все расскажешь? От долгоносика мы спасли свеклу, и когда подумали, что урожай достался немцам, то просто руки в кулаки сжимаются. Но я думаю, что такие люди, как Фрося и Гонимос (он помог мне выбраться, но сам, кажется, там остался), не дадут врагу воспользоваться урожаем».

Раздался звук взрыва. Мелко задребезжали стекла окна и задрожали стены избы...

«Снаряд разорвался метров за триста отсюда», — не отрываясь от письма, подумал Крапивин.

«...Остальное время мое было занято работой под руководством Трофима Денисовича. Ты знаешь, случится такое, что если бы я прочитала в книжке, я бы не поверила. На одной из станций вдруг увидела я с платформы Лысенко. Он стоял в вагоне, прижав острое, строгое, простое лицо к стеклу окна, и о чем-то думал. Никогда я не видела его таким опечаленным. Ты, конечно, представляешь себе, как я обрадовалась этой встрече! Я вломилась в вагон и дальше уже не отставала от него. Он тоже обрадовался встрече. Ты понимаешь, он с нами, учениками, да и со всеми разговаривает так, словно все мы — Лысенко и сразу понимаем и видим то, что видит и понимает он. А еще его считают надменным, заносчивым и придирой! Вот идет наш поезд по бесконечной равнине, и по обе стороны такой изумительный травостой и бескрайние шивы, и на остановках даже слышно, как жаворонок заливается. И уже давно никаких самолетов и бомб с неба, никто не боится. А он стоит у окна и смотрит, смотрит, и мы видим, что он печален. И на каждой станции молча шагает к полю, вырвет былинку, смотрит и снова идет к себе в запыленное купе и молчит. А потом, когда я подошла, он спрашивает:

— На Украине в этом году пропал наш хлеб?

— Пропал, — говорю, — и свекла тоже. И работа наша с долгоносиком пропала.

— Ну, нет, до тех пор пока есть советская власть, — наша работа пропасть не может, — говорит он, — но хлеб Украины пропал. Какой нам остался? Сибирский. Теперь посмотрите за окно, что же это такое?

И, положив локти на пыльную раму открытого окна, он выглянул наружу. Вокруг стояли густые, необозримые хлеба...

Ты ведь знаешь, что он всегда скажет что-нибудь и ждет, чтобы собеседник его высказался по этому же поводу, и как ребенок радуется, когда собеседник скажет то же, что думает он сам, а еще больше, когда подскажет то, что он не заметил, или даже опровергает его. Вот я и сказала:

— Сибирский хлеб спасет нас.

Он недовольно отмахнулся от меня и сказал:

— Для этого мы должны сначала его спасти! Посмотрите, какой он зеленый!

И впрямь, вокруг была сплошная зелень. Такая свежая зелень — не то что до восковой спелости, зерну было далеко и до молочной. Многие хлеба только желли. У нас, на Украине, разве только в начале мая такие хлеба бывают, а мы ехали в середине августа.

Весна здесь была поздняя и дождливая. Посевы в Сибири и Северном Казахстане тоже были поздние. Лето шло прохладное. Вот и получилась такая картина.

— Да,— сказал Донат.— Все это не успеет вызреть, все вымерзнет. Здесь в Сибирь, в начале сентября всегда бывают сильные заморозки.

Достали метеорологические справочники. Раньше сентябрьские морозы за все последние шестьдесят лет.

— Чтобы сибирский урожай спас нас,— сказал Лысенко,— мы сначала должны его спасти. И если не мы, люди науки, то кто же?

— Но чем же может помочь здесь агробиологическая наука?— спросил я.— Ведь мы не в силах отодвинуть сроки заморозков, а зерно уже в земле смотрите — какой хлебостой, и посеять и повлиять на него мы не можем.

— Вот об этом и надо подумать,— сказал он. И два дня думал в своей куше.

Приехав на место, мы начали работу. Надо было заниматься анализом температур и осадков. Если бы мы ошиблись — пропал урожай года! Как урожай! Какого года! Стало ясно, что в этом году, если не будет чуда, урожай погибнет от мороза. И вот мы начали с 16 августа косить на небольших участках далеко еще недозревшую пшеницу. Трофим Денисович срезал ранней спелости хлеб и смотрел. Обмолачивали, сушили на воздухе зерно, и обыкновенных крестьянских печах и в термостатах, и получалось, как и предвидел Трофим Денисович, что хотя зерно было на вид сначала совсем зеленым, потом только зеленоватое, но и для размолу и на всхожесть и как семенное оно удовлетворяло всем требованиям. Это мы выяснили в неделю, но какая это была неделя! Как мы работали! Так, я себе представляю, наверное, бываю в бою. Но если не так, ты не смейся надо мной. Но когда мы это выяснили, тут-то и началось самое трудное. Трофим Денисович выступил и посоветовал уборку начать в конце августа, с наиболее зрелых массивов, а начиная с 1-го сентября скашивать все участки, независимо от состояния их зрелости. Ну, тут началось.

— Недобор зерна от этого будет, потому что и само оно меньше и шумнее... А вдруг заморозков не будет, тогда снимем такой урожай, какой! Не снался.

Главный агроном говорит:

— А будут заморозки, что тогда?

А ему говорят в ответ:

— Здесь никогда зеленый хлеб не косили.

А пока эти разговоры идут, время и того быстрее движется. Трофим Денисович — в обком, там поставил вопрос резко, как он умеет. Если надо, он до Сталина дойдет.

«Как я его узнаю,— подумал Крапивин,— ученый другого склада в лучшем случае стал бы ждать заданий от правительства, а этот сам волнуется народным делом, преодолевает все рогатки, ежи, психические надолбы и дает народу то, что надо».

Он снова переложил листок письма.

«...Когда встретимся, я тебе все подробно расскажу, как мы по районам колхозным активам ездили со снопищами и зернами. Ты бы меня не узнала, такой я стала агитаторшей. Хлеб-то ведь для бойцов!»

И вот районный актив пригласил Трофима Денисовича к себе. А он говорит: «Пусть лучше ко мне на станицу приедут».

Ну, и приехали. Он, конечно, сразу, как у него водится, повел их в поле. Идут мимо участка одного. На вид совсем зеленый массив в тридцать га.

— Можно косить такой хлеб?

— Никак нельзя, — совсем еще зеленый, — отвечают ему.

— А хотите такой хлеб в закромах иметь? — и из кармана пиджака вытаскивает полную жемлю зорна.

— Да, хотим! — дружно отвечают все.

— Так вот, зерно из этого же массива. — Подвел к выкошенному уже участку. Он в самой середине массива был. Участок плохо был скошен, привки остались. Но даже и это на пользу ему пошло — нагляднее было.

— Да у нас еще более спелые хлеба есть, — сказали колхозники.

И вопрос был решен.

Должна тебе сказать, что там, где начали убирать 5—10 сентября, получили хороший хлеб; кое-где доходил он в валках. Спасли урожай. А там, где не послушались нашего академика, там пришлось послушаться морозобоя... Вот, родной мой, какая у меня была жизнь за время разлуки с самыми любимыми мне людьми. Ведь я не только хлеб сибирский помогла спасти — и он меня тоже от тоски смертной спасал».

В эту минуту вдруг со скрипом распахнулись дверцы шкафа, и оттуда вышел человек. Крапивин вздрогнул, выронил листок и положил руку на открытую кобурку.

— Кто это? Кто здесь прячется! — спросил он.

— Не беспокойтесь, это я, фотограф!.. У меня в шкафу лаборатория. Знаете, иначе негде приютиться — ни проявить, ни отпечатать... А я тут одному товарищу обещал, — извиняющимся тоном вывалил фотограф. — Снимите руку с кобуры!

Крапивин улыбнулся. У него отлегло от сердца.

— Предупреждать надо! — строго сказал он. — А то мог бы и пристрелить ненароком. Идите, там вас Петин дожидается.

Фотограф заторопился.

Снова задрожала стена и задребезжали стекла.

— Слышите, как кладет! — сказал фотограф и вышел.

«...Прости, родной, что такое длинное письмо вышло, так хочется побеседовать с тобой о самом близком и дорогом, дай высказаться! — продолжал читать Крапивин. — Следующие письма будут короче. Сделай, ради бога, все, что можешь, чтобы узнать про Надюшу и маму. Может быть, ты что-нибудь знаешь про них, тогда напиши. Лучше знать самую страшную правду, чем так изнывать в неизвестности. Крепко, крепко целую тебя и убеждена, понимаешь — убеждена, что мы встретимся и будем живы и здоровы и будем торжествовать победу. Только ты себя там, пожалуйста, береги. Наверное тебя Таня.

Р. С. Матковский и Талицкий на фронте. Презент в Ленинграде. Говорят, героически. Остальные работают здесь. Чем занимаемся сейчас, об этом в следующем письме.

Р. Р. С. Теперь в Сибири и Северном Казахстане уже не страшны поздние весны и ранние заморозки. Родные, бейте сильнее немцев!»

«Да, своей работой лысенковцы и колхозники Сибири тоже наносят контрудар немцам!» — подумал Крапивин, вздохнул, сложив листки в конверт, и спрятал его в полевую сумку.

— Девочка моя, Наденька! Надюша, где ты, что с тобой сейчас?.. — прошептал он. Он почему-то был уверен, что Наденька, когда получила письмо от

Тани, что и с Падой будет все хорошо. Он живо представил себе дочку с короткими толстыми косичками, как она, заложив за щеку мошмизьсе, бегаёт из комнаты на улицу, чтобы вытащить из рта леденец, и, прирившись на свет, полюбоваться и самой удивиться, какой он стал прозрачный. Дома бабушка запрещает ей делать это.

Он вздохнул и стал перебирать письма. Надо поскорее вручить. В столько от них радости может быть и счастья! Вот Марусе, вот Свирику — я сам отдам. И это, в третий взвод N-ского полка, четвертой роты красноармейцу Степану Пьяных, я тоже сам передам. Как раз туда еду.

Он собрал письма, вложил их в полевую сумку и вышел на крыльцо. Попржежнему полыхало великое северное сияние, но было теперь в нём для Крапивина что-то утешительное, простое и радостное.

Да и как же могло быть иначе, когда в один день произошли такие вещи, как перенос вперед командного пункта, письмо от Тани.

И под северным сиянием, низко, казалось над самой землей, вдали вспыхивали зарницы оружейных выстрелов, но звук их доходил сюда приглушенным.

## Глава восьмая

### ДОРОГА НА ЭНСК

Крапивин взглянул вниз и узнал дорогу, идущую по скату к реке.

Вот у того камня, прикрытого теперь шапкой снега, которая делала её похожим на белый гриб, были убиты Фадейкин, Вологда, Белоцерковский.

Вглядываясь в противоположный берег реки, скованный толстым ледяным панцирем, Крапивин снова явственно ощутил то приподнятое настроение, в котором он пребывал последние дни, и воспоминание о погибших в этом месте товарищах только укрепило это настроение. Еще бы! Там, еще так недавно они отдали свои жизни для того, чтобы задержать врага, сегодня враг прилагал все силы, чтобы не дать нам наступать. А мы наступаем! С юга от Энска в бой вводились прибывшие с Урала свежие частотлично вооруженные. Они готовились к штурму Энска. Но и северная наша группа продолжала настойчиво делать свое дело.

И теперь Байдалаков и Крапивин были уполномочены штабом опергруппы проследить за тем, чтобы войска и приданные им орудия и танки были переведены на другой берег, по возможности наиболее скрытно, с тем чтобы в десять утра пойти на штурм укрепленной деревни Лазарево, примыкающей к северному предместью Энска.

Вместе со Свириком Байдалаков и Крапивин выбирали место для переправы.

С дальних закрытых позиций по укреплениям Энска и близлежащим рубежам неутомочно била наша артиллерия.

Немцы, коммуникации которых все время нарушались нашими мелкими группами, а в последние два-три дня и вовсе были перерезаны еще большими отрядами, накопившимися около рубежей, вели сильный ответный огонь, пытались разорвать сжимающееся вокруг города кольцо.

Над лесом стоял гул от выстрелов наших орудий и разрывов неприятельских снарядов. С легким шелестом, какой бывает при передвигании книг



прошел над головами, над вершинами деревьев сзади и совсем неподалеку шлопнулся в снег.

Крапивин прислушался.

— Нет, не разорвался! — спокойно сказал Свирский. — Третий перазорвавшийся за четверть часа. Это не так уж плохо!

(Отыскивая место для переправы, пробираясь через густой лес, оглушенный канонадой, он успевал еще считать перазорвавшиеся снаряды противника.

— Да, вы правы, — сказал он Крапивину, — пожалуй, лучшего места для переправы не найти. Хотя есть и неудобства.

— Вот видите, — продолжал Свирский свою мысль, — этот кусок простреливается и слева и справа.

Он был прав, здесь река образовала глубокий и живописнейший изгиб, и дорога с обступившим ее лесом проходила по далеко выдвинувшейся вперед луке и поэтому простреливалась с противоположного берега с обеих сторон.

— Зато есть и преимущества, — сказал Крапивин, — благодаря луке мы как бы естественно выклиниваемся в расположение врага — раз. Во-вторых, нигде в другом месте танки не выберутся на другой берег, а здесь только придется нескольких саперов послать вперед для разминировки.

— Ладно, здесь, — сказал Свирский и добавил: — такая канонада нам паружу. Немцы не услышат работы саперов.

Свирский, а за ним и Крапивин с Байдалаковым, пригибаясь, побежали по краю дороги назад, к тому месту, где остановилась прикрытая еловыми ветками выбеленная штабная машина.

— Ну, товарищи, я надеюсь на вас! — сказал Свирский, садясь в машину. Он посмотрел на ручные часы, светившиеся фосфорическим блеском.

— Самое время прибыть понтонерам. Да вот, кажется, шумят их машины!

Он с треском захлопнул дверцу, шофер включил мотор, и медленно, с приглушенными фарами, автомобиль пошел в тыл.

Однако Свирский ошибся. Навстречу ему шли не понтоны, а танки, которые должны были пройти по понтонному мосту.

Они подошли к группе бойцов, готовых двинуться через реку. Грунь о чем-то лениво спорил с парикмахером из Старой Руссы.

— Что это за холод! Вот у нас, в Старой Руссе, в позапрошлом году такие морозы стояли! Бывало, выйдешь на крыльцо с ковшиком воды, плеснешь в воздух, а на землю уже не вода хлопается, а ледышки ложатся. Ой, сколько ж людей тогда померзло!

— Ну, и сейчас не жарко, — отозвался какой-то боец, дыханием своим отогревая кончики пальцев, — и сейчас заморзнуть можно!

— А моля воробей на днях спас, а то бы я, пожалуй, и замерз, — тихо сказал Грунь, и все повернулись к нему.

— Воробей! Вот это штука! Как же это он сделал? — слегка подтрунивая, спросил Бомба.

— А так, — спокойно продолжал Грунь, — сижу это я в дозоре у дороги, на рассвете, — это когда вместе со старшим политруком Байдалаковым ходили, — и чувствую, что заморзаться начинаю... без движения сидели ведь. И вдруг вижу, передо мной по дороге скачет-поскакивает простой воробушек. Кажется, и смотреть не на что. пучок перышков, — а вот живет, хлопчет, не замерзает! Кажется, — врать не буду, — мяса нет, и крови капелька, и

объем у него такой, что со всех сторон холодом должно прохватить, и морозить,—а живет! На мороз внимания не обращает... Смотрю на лад его,—пу, сами знаете, как проволочка, так только что электротокую при ти удобно, а не прогревающей крови, а вот, поди ж ты,—живет, работа поспевает! А что ест? Ключет зернышко одно, может быть, за неделю. И подумал я о себе: мяса сколько и крови, объем какой проморозить надо, и ем сколько,—по килограмму заворачиваю, и одежда какая—валяки, полушубок,—а вот сажу и мерзну. И так меня этот воробей восхитил, разозлил, что не то что замерз, а чуть от стыда не вспотел! Что я, думаю хуже него? И вот видите—жив и здоров, фрицев еще не один десяток шибу, врать не буду!

— Так пойдем!—сказал младший лейтенант бойцам, взглянув на последних Байдалакова и Крапивина.

— Я пойду с ними,—сказал Крапивин,—а ты, Алексей, здесь с понтерами пока повозись! Ты ведь в душе инженер!

И Крапивин, скользя вниз по склону, отправился вперед со взводом разведчиков.

Они должны были выйти первыми на противоположный берег и покрывать переход пехоты и орудий. Шли молча, гуськом, пробивая своим телом снеговую толщу, натаптываясь ногами на камни, цепляясь за ветки. Дошли до льда.

Ночь была ясная и лунная. Поэтому решили перебежать реку не все вместе, а по одному, и накапливаясь под большой скалой на другом берегу. Крапивин переходил пятым. Через лед было идти легко, снег доходил только немножко выше щиколоток.

Отряд залег под скалой. Грунь и Бомба отправились вперед—разведать местность.

Крапивин сидел на камне и думал: «Зайдем рубеж здесь и уже можно будет начинать ставить понтоны, вырубая лед; часть пехоты, не дожидаясь пока для танков и орудий наведут мост, можно перевести по льду, как в группу разведчиков».

Он подумал о том, что следующую ночь, может быть, придется провести уже в Эниске. Надо будет посмотреть знаменитый древний монастырь. И еще он подумал о том, как он станет рассказывать Тане об этой ночи, о днях и ночах под Эниском, о северном сиянии.

Сверху по склону посыпался снег. Крапивин поднял глаза и увидел возвращающегося Бомбу. Он шел по той же тропе, по которой две недели назад шел Семен Нетин. Ельцов поскользнулся и, чтобы не упасть, ухватился рукою за низко нависшую над скалой ветку большой раздвоенной березы.

И Крапивин вспомнил, что две недели назад он видел эту березу с простертой над скалой веткой, сохранившей еще несколько золотых листьев. Теперь эта ветка обдала Бомбу сухим снегом.

— Все в порядке,—доложил Бомба,—там мы с Грунем прикончили двоих фрицев и теперь можно окоп у дороги занимать. Они спали,—появился он Крапивину,—пу, мы их и взяли, как паводок на камешке, молотом любоваться!

Младший лейтенант пошел группой вперед. Крапивин добрался вместе с ними до настоящей березы и остановился.

— И подожду десять минут. Если все будет в порядке, я пойду обратно. Младший лейтенант со своим взводом ушел.

В чистом небе светились роями холодные звезды. Стволы деревьев стояли черные и точно обутленные.

Крапивин, отсчитывая секунды, прислушиваясь к каждому случайному ночному шороху леса, простоял под березой четверть часа и, ничего не услышав, — он, зная исполнительность этого молодого круглолицего младшего лейтенанта, — со спокойным сердцем стал спускаться, а затем медленно перебраться по льду на северный берег реки.

Попрежнему неумолчно била артиллерия, попережнему работали пулеметы. Изобравшись на кручу около изгиба реки, Крапивин встретил Байдалакова, который разговаривал с подполковником-артиллеристом.

— Окопы на другом берегу мы заняли, — сказал он, подходя вплотную к Байдалакову.

— А вот у нас нескладница, — сказал Байдалаков, — пора приступать к постройке понтонной переправы, а понтонеров все нет. Вот и танки уже подошли.

— Я полагаю, что мои орудия можно перетащить по бревенчатому настилу, лед выдержит, — сказал подполковник.

Крапивин молчал. Молчали и Байдалаков с подполковником, прислушиваясь к приглушенному голосу танковых моторов.

— Ох, демаскируют они себя! Неладно получается! Сначала должны бы понтонеры прийти. Теперь танкам ждать приходится, — и Байдалаков в сердцах выругался.

— Надо проложить какую ни на есть переправу и, не ожидая понтонеров, переправлять орудия, — сказал Крапивин.

— Я тоже так решил. Кстати, саперный взвод не справится, придется еще кое-кого в это дело вырвать, благо пришло пополнение, сотни две человек...

— Так я начну с переправой, а ты пойдешь к танкам, скажи, чтобы пока замаскировались, — сказал Байдалаков и вместе с подполковником направился к орудиям. Крапивин пошел назад, к танкам. Гуськом на дороге стояло восемь штук средних танков и один Т-26.

Около головного танка Крапивин нашел капитана.

— Мы готовы, — сказал ему капитан, — сейчас к переправе по одному, интервал будем держать точный. Где переправа?

— Переправа должна быть готова к четырем почти, — слегка заикаясь, как и всегда, когда он волновался, сказал Крапивин.

— Тогда, где она должна быть? — спросил, нахмурившись, капитан. — Я должен кое-что указать понтонерам.

— Все дело в том, что нет еще на месте понтонеров, хотя они давно уже должны были прийти. И неизвестно, где они сейчас и что с ними произошло. Сообщение о том, что они вышли, пришло шесть часов назад. А ходу-то всего три с половиной — четыре часа.

Капитан посмотрел на ручные часы с огромным циферблатом и тихим безликим голосом выругался.

— Танки надо расставить теперь в этой роще, под прикрытием деревьев, пореже.

— Пореже, пореже, — заворчал капитан, — а наверняка, теперь здесь людей и орудий — что сельдей в бочке. Куда немец снаряд ни положит, всюду попадание будет! Порядочки! Порядочки!

Танкисты стали разгонять свои танки, расставляя их на опушке. По-

слышался треск ломасых стволов молодой поросли. Моторы приглушенно гудели.

— Вот сюда ставь, — сказал Крапивин водителю одного танка. Тот начал влезать в машину, затем остановился и неожиданно обратился к Крапивину.

— Прошу повторить, как сказали?

— Вот сюда ставь. Что, разве непонятно? — раздраженно повторил Крапивин.

— Да все понятно, разумеется, но я только просил, чтобы голос был расслухаться, Борис Иванович, в темноте лица-то не видать!

Голос водителя тоже показался Крапивину очень, очень знакомым. Как бы это мог быть?

— Гонибес, да ты ли это? — обрадовался он, узнав.

— А то кто ж другой? Конечно, Гонибес! — радостно отозвался водитель. — Вот трактор на танк сменил, как в песне поется... Давненько не видал вас. С Татьяной Андреевной во время войны виделся, на поезд ее подсаживал, а вот с вами не гадал, что в лесу встречу!

И он, пахнувший бензином и табаком, перепачканный тавотом, широко распахнув руки, от всей души обнял Крапивина и с силой прижал его к своей крепкой груди.

«Совсем не изменился Гонибес», — подумал Крапивин. И сразу перед ним встал закрытый со всех сторон высокой глинобитной стеной двор МТС и заползший под мотор, в замасленной, изодранной робе, молодой рослый тракторист.

Он тоже обнял Гонибеса, хотел спросить про Таню, но, вспомнив, что нет ни секунды, что нужно идти к другим машинам, торопливо сказал:

— После поговорим! А сейчас ставь быстро сюда машину.

— Ах, Борис Иванович, — продолжал Гонибес, — вот где довелось встретиться.

Крапивин хотел сказать Гонибесу, что это, наверное, про его Фросю писали в газетах, но тут его чуть не спшиб с ног идущий сзади танк, и пришлось быстро отойти в сторону.

Крапивин указал место второму танку, и пока танкисты ломали ветки, чтобы замаскировать машины, он снова подошел к головному танку.

— Капитан! — позвал он командира.

— Я здесь.

В эту секунду с обеих сторон по рощице, где были спрятаны танки, открыли огонь неприятельские пулеметы.

— Ложитесь! Ползите сюда! — сказал капитан и сам пополз к чернеющей между деревьями тупе танка.

Они легли в снег, закрытые от огня броней танка.

Слышно было, как пощелкивают пули по броне, словно по медному телку.

— Капитан, — повторил Крапивин, — сколько может в час сделать мотоцикл?

— По этой темноте — не больше сорока километров.

— Хватит. Дайте мне мотоцикл с прицепом.

Он хотел вырваться навстречу понтонерам, пайти их и поторопить. Капитан это понял без слов. Но для того чтобы дойти до мотоцикла, требовалось проползти метров пятьдесят через простреливаемое пространство. Надо было

лечь в снег и ползти влово. А это оказалось не так легко, как раньше представлял себе Крапивин.

Он лег плашмя, и сразу же тело его осело в снег на четверть метра. Для того чтобы ползти, нужна была опора, и он хотел упереться руками, но руки погрузились в рыхлый снег, и холодные колкие комки снега набились в рукава.

Тогда, чтобы продвинуться вперед, Крапивин хотел оттолкнуться ногами, но и ноги, не доходя до земли, не получали опоры и только разбрасывали пушистый снег.

Пригивая голову, почти физически ощущая под собой полет повизгивающих пуль, Крапивин полз по снегу, с трудом преодолевая метра три в минуту. Сердце колотилось где-то около горла, и пот крупными каплями проступал на лбу и пробивал теплую фланелевую рубашку. Спина стала липкой от пота, а руки мерзли от тающего снега. И хотя стоял тридцатиградусный мороз, Крапивину было жарко. Он растолкнул ворот.

Наконец он выполз из простреливаемой зоны, шатаясь подошел к мотоциклисту и грузно сел в покачивающуюся на рессорах прицепную коляску.

— Застегните ворот, товарищ старший политрук! — сказал мотоциклист и рванул с места машину.

Холодный, обжигающий ветер ударил в потное лицо Крапивина и сразу охладил его. Он застегнул ворот и весь сжался, стараясь как можно глубже уйти в кабину и прикрыться.

Коляска подбрасывала седока на ухабах, покачивалась, а мимо летели мохнатые, заснеженные до вершины деревья, проскакивали мостики, пробежала окруженная полянами, зияя выбитыми окнами, пустая черная деревня. Над дорогой стояла, высоко сияя, маленькая круглая луна. Крапивину стало все холоднее. Он нетерпеливо вглядывался в темноту, отыскивая в ночном лесу следы понтонов, поставленных на грузовики, хотя отлично знал, что с дороги им не сойти. Потом он вспомнил радостное оживленное лицо Гонибеса. «Неприменно надо расспросить его о Фросе и Татьяне. Только бы он не погиб в этом бою. Ну, нет, — тут же подумал он, — не такой парень Гонибес, чтобы погибнуть!» Но память подсказывала ему имена и лица людей, которые ни в чем не уступали Гонибесу, и все же погибли. Коляска подскочила на ухабе, и он увидел чернеющий на дороге опромный, стоящий без движения прямоугольник, неподалеку от него второй, потом третий. Затем дорога круто сворачивала, шла вниз, и ничего уже нельзя было увидеть.

Крапивин понял, что это были понтоны.

— Сколько мы проехали? — крикнул он, стремясь перекрыть шум ветра и стрекот мотора.

— Двадцать три километра, — прокричал в ответ мотоциклист и затормозил.

— Вы понимаете, что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете? — слегка заикаясь, сказал Крапивин инженеру второго ранга, короткому человеку с большим носом, который он все время потирал, и с мохнатыми, совсем запылевшими бровями.

— Я знаю, что мешаю должно отдать под суд за невыполнение боевого приказа, — жалобно сказал инженер, и потом, вдруг разъярившись, он стал наступать на Крапивина и, повысив голос, закричал. Впрочем и в этом крике слышались жалобные нотки.

— Ну, ладно, — кричал эц, — расстреляйте меня! Я виноват! Но сдвигайте с места поитоны, дайте мне немедленно горючего! Дайте бензин, а застрелиться я и сам успею!

— Почему вы стоите на месте? Какое право вы имеете кричать на меня? — разозлился Крапивин. — А еще батальон на хорошем счету. Откопайте ратели!

Он выругался, и ему сразу стало стыдно оттого, что он погорячился.

— Видите ли, в чем дело, — стал совершенно спокойным голосом, ругая нос, говорить инженер второго ранга, немного приподымаясь на цыпочках. — Мы получили приказ возможно быстрее дойти до реки. У всех машин было горючего километров на сорок — сорок пять. Если заправлять всем сразу на месте, это отняло бы больше часа. Вот я и решил пустить колонну. А тем временем, пока колонна идет, должна была заправиться и стерна и потом полным ходом идти за нами, догнать нас и затем на ходу поочередно и постепенно, наши машины все бы заправились. Так оно и вышло. Я справлялся по телефону. Через тридцать две минуты вслед за нами вышла цистерна. И вот приехали, выжгли все горючее до капли; последние километры на соплях шли и на самолюбии. Теперь стоим. А цистерны нет и нет. И мы — ни вперед, ни назад. Попутная машина проходила, сказала, что цистерну на повороте в ров занесло и что сама она без помощи не вылезет. А это отсюда семнадцать километров... Я послал час назад ту взвод, но ведь раньше чем через два-три часа они не доберутся. Боже мой, боже мой! — сказал инженер второго ранга спокойным голосом, но с этим спокойствием Крапивин услышал тревогу и горе.

— Теперь помогите делу, а потом можете расстрелять, — снова упавшим голосом сказал инженер. — Ну, что же вы молчите? — стал он опять наступать на Крапивина.

— Так, — пробормотал в раздумьи Крапивин, разглядывая мохнатые, измученные брови и ресницы инженера. — Это действительно, застрелить вы всегда успеете, вот горючего вам необходимо достать. Что ж, и достанем, достанем вам горючего, — сказал он решительно и, резко повернувшись, пошел обратно к своему мотоциклу.

И снова пошли мелькать перед ним деревья, мостики, снова подбрасывал его на ухабах, снова резал лицо и забивался в рукава плотный встречный ветер.

Капитан-танкист вместе с Байдалаковым стояли на дороге внизу, у самого берега, откуда начиналась взорванная раньше переправа и теперь строилась новая.

Саперы вплотную, одно к одному, укладывали на льду бревна. Положили дюжину стволов, с которых только что были обрублены ветки, они к бокам крепили их железными скобами, забивая длинные толстые гвозди неокоренные, неразделанные стволы.

Для того чтобы не разредить лес на самом берегу и шумом порубки не демаскировать себя, Байдалаков приказал валить деревья в двухстах метрах от реки.

Весело и спорно подпалывали и валили сосны на снег. Правда, специалист лесоруб нашел бы, что работают они очень расточительно, оставляя слишком высокие пни, откакая слишком низко ветвистые кроны. Нужно было рубить так около семисот бревен и каждое бревно протащить по снегу двести

метров, до переправы. Метров пятьдесят волочить надо было через простреленное место.

Но так как на рубке и разделке леса было занято свыше ста человек, а тащить на себе бревна вызывалось очень много охотников,—и оттого, что хотелось согреться, и оттого, что было обидно в такое время стоять без дела,—то работа подвигалась очень быстро. И когда сквозь капонаду привычное ухо капитана-танкиста услышало стрекот мотоциклетного мотора, было готово уже метров тридцать гати.

Капитан, промерив палкой в прорубленной круглой проруби толщину льда, покачал головой.

— Рисковать машинами я не могу. А вот аккуратно и мотоцикл вернулся, повести насчет понтонов привез,—сказал капитан и, оставив у края переправы Байдалакова, медленно пошел наверх.

— Вот что, товарищ капитан,—решительно сказал Крапивин,—у вас здесь имеется полная цистерна с горючим. Ее немедленно надо отправить назад, к понтонерам. У них машины стоят из-за отсутствия бензина.

— Помилуйте!—возразил капитан.—Горючее это пужло для танков, получаем мы строго по лимиту. Я нарушу приказ наркома, если буду раздавать его налево и направо.

— Так-то это так. Только это даже не напоминает разбазаривания, товарищ капитан. Танки у вас заправлены! И если не подойдут понтоны, они у вас целые сутки будут стоять без дела, и вы нарушите боевой приказ.

— Не по нашей вине! Я хоть сейчас готов в бой.

— Вы не можете перейти без понтонов, а они не смогут прийти скоро, если вы не дадите им горючего. Заимообразно. Они вам отдадут. А если не хотите этого сделать так, я прикажу вам сделать это от имени командующего.

Крапивин опять начал заикаться.

— Письменный приказ?—спросил капитан.

— Письменный, если хотите.

— Ничего я не хочу,—сказал капитан.—Одного я хочу сейчас — поскорее в дело. И если вы честным словом гарантируете, что заимообразно,—тогда больше мне ничего и не надо.

И капитан отдал распоряжение отправить автомобиль-цистерну к понтонерам.

— Только нельзя рассчитывать, что она дойдет раньше, чем через час!—сказал он Крапивину.

Крапивин погрузился в расчеты: цистерна дойдет к понтонерам за час, минут двадцать — заправка, час сюда ходу,—таким образом первый понтон придет и можно будет начать работу по наведению моста не раньше чем через два с половиной часа.

Крапивин раздвинул полы шинели и вытащил из маленького кармашка ватных брюк часы. Стрелки показывали десять часов. Увлеченный делами сегодняшней ночи, он забыл завести часы.

— Кто скажет сколько времени?—обратился он к группе танкистов.

— С великим удовольствием,—отозвался бас Гогибеса,—для вас, Борис Иванович, я даже с секундами сказать могу. Сейчас по московскому вре-

мени — чуте, по московскому — три часа, двадцать семь минут, сорок п секунда.

— Спасибо, товарищ Гонимос!

«Значит,— думал Крапивин,— начнется наводка моста не раньше шес утра. Раньше чем за три-четыре часа этого не сделаешь, а в девять тридц назначен час общего штурма. Чорт побери, что же делать, что же делат И, быстро пробежав по дороте простреливаемое место, задыхаясь, обгон бойцов, идущих с бревнами на плечах, Крапивин стал спускаться к переправ где с подполковником-артиллеристом и старшим лейтенантом Глебовым сто Байдалаков.

— Ну, как дела с понтонами?— спросил Байдалаков.

— Плохо, Алексей, раньше чем через два с половиной часа не подойду Байдалаков задумался, мысленно производя подсчет.

— Та-а-а,— протянул он,— что же делать? Мы должны принять на с бя и решение и ответственность.

— Но-моему,— совсем тихим толом, но уверенно сказал Крапивин,— таком случае мы должны пойти на штурм без танков. Товарищ Глебов, т варищ подполковник, я полагаю, что вы поддержите такое решение?

— Я не могу поддерживать или не поддерживать решения, молодой ч ловек,— сказал, раздражаясь, подполковник.— Я должен выполнять прик записи. По если вы спрашиваете мое мнение, то оно такое: я могу перестави свои орудия на тот берег по этим бревнам, могу сопровождать пехоту огне Буду бить прямой наводкой; а если уничтожат орудия, прислуга пойдет в шти ки; если же прислуга будет убита, то расчеты орудийные у меня подготовлен на основе взаимозаменяемости. Я приучал своих людей и приучен сам приказ выполнять!

— Без танков, так без танков,— сказал Глебов,— а дело свое мы буди делать!

— Тогда пехота пусть сейчас же начнет переход по льду, а вы, тов рищ подполковник, дайте приказ, чтобы через час первая пушка вышла и переправу.

Подполковник приложил руку к козырьку и пошел к своим орудиям.

На лед вступили шагающие врассыпную, но организованно, бойцы подра деления старшего лейтенанта Глебова.

В лунном свете кверху поднималось мелкими расходящимися струйкам дыхание сотен людей, и тень от этого светлого дыхания темнела на белесе поскрипывающем под валенками снегу.

Проходящие справа от гати бойцы с интересом смотрели на сооружаему переправу.

— Это для танков!— сказал один.

— Как же, держи карман шире! Танки теперь наши все под Москво столицу держат... Знаешь, говорят, все в ряд кольцом стали, без единого ша пропуска, и все палат. Одно слово — бронированная стена! И нет прохода, Москве!

Когда хвост пехотной колонны уже заканчивал переправу, немцы о крыли сильный пулеметный огонь по луке, по лесу, где теперь оставали лишь орудия и танки. Крапивин услышал, как с противным свистом, стои и взвизгиванием провесились над головой и с треском лошнули в лесу и менские мины.



«Хорошо, что пехота ушла оттуда!» — подумал он и увидел, как по склону, по дороге, съезжает упряжка первого орудия.

На льду, около его ног, саперы кончали забивать гвозди в отверстия последней скобы. Переправа была наведена.

Понукаемые ездовыми, упираясь всеми четырьмя копытами и все же скользя, лошади потащили орудия вниз к переправе.

Совсем близко позади разорвалась мина.

«Нащупали, сволочи!» — с досадой подумал Крапивин. Первая упряжка въехала на гать. Подковы ударили о бревна, колеса загрохотали по настилу. Наверху, на скате, показалась вторая упряжка.

Ездовые хлестали лошадей. Лошади тянули орудия, осторожно переступая погами по бревнам, видимо, боясь попасть ногой в расщелину.

— Тротай, тротай, милая! Выноси! — шептал один ездовой, наклоняясь к уху кобылы и соскочив с седла, и повел ее вперед, обесими руками держа повод. И вдруг под самой мордой лошади с треском разорвалась мина. Лошадь рухнула передними копытами на колени и захрипела.

— Милая моя, выноси! — воскликнул ездовой и упал рядом.

Широко дыша, вбирая и выпуская бока, кобыла скашивала набок задние ноги, рядом бились, перепутав построжки, другие лошади.

Крапивин подскочил к орудью.

— Цело?

— Цело, — ответил наводчик.

— Поломана нога у коренной, — сказал второй номер и одной рукой стал вытаскивать индивидуальный пакет.

— Что у тебя? — спросил строго Крапивин.

— Кажись, кисть прострелило, — ответил второй номер.

— Иди в тыл, на пункт.

— Охота атаку поглядеть, — отозвался боец и подставил руку подбежавшему санитару.

— Выпрягай лошадей, — командовал подполковник, — выпрягай!

Несколько бойцов-артиллеристов бросались выполнять его приказание.

Они работали быстро и ловко, но Крапивину казалось, что они почему-то медлят.

Лошади неестественно раздували бока, пар густою волной шел из их раскрытых ртов, мяткие губы обвисли. Из широко открытых глаз сыпались слезы. Каждая шерстинка на животах у них заиндевала и завивалась отдельно от другой.

Бойцы убрали лошадей с гати. Подполковник подошел к кобыле, у которой была сломана нога, сунул ей в ухо пистолет и выстрелил. Кобыла мотнула головой и затихла.

— А теперь, товарищи, на руках, на руках выкатим! — сказал подполковник бойцам, взявшимся за спицы колес. — Только без шума, без «ух-нем», — добавил он, когда один из бойцов громко произнес: «А пу, раз!»

Орудие сдвинулось с места и загрохотало колесами по бревнам настила.

Рядом с настилом ухнула вторая мина. Она пробила лед. Люди продолжали работать, как будто ничего не случилось. Ухнула третья мина, и один боец отшвырнул колесо и, схватившись руками за грудь, сел на край бревна.

Первое орудие уже подкатывалось к противоположному берегу.

Вторая упряжка выезжала на переправу. Третья появилась наверху, на склоне.

Крапивин хотел подойти к раненому бойцу, который сидел на бревнах безвольно покачивался взад и вперед, но не успел он сделать и двух шагов, как что-то блеснуло перед его глазами, он услышал словно шепотом произнесенную команду: «Выпрямляй лошадей!» и затем будто полотенцем всего размаху хлопнуло его по уху, по глазам, по груди. Отброшенный два шага в сторону, он упал в снег.

«Умираю»,— подумал он, ощущая кожей лица холод льда.

Но Крапивин не умер, он не был даже ранен, а только контужен. Прошло немного времени, и он пришел в себя. Он увидел посередине реки, гати, орудие, которое на руках продвигали артиллеристы. Увидел орудие скате и другое у противоположного берега. Крапивин подумал, что прошло всего минута с того мгновенья, как он упал. На самом же деле, если бы подсчитал число воронок на льду или знал, что через реку передвигалось последнее орудие, то понял бы, что прошло гораздо больше времени.

Он ощущал себя. Крови не было. И нигде он не чувствовал боли, но тело пыло, как после сильных побоев. И почему-то Крапивину казалось, что канонада происходит где-то очень-очень далеко. Он потрогал ухо, оно было холодное.

«Так,— подумал он,— отморозил уши».

Это была правда, как правдой было и то, что он оглох на левое ухо. Хлопнула барабанная перепонка. Но Крапивин еще не знал этого. Он встал шатаясь, пошел вперед.

— Куда ты запропастился?— спросил его Байдалаков, встретив навстречу. Он хлопотал около «Т-26».

— Что ты шепчешь? Говори громче!— сказал ему Крапивин.

Байдалаков удивленно посмотрел на товарища. «Нашел время острить», подумал он и сказал капитану: — Попробуем...»

Уже занимался над лесом серовато-розовый рассвет, и люди, и машины и деревья в этом неясном молочном свете стали виднее.

Байдалаков еще раз взглянул на Крапивина. «Боже мой, как устал!», подумал он.

Щиток перед лицом водителя приподнялся. На Крапивина взглянул из бразуры Гонимбес, дружески кивнул ему и включил мотор.

Танк, неуклюже повернувшись на одной гусенице, заскользил вниз по дороге, оставляя глубоко врезанные следы в снегу. Внизу он выровнялся, взмох на бревенчатый настил. Гусеницы его заскрежетали, и, угрожающе урча и фыркая, он медленно пошел, выворачивая гусеницами бревна, которые при этом срывали железные скобы, вытаскивая гвозди из их гнезд. Танк прошел по гати, но на подъеме застрял и, несмотря на все старания водителя, не мог стронуться ни на метр. Он только закрыл дорогу, и самочки мин остановились позади. Возчик в недоумении разводил руками. Он попробовал было объехать стороной, но, сойдя с дороги, лошадь погрузилась в снег по самое брюхо.

— Нет, с танками без понтонов ничего не выйдет,— сказал Байдалаков, и капитан печально подтвердил:

— Ведь я же вам говорил!

— Борис, тебе следует, по-моему, поехать и доложить в штабе, что артиллерия и похота переведены и будут интурмовать в назначенный приказом

Крапивин слышал то, что сказал Байдалаков, потому что тот стоял в шаге от него.

— Нет, это ты поедешь доложить, я хочу остаться здесь и принять участие в атаке!

— Не будем спорить, — сказал Байдалаков и вытащил из кармана полушубка спичечный коробок.

Достав две спички, он у одной обломал головку и зажал спичку в кулак.

— Тащи! Если вытащишь с головкой, едешь ты, если сломанную — я.

— Алексей, ты слишком отдаешься на волю слепого случая, нужно трезво решить — кому, — сказал Крапивин, но тем не менее взялся тащить жребий, потому что видел, как расположил спички Байдалаков.

Но тот оказался хитрее, чем думал Крапивин. В последнюю секунду быстро переменял положение спичек. Крапивин вытащил спичку с обломанной головкой.

— Придется ехать!

Он недовольно пожал плечами, почувствовал при этом боль и пошел по дороге к грузовику, запрятанному в чаще.

— Гони почем зря, — приказал он шоферу, — может, успеем к началу вернуться!

Сидя в кабине, Крапивин задремал. Изредка на ухабах, когда его подбрасывало на холодном клеенчатом сиденье, он открывал глаза, смотрел по сторонам, видел заиндевшие деревья, и тогда ему казалось, что едет он так часы, дни, недели. И все же, когда грузовик остановился около здания штаба опергруппы и Крапивин, открыв глаза, увидел знакомый дом в Бору, сон мгновенно отлетел от него, и ему показалось даже странным, как быстро он приехал. И только когда он захотел взбежать на лесенку крыльца, ноги его запыли, и он вспомнил о своей контузии.

В комнате телефонист попрежнему повторял: «Одесса, Одесса!», попрежнему стояли около кипящего самовара чашки, — и Крапивин вдруг ощутил себя в глубочайшем тылу, в уютнейшем и безопаснейшем в мире местечке. То, что время от времени дребезжали стекла, сотрясаясь от pedalных разрывов неприятельских снарядов и от работы нашей артиллерии, проходило мимо его сознания. Оставалось только ощущение, что здесь тыл, безопасно, спокойно, тепло и уютно. А командир в хрустящих новеньких ремнях, который прибыл с поручением из штаба армии и был отнюдь не из трусливой породы, невольно вздрагивал от каждого оружейного выстрела, и ему казалось, что прибыл он на передовые позиции. Так относительно чувство тыла.

Из второй комнаты, застегивая на ходу шинель, вышел взволнованный Степняк.

— Не видел Волкова? — спросил он тревожно. — Должен был уже три часа назад быть у меня и пропал. Не знаю, где, не знаю, что с ним? Чарепы горячий, не полез бы зря на рожон!

Вслед за Степняком вошел Суслов, что-то говоривший Свирскому. Он был раздражен, особенно в последние дни, получая выговор за выговором от командующего. Разговаривая теперь со Свирским, он спорил по существу с командующим.

— Ну что, как дела? — резко спросил он у Крапивина.

— Артиллерия и пехота переведены на другой берег и к удару в назначенный час готовы. Танки перевезти не удалось.

— Как?! — закричал Суслов. — Вы не перевели танки и осмеливаетесь жаловаться ко мне с допесенем! Да я вас немедленно расстреляю за срыв штурма, за неисполнение приказа!

— Товарищ генерал! — поблдепнев, сказал Крапивин. — Я за каждый свой отвечаю и могу ответить и перед трибуналом и перед нашей партией. Но, прошу вас, выслушайте обстоятельства дела, а потом принимайте решение.

— Никаких оправданий в невыполнении приказа быть не может!

— Я не оправдываюсь, — сказал Крапивин. — У него возникли и поплыли цветные круги перед глазами, но он пересилил себя и, стараясь не вникать, продолжал: — Не пришел понтонный батальон, а мы тем не менее перевели без моста не только пехоту, но и все до одного орудия. Я прошу вас, если даже вы меня отдадите под суд, представить артиллеристов награде...

— Одесса! — громко протворил связист и торжественным голосом провозгласил: — Товарищ генерал-майор, вас к телефону просит командующий Суслов, оставив Крапивина, метнулся к трубке.

Оттуда в треске электрических разрядов раздавался громкий голос.

— Ладно, ладно, — упавшим голосом ответил Суслов и, вручив трубку связисту, обратился к Свирскому.

— Командующий отзывает меня в свое распоряжение. Приказано немедленно сдать командование опергруппой вам. Боевой приказ без изменений! Суслов, прищелкнув каблук, повернулся и вышел во вторую комнату.

— Мы с Байдалаковым решили идти на штурм даже без танков, — сказал Крапивин.

— Правильно, — одобрил Свирский, — тем более, что заказ авиации давалось бы трудно его отменять, к тому же это час атаки во всех пунктах.

Потом он взглянул на Крапивина, опустился на скамейку, и с таким официальным голосом произнес:

— Товарищ старший политрук Крапивин, от лица службы объявляю благодарность!

Крапивин не расслышал всех его слов, потому что Свирский находил слова от него, а переспрашивать было неудобно.

— Разрешите вернуться обратно, я хотел бы принять участие в деле, — сказал Крапивин, выходя из штаба вслед за Свирским, — еще, кажется, можно успеть!

— Едем! — спокойно ответил Свирский. Из вас бы хороший командир вышел, товарищ, Крапивин, — добавил он, усевшись рядом с шофером.

Крапивин отвалился назад и, как только тронулась машина, заснул.

В это время понтонеры под сильным минометным и навесным артиллерийским огнем вырубали на реке лед и ставили уже второй понтон. Их время торопили танкисты, хотя те работали так, что не нуждались в подкачки.

Над лесами шла вызванная Свирским авиация, пушки подполковника подтягивались к переднему краю, и бойцы старшего лейтенанта Глебова накатывались для атаки.

А саперный батальон Соколенко, слева, на дороге, ведущей к Энску, начинал свою знаменитую атаку против немецких танков. И над землей встало морозное, солнечное зимнее утро.

## БЕССМЕРТИЕ

Соколенко, касаясь шинелью песчаной стенки, вышел из землянки и, прильнув к сосне, на которой был прибит весь обледеневший сильный жестяной умывальник, разорвал пополам письмо. Затем, мельком взглянув на почерк, продолжал рвать письмо на все более и более мелкие кусочки. Он всегда разрывал получаемые на фронте письма, чтобы, если его убьют, кто-нибудь повсем равнодушно, а то и неприязненно к нему относящийся, не стал перечислять эти важные для него и полные значения строки. Сегодня он разрывал письма, полученные вчера от Тоси, чувствуя, что прощается со своим прошлым, в котором теперь вдруг увидел очень много хорошего, и ему было жалко этого прошлого, хотя мысли о будущем с Анной рисовали ему одно только счастье; и еще ему было жалко Тосю, которая любит его, ждет и скоро получит от него такой неожиданный, незаслуженный удар... Он видел, как она перечтет, задышавшись, его письмо, и даже если никого кругом нет, она удержит слезы и только вечером, лежа в постели, уткнувшись в подушку, будет долго беззвучно рыдать. Он видел ее утомленное мукой лицо, и сердце его сжималось от сострадания; и тем больше ранили его ее нежные, любовные слова, вырванные в почти деловой отчет письма о том, как чувствуют себя детишки, что говорят, просыпаясь по утрам, как шутят, как помнят его и просят, чтобы поскорее он разбил врагов и вернулся домой. Но он чувствовал, что поступает правильно, что иначе не может. И еще он чувствовал себя в ту минуту, когда получил и прочитал тосины письма, страшно одиноким, потому что до сих пор всякой волнующей и тревожащей его мыслью, всяким горьким своим переживанием он делился с Анной, и она почти всегда находила, чем его успокоить или утешить. Но сейчас его горем были мысли о тосином страдании, и меньше всего Анна могла бы утешить его. Он ведь даже не мог ей об этом сказать! Не мог обратиться за поддержкой, зная, что ей трудно будет понять его переживания и, не поняв их по-настоящему, она, вероятно, обидится.

Не желая, чтобы Анна подумала, что он от нее что-то скрывает, Соколенко надорвал конверт и медленно прочитал все четыре страницы письма, написанные точным и круглым, почти мужским почерком.

Это было вчера вечером, в домике санслужбы на хуторе. Опять на столе стояли три миски. Выдоравливающий Кошкин, отужинав здесь последний раз, только что уехал в штаб армии. На той машине, которая его увозила, прибыли эти письма.

Когда нужно было уходить из палаты, Соколенко подошел к Анне и взял ее за руку.

— Я так счастлив, — сказал он, — когда думаю о том, как мы будем жить, как нам будет хорошо...

— И весело, — встала Анна.

— И весело! — подхватил Соколенко. — И я просто не нахожу слов, чтобы объяснить тебе все это.

— Прокофий, — шутит совсем серьезно сказала Анна, — знаешь, чего мне больше всего хочется, когда я думаю о том, как мы будем жить? Чтобы ты подружился с Натанкой. Впрочем, если ты появишься перед нею в военной форме, половина дела сделана.

— Я ей свой финский нож подарю! — с готовностью сказал Соколенко.

Анна испуганно посмотрела на него, и оба засмеялись.

Провожая его на крыльцо, Анна сказала:

— На всем свете мне нужен только ты один. Я люблю тебя и поэтому с кем не могу быть. Вот, иди, мой дорогой!

Уже потом, лежа на хвое в своей землянке, он повторял себе все, что ворила Анна, и очень жалел, что вчера на крыльце от смущения он не сказал что и ему, кроме нее, ни одной женщины на свете не надо.

Проснувшись в землянке, он почувствовал, что продрог, и по создавшейся уже привычке немного подвинулся, чтобы спиной ощутить тепло спящего, варища. Но рядом никого не было. Он оглядел землянку и вспомнил с сожалением, как было тесно в этой землянке, когда она была только выкопана. Теперь народу поредело, но с какой охотой отказались бы все от этого прощра, предпочтя ему недавнюю тесноту. Соколенко подбросил на ходу в от несколько веток и вышел на воздух.

Стоял зимний рассвет.

В 9.30 надо было перейти в наступление. Как предусматривалось боевым приказом, батальон должен был пройти пять километров и занять развилок дорог; одна из них вела в деревню Лазарево, которую атаковал Глебов. Сапсы на развилке должны были отрезать немцам путь отхода. И вот сейчас, пс тем как поднять свой отряд, с приданной ему ротой БАО и минометчиками Соколенко стоял около своей землянки и рвал на мелкие клочки письма Тс

Затем он обшарил карманы, чтобы избавиться от лишнего.

В кармане гимнастерки нащупал партийный билет.

«Все в порядке», — подумал он, проверил, заряжен ли маузер, и, прилаг его к ложу деревянной коробки, решил так и оставить. За этим занятием стаа его Столетов. Коренастый, с квадратными плечами, еще более увеченными полушубком, он шел, неуклюже переступая через провод связи, и ший к землянке.

Увидев Соколенко, он обрадованно улыбнулся.

— Сам от хутора иду, — сказал он, — чуть не заблудился. По пров к вам и вышел.

— Рад вас видеть, товарищ Столетов, — сказал Соколенко, — но, к солению, сейчас ни я, и никто из нашего батальона не сможет с вами разгивать, — мы идем в бой. Так что придется подождать до вечера, пока почите материал для газеты.

Столетов, сбивая веткой снег с валенка, возразил:

— Ну нет, если я нахожусь в части в тот момент, когда она идет в а ку, я не могу ждть; я пойду с вами.

— Ладно, — согласился Соколенко, — идите, только не зарывайтесь: нужды вперед.

И они пошли мимо снежных окопов минометной батареи.

Минометчик опускал мину в круглое зияющее жерло и быстро отдергиву руку. Раздавался негромкий взрыв. Если в этот момент посмотреть прямо вв можно было простым глазом увидеть черную, устремляющуюся в небо тоа. Это и была мина. Громко и близко работали пулеметы. «Словно в клепалы пеху — треск пневматической клепки перемежается с простой, — так и зл пулеметная стрельба с ружейной», — подумал Столетов.

— Здесь, — сказал Соколенко и соскочил в невысокий снеговой окоп. Связной Галактионов стоял тут же. Телефонист тянул сюда аппарат из

лянки. Симаков, Комодин, два незнакомых Столетову лейтенанта, старший лейтенант Арутюнов — командир минометчиков, тоже был в окопе. Симаков заменил сейчас Кошкина. Он посмотрел на часы и сказал:

— Ну, можно начать! Идите к себе, товарищи. Я рассчитываю, что не поведем, не осраимся. А?

Начался огневой минометный налет на район, занимаемый противником.

— Да, товарищ Соколенко, — вспомнил вдруг Столетов, — военврач Коростелева хотела со мной передать вам какую-то записочку, но потом захолопталась, у меня не было времени ждать, и я пошел. Но... что это?

Столетов увидел, как Симаков выпрыгнул из окопа и громко закричал:

— Вперед! За родину! За Сталина!

И тут из-за кустов, из окопчиков выскочили люди и, держа наперевес винтовки, побежали вперед, проваливаясь в снег.

Они останавливались и стреляли, потом, выбросив пустую гильзу, снова продолжали движение вперед.

Соколенко оставался в окопе рядом со Столетовым, но не слушал его и только смотрел вперед на Шевелева с черным диском дегтяревского пулемета, на Галактионова, не отходившего ни на шаг от Симакова, на Гасана Исмаилова.

\*\*\*

Анна, прокипятив все инструменты, поставив на примус котелок с кипятком для дезинфекции и разложив на столе биты и вату, хотела написать несколько ласковых, подбадривающих слов Прокофию. Но пока она разыскивала затерявшийся в спешке карандаш, дверь скрипнула, и вошедшая девушка. военфельдшер второго ранга, сказала:

— Первого раненого доставили!

Анна взглянула на черный циферблат больших автомобильных часов. Белые стрелки и четко отмеченные белые цифры показывали половину десятого.

— Рано что-то, — промолвила Анна и, быстро накинув белый халат, встала. Она оказалась права — это был не сапер, а боец из другой части, и оставили его сюда не санитары, а женщина лет сорока, повязанная большим шерстяным платком; концы его перекрещивались на груди и были завязаны узлом выше пояса. Круглое русское северное, немного скуластое лицо, с добрыми серыми глазами от утомления казалось старше ее лет.

Она вела бойца, прихрамывавшего на каждом шагу и опиравшегося всей тяжестью на ее плечо, другою рукою он сжимал винтовку.

Галанов, проверявший на морозе карбюратор, махнул женщине рукой.

— Привет, товарищ Степанова, снова встретились с вами!

Степанова ласково кивнула ему. Ей и в самом деле приятно было снова увидеть людей в родной красноармейской форме.

После двухнедельной командировки в оккупированную немцами часть района она возвращалась домой. Перебираясь через поваленное дерево, она вдруг увидела бойца, сидевшего на снегу и притулившегося спиной к стволу. Он засыпал. Она растолкала его.

Это был разведчик, раненный в бедро. Он потерял много крови и, пробиравшись обратно, ослабел и присел у дерева. От слабости и утомления на него падала дремота и, одолеваемый ею, он наверняка бы замерз, если бы на него не набрела Степанова.

Она подняла его, заставила встать и медленно, от дерева к дереву, в несколько масов.

Сначала он принял ее появление как должное, но, очнувшись, стал размышлять и удивился, что его ведет штатская, вольная женщина.

— Откуда вы, гражданка?— спросил он.

— Я ведь тебя не спрашиваю, голубчик,— улыбнулась Степанова, полагая бойцу перейти через ложбинку.

— А ну как шпионка?— усомнился он.

— Ну ладно, доведу тебя до части, а там проверишь меня...

Когда Галанов окликнул Степанову, боец почувствовал себя успокоенным. Анна не заинтересовалась сначала Степановой, обратив все свое внимание на доставленного ею пациента.

Она смазала обезводненным вазелином обмороженные пальцы, щеки и нос бойца, затем ловко ножницами разрешила штанину и занялась раной.

— Рана легкая, крови только потеряно много. Придется подождать часа два: тогда вместе с ранеными, которых я ожидаю, отправлю вас в тыл; и вы теперь лежите, отдохните.

Она показала на носилки, тесно уставленные на наśnieженном полу комнаты, затем перевела взгляд на Степанову, присевшую отдохнуть на табурет.

Взглянув на ее лицо, Анна почему-то безошибочно прочитала в нем доброту, и честность, и трудолюбие, и упрямство.

— Голубушка, не можете ли вы нам?— спросила Анна.

Степанова вздрогнула, вопрос Анны прервал ее размышления о том, как она будет рассказывать на бюро о своей командировке. Ну, что же! Она рассказала про доклад товарища Сталина колхозникам восьми деревень... Только в двух деревнях осталось население, и там можно было разговаривать с людьми в избах. Остальных, забившихся в землянках, нужно было отыскивать в лесу, по тропам, с лыноволосым мальчишкой-поводырем, который очень быстро изучил все расположение вновь открытых землянок.

— Я здесь по лесам все знаю, тут колхозных коров заблудившихся сколько отыскивал,— объяснял он ей.

— Голубушка,— продолжала Анна,— пол у нас грязный, помогите нам его вымыть.

— Это можно!— отозвалась Степанова.

Она нетерпеливо развязала узел платка, сняла его, бережно сложила на табурете, взяла ведро из кухоньки, достала половую тряпку и принялась мыть досчатый, некрашеный пол.

Анне почему-то хотелось говорить с ней просто и обо всем, как в детстве говорила она с няней. Но как начать?

— Голубушка,— снова сказала она, хотя Степанова почти вдвое была старше ее.— Голубушка, у вас есть дети?

— Ваня, сын мой, школу лейтенантов окончил в Ленинграде; Лиза, младшая, десятилетку прошла, теперь она в Вологде, в учительском институте.

Степанова выпрямилась и стала выжимать мокрую половую тряпку.

— А где ваши?— спросила она.

— У меня одна только дочурка, она в тылу, далеко... А муж ваш где?

— Утонул в тридцатом году... А с тех пор, знаете, милая, я детей почти мала... Хороший человек был,— он меня в колхоз, в партию втянул. Одно душой жили.



«Вот и у нас с Прокофием так же будет», — подумала Анна и вся как-то внутренне просияла.

— Если бы только Степа мог увидеть, какие люди на селе выросли, как они слушали мой рассказ про речь товарища Сталина, как уходили в партизаны, как решали для Ленинграда половину того, что у самих осталось, отдать! Как бы он радовался, на них глядя!.. Да и меня похвалил бы, пожалуй, — сказала Степанова.

Анна с удивлением взглянула на нее.

— Ведь поймите, товарищ доктор, если всех нас речь товарища Сталина здесь подняла, то как же пужна она была тем, кто там под немцем томится! Помните, какие слова: «Смерть немецким оккупантам!»

В эту минуту Гасан Исмаилов доставил первых трех раненных во время атаки.

— Вот, получай, Анна Петровна, — сказал он, — а я обратно, за другими.

— Как там дела? — спросила Анна.

— Все в порядке, — весело сказал Гасан. — Все в порядке, немцев из окопов выбили! Они бегут, наши преследуют! Отличные дела — и командир и комиссар довольны!

И действительно, можно было быть довольным. После первой же атаки немцы оставили свои окопы и стали быстро отходить назад к развилке. Около двух километров продолжали преследовать врага саперы. Потом, когда немцам удалось оторваться от преследующих, Симаков остановил бойцов. Он решил с основной частью пойти через лес, с тем чтобы обойти немцев, выйти им с тыла на дорогу. Соколенко же должен был оставаться на месте с группой бойцов — заслоном, а в случае необходимости вести бой и, держа оборону, не пропускать противника, ежели бы он вздумал собрать силы и перейти в контратаку.

★ ★ ★

Соколенко лежал в снегу и смотрел на дорогу, вслушиваясь в неясный еще гул моторов. Через минуту не оставалось никаких сомнений, что это были танки и они приближались.

Гасан Исмаилов в нескольких шагах от Соколенко наклонился над раненым бойцом. Он уговаривал раненого, чтобы тот обхватил его шею.

— Дай, я тебя снесу! — говорил он.

Но боец отмахивался.

— Перевязал меня, — и спасибо, и ладно, иди других спасай, а я еще пострелять могу, в сознании нахожусь.

— Но ведь у тебя оторвана ступня, — сказал Гасан.

— Я лежа стрелять могу, приходи часа через два, а сейчас другими людьми займись!

Справа от него на подстеленной плащ-палатке стонал другой раненный и время от времени жалобным плачущим голосом возглашал:

— Ой! Зачем я здесь лежу! Ой, зачем я здесь лежу...

Лицо его было желто от боли. Зубы стучали, не попадая друг на друга... Иногда вместо слова «ой» он матерился, жалобно повторяя:

— Зачем я здесь лежу!

Пуля пробила у раненого мочевой пузырь, каждое движение причиняло ему невыносимую боль. Гасан поджидал санитаров, чтобы вдвоем на плащ-па-

латке, как на носилках, осторожно перенести раненого к тому месту, к можно подвезти санитарную машину. Он подошел к раненому и хотел в его винтовку, но тот схватился рукой за ложу и строго сказал:

— Не трожь, я живой еще!

Рядом с Соколенко лежал Галактионов. Шевелев кончал набивать тронами диск. Столетов дышал на свои пальцы, отогревая их.

Соколенко внимательно оглядел своих бойцов, гранаты были уже израсходованы, только одна, у пояса Столетова, была цела. Бутылок с воспламеняющейся жидкостью совсем не получали потому, что на этом участке никто не ждал неприятельских танков.

А теперь из-за леса слышно было, как они приближаются. Надо было что бы то ни стало остановить их.

«А что у меня есть? — с тоской подумал Соколенко. — Ручные пулеметы — как горох об стенку! А если танки проскочат, то мы не выполним приказ; да что приказ, — они смогут зайти во фланг атакующим нашим подразделениям...»

И он еще раз огляделся. Бойцы лежали, готовые по первой команде открыть стрельбу, идти в атаку.

«Они даже не представляют, что им сейчас предстоит», — подумал Соколенко и сказал:

— Передайте по цепи, что приближаются фашистские танки, пусть будут готовы!

«Надо остановить, — мучительно думал он. — Как? А вот...»

И он что-то сказал Галактионову так, что мог слышать только тот.

Галактионов весело улыбнулся.

— Понимаю, реквизиит! Бутафория! — и он оглянулся внимательно взглядом, отыскивая какой-то предмет.

Затем, спяв с себя мешок, вытащил две пачки печенья «Ленч» и, держа их в руках, осторожно вышел на дорогу.

Маленькой шанцевой лопаткой он быстро выкопал прямоугольные ямки, как роются для мин, положил в каждую по пачке печенья, вытащил пачки вколотую в нее иглоку, обмотанную толстой черной ниткой, раскрутил и протянул ее от этой ложной мины к краю дороги.

Все это он делал быстро, ловко, словно показывая друзьям на вечеринке замысловатый фокус: Во-время мать посылочку прислала!

Едва только он успел все это проделать и уйти с дороги в лес, нарочито оставляя следы поглубже, как из-за поворота показался первый немецкий танк.

Он был небольшой, с не сильной броней, но все равно без крупнокалиберного пулемета или противотанкового ружья его нельзя было взять.

«Вот и он», — подумал Соколенко, глядя на танк.

За этим вышел второй, третий. Танки шли медленно, опасаясь мин на дороге, и слышно было, что позади идут еще скрежещущие металлом гусеничные машины.

Соколенко видел, как медленно по зубцам перекачивались траки гусениц первого танка, видел черную свастику на белом круге башни.

«Отличная мишень, — подумал он, — да стрелять нечем».

Передний танк дошел до сооружения Галактионова и остановился. Затем медленно приподнялась верхняя круглая крышка люка, и оттуда на руле выжился немецкий танкист. Он ловко перебросил свои ноги через край башни

и, не касаясь гусениц, соскочил на снег дороги и стал растирать ладонями уши. За ним таким же манером выскочил из машины второй танкист и стал рядом. Оба они были статные, румяные и молодые.

«Вот они какие», — подумал Соколенко, наблюдая и навсегда запоминая каждое движение этих молодчиков.

Они подошли к снеговым бугоркам, оставленным на дороге Галактионовым, и, нагнувшись, стали рассматривать ниточку.

Танки позани тоже стали останавливаться.

— Хальт! — вдруг громко крикнул первый немец и высоко поднял руку.

— Огонь! — скомандовал Соколенко и сам, поймав на мушку маузера второго немца, с чувством огромного облегчения нажал на спусковой крючок и выстрелил.

Шевелев бил из своего пулемета. Галактионов из полуавтомата, из всех кустов раздавались выстрелы. Оба немца рухнули на землю.

Решившись подняться. Он хотел сделать то же, что и в бою у хутора, но крышка люка первой машины с треском захлопнулась. Однако ее пулемет и пушка теперь были безвредны. Мотор яростно гудел, но водитель боялся поехать вперед, чтобы не взорваться на положенной на дорогу мине.

— Бей по цели! — крикнул Соколенко Шевелеву, и сам стал целиться.

Весь лес, казалось, был поднят бешеной стрельбой. Столетов сунул капсюль в гранату и расконтрил предохранитель.

Танки вели непрерывный огонь по лесу, по кустам из всех своих пулеметов, били из всех орудий.

И Соколенко, и Столяров, и Галактионов, и все, кто только был в лесу, лежали, прижавшись всем телом к снегу.

Бить по танкам можно было только прицельной стрельбой в смотровое отверстие. Но целиться было трудно так же, как и сохранять в такие минуты присутствие духа. В эти минуты непрерывной, неприцельной, беспорядочной стрельбы фашистских танков весь лес казался сплошным выстрелом.

«Да ведь это похоже на огневую панику», — подумал Соколенко и увидел, как молчаливый первый танк стал медленно поворачиваться.

«Вот он как!» — подумал Соколенко, мысль его лихорадочно работала все эти мгновения. Он все отлично видел, все отлично соображал. Пусть он станет поперек, и тогда ни один танк не пройдет.

— Ой, зачем я здесь лежу, — вдруг снова услышал он жалобный возглас раненого. И совсем рядом послышалось какое-то хлюпанье, похожее на кашель. Соколенко оглянулся. Шевелев лежал, уронив голову на выроненную сталь парезного ствола пулемета. Череп его был пробит немецкой пулей, в отверстие входил холодный воздух — и вот он-то и производил этот странный хлюпающий звук. Сбитая с головы изрешеченная пулями шапка Шевелева лежала тут же у руки, сжимающей ствол пулемета.

И Соколенко на мгновение представил себя лежащим на снегу, как Шевелев, и вдруг с какой-то непостижимой ясностью увидел, как дома, узнав о его смерти, будут стоять друг против друга сын и дочурка и плакать горячими детскими слезами, растирая кулачками глазенки, шмыгая носом... И когда он представил себе эту картину, ему вдруг стало очень жалко своих детей, но он сразу оборвал себя:

«Если жалеешь по-настоящему, останови танки! Сделаем так! Захватим первый, прогоним другие, надо учитывать и психический момент».

Он привстал и голосом, которого сам не узнал, крикнул:

— Товарищи, вперед, за мной, за детей наших, за Сталина, ура!

Он побежал по дороге. Отовсюду, послушные командирскому призыву, поднялись со своих мест саперы и бросились в атаку на неприятельские танки.

Они шли на семь неприятельских танков, вооруженные одними винтовками с плотно прижатыми штыками.

И перед этой броней, перед этой оружейной и пулеметной стрельбой были как бы безоружны и все же, не думая об опасности, подымались и жали вперед к неприятельским бронированным, плюющим раскаленным таллом чудовищам... Падали, подымались и, выкрикивая непонятные звуки, снова бежали к танкам. Иные из упавших больше не поднялись никогда.

Вместе с Ренквистом к первому танку добежал Галактионов и еще один боец, и они в упор стреляли в глазницы танка. Мотор заглух. Надо было ворить крышку. Она не поддавалась, хотя Галактионов ищарал в кр руки...

Столетов, тоже охваченный общим порывом, поднялся и, размахивая палаткой, бежал к дороге.

Впереди него были люди. Он оглянулся и увидел, что позади тоже поднимаются и устремляются к дороге товарищи.

И он почувствовал такое неразделимое родство, такую связь с этими людьми, которые шли впереди, и с теми, которые подымались за ним. вдруг с не укладывающейся в грамматические правильные фразы и ясностью ощутил свое единство со всем великим народом, поднявшимся на защиту родины. И еще больше он ощутил, что сейчас он действительно находится на переднем крае, а позади — деревни, города, дети, мужчины, женщины, перелески, реки, и снова дети, и люди, родные и незнакомые — народ. И он — часть этого живущего, неистребимого и непокоренного народа.

Он кричал «ура» и бежал. Он не думал в эту секунду ни о какой опасности, хотя рядом и падали люди, и он ощущал такое счастье и радость от слияния своей воли, своей жизни, своей смерти, своих дел с жизнью народа, как никогда до сих пор не переживал.

И вдруг он увидел, что маленькие танки начинают поворачиваться и уходить. И еще он увидел, как Соколенко валится на снег дороги и рядом рвет снаряд. Изо всей силы вдогонку уходящему танку, к гусеницам его, метит Столетов свою гранату.

Цемцы, испугавшись, уходили. Они думали, что идущие на сближение с ними советские бойцы несут с собой связки гранат, бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Им никогда и в голову прийти не могло, чтобы люди, вооруженные одними винтовками, решили пойти в атаку на танки.

Первый танк стоял неподвижно на дороге. Трофей саперов!

Гасан Исмаилов склонился над телом Соколенко.

— Мгновенная смерть, — сказал он людоедшему Столетову, — снаряд 37-миллиметровый прошел через грудь.

Исмаилов встал и обнажил голову.

— Командовать буду я, — услышал Столетов голос младшего лейтенанта Песткова.

— Вперед! Через десять метров у развилки останавливаемся, роем круговую оборону... — И бойцы пошли вперед, вслед за ним.

Столетов стоял и глядел на распростертое на снегу тело Соколенко... Ему захотелось плакать.

Песков подошел к Столетову.

— Мне надо сообщить о случившемся в штаб. Однако каждый боец у меня на счету. Очень прошу вас — идите назад и передайте мою записочку. Только не обижайтесь, пожалуйста...

— Ладно, — сказал Столетов и взял из рук Пескова донесение.

— Товарищ писатель, вы куда пойдете сейчас? — подошел к нему Гасан Исмаилов. — Если обратно, то передайте там, пожалуйста, чтобы машину сюда пригнали, раненых увезти. Теперь можно беспрепятственно до этого места доехать.

— Ладно, передам, — сказал Столетов и пошел по дороге обратно к хутору.

Около трофейного танка хлопотал еще Ренквист. Увидав Столетова, он сконфузился.

— Нет, этот не оживет теперь. Я около него оставлю... чтобы не повторилось.

Он стал объяснять, что не должно повториться. Столетов сам знал об этом.

Когда он дошел до хутора, уже начинались сумерки. Он послал за ранеными машину, передал с делегатом связи записочку Пескова и взобрал по ступенькам на крыльцо. Анна хлопотала около раненых и, увидев Столетова, показала ему рукой, чтобы он проходил в следующую клетушку.

— Можете есть, если голодны, там уже накрыто, — сказала она. — Жаль, что утром зарядки не дождались. Ну, как там?

— Если я когда-нибудь сумею, я напишу о том, что я видел сегодня, одну правду, и люди не будут верить... — сказал Столетов, проходя в соседнюю клетушку.

— Вот и отлично! — И Анна подошла к раненому.

На столе стояли три прибора. Горячий гороховый суп был очень приятен после зимнего дня, проведенного в лесу. Аппетитные ломти толстого нарезанного свежего ржаного хлеба лежали на деревянном подносе.

— Для кого этот третий прибор? — спросил Столетов санитарку.

— Для комиссара, — ответила та и улыбнулась.

— Чего ты смеешься? — грустно спросил Столетов. И снова в ушах его раздался голос Соколенко: «За наших детей!»

— У доктора с комиссаром любовь, — сказала санитарка и снова довольной улыбнулась.

«Как же я, дурак, этого сразу не заметил? — подумал Столетов. Ему не захотелось есть.

В комнату вошла Анна.

— Садитесь кушать со мной, — тихо сказал Столетов.

— Нет, спасибо. Я подожду Соколенку, — ответила Анна и, взяв что-то с полочки, снова вышла. Но, выходя, она взглянула на Столетова, тоже вставшего из-за стола.

— Что с вами? У вас такой странный вид!

— Ничего особенного, просто очень устал.

Когда она вошла к раненым, один из них рассказывал другому, прибывшему раньше:

— Я думаю, теперь комиссару нашему Героя Советского Союза дадут.

— Да, это и после смерти бывает, — подкинул другой.

В ту секунду Анна даже и не подумала, о ком шел разговор. И только когда через полчаса прибыла машина с ранеными и она, выйдя навстречу, окликнула Гасана, а он как-то странно, робко посмотрел на нее, не пошел на зов, а постарался, зайдя с другой стороны машины, незаметно скрыться. — она вдруг поняла, что случилось что-то неладное. Не видя Прокофия среди прибывших раненых, она сразу вспомнила и лицо Столетова, и разговор бойцов, и поведение Гасана — и все поняла.

После этого она еще часа три делала перевязки, вытаскивала наружные осколки, стягивала разошедшиеся края ран, накладывала шинны, но в сердце уже ширилась и ширилась какая-то небывалая пустота. И в глазах, хотя она оставались все время сухими, началась режущая боль.

Сделав все, что было нужно, ни о чем не думая, с ощущением того, что сердце ее вынуто, что все внутри выжжено, Анна вошла в соседнюю клетушку и увидела на столе два прибора.

— Дайте супу, — приказала она санитарке и показала на обе тарелки. Та наполнила их гороховым супом с мелко нарезанными ломтиками корейки.

Анна сидела безмолвно над своей тарелкой два часа, не берясь за ложку. Затем встала, посмотрела на вторую тарелку и с чувством отчаяния, злости и беспомощности своей, с непонятной силой, неожиданно для самой себя, вдруг ударила по ребру тарелки и столкнула ее на пол. Только тогда пришли к ней от самого сердца обильные горячие слезы. Они только еще больше усилили чувство беспомощности перед поразившим ее несчастьем. Она плакала, положив голову на руки, и все тело вздрагивало от душивших ее слез...

Так плакала она долго. Потом, когда кончились слезы, она встала и, вытерев платком глаза, вышла обратно в соседнюю комнату.

— Кто здесь новый? — спросила она деловым голосом.

## Глава десятая

### ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЕЛ НА НАШУ ЗЕМЛЮ

Немецкий офицер стоял у саней и, размахивая руками, кричал на жепщину. На санях лежали бревна. Женщина-возчик стояла погупро около входа в землянку и не подымала глаз на офицера.

— Ну, что ж, — сказал старший лейтенант Глебов и опустил бинокль, — их, по всей видимости, больше, чем нас. Но ничего, возьмем!

И он стал подсчитывать еще раз в уме огневые точки неприятеля. Перед тем как отдать приказ об атаке, он хотел сам проверить сведения, принесенные ему разведчиком.

В нескольких метрах от него лежали сейчас Бомба и Групп, которых он и на этот раз взял с собой.

С того места, где они лежали, был виден даже пар, вылетающий из рта немецкого офицера, и скорбное выражение лица жепщины.

— Теперь мы пойдём влево, посмотрим у дороги, — сказал, подползая, разведчикам, Глебов.

Все трое отползли среди кустов немного назад и затем, поднявшись, пошли по снегу во весь рост, неразличимые среди кустов в своих маскировочных халатах.

Велка оборвала завязки халата Бомбы.

— Эх, Егорку и Митьку бы! — произнес он с сокрушением.

— Что! — спросил Грунь.

— Иголку и нитку! — пояснил Бомба.

Дальше они шли уже молча. Молчал и Глебов, обдумывая предстоящую через час атаку.

Он хотел выслать несколько человек с пулеметом на дорогу, в тыл немцам, чтобы бить их, когда они начнут отходить, и сейчас Глебов просматривал подход к этой дороге.

Под приказом, полученным в полку, стояла подпись — Свирский, которая подняла у него целый рой воспоминаний. Он знал, что всякий приказ должен быть выполнен, но к приказу, подписанному Свирским, относился с особым уважением. Эта подпись сразу напомнила ему детство — кубанские жирные бескрайние степи, конюшни артдивизиона, роющих копытами круглобоких коней и расписание занятий, белевшее на черной доске, внизу которого всегда стояла подпись командира дивизиона Свирского. Потеряв отца и мать в 1922 году, Глебов долго беспризорничал, пока не стал воспитанником артдивизиона. И вот сейчас, когда он увидел под приказом тонкий росчерк Свирского, ему припомнились хруст овса на зубах лошадей, и детство в конюшнях артдивизиона, и вся жизнь, вплоть до третьего кубика на петлицах, полученного на-днях.

«После взятия Лазарево, — решил Глебов, — пойду к Свирскому, напомню ему о старом знакомстве».

Вдруг Грунь, шагавший впереди Глебова, остановился.

Он стоял и смотрел на дорогу, до которой было метров сорок. Глебов и шарикмахер из Старой Руссы тоже стали всматриваться.

С края у дороги темнело какое-то тело, в черном зипуне, с головой, повязанной платком. На снегу лежала женщина. Около нее стоял встревоженный и растерянный мальчуган лет четырех. Голова его тоже была повязана шерстяным платком, на ножках одеты узорчатые валенки.

«Совсем как у моего брательника, — вспомнил Бомба, — совсем как Мишка».

«Надо бы подойти, да опасно у дороги, можно обнаружить себя», — подумал старший лейтенант, сделал шаг вперед, но остановился, услышав гудение танковых моторов.

Танки шли по дороге из деревни Лазарево.

«Вот хорошо, — обрадовался Глебов, — они уведут танки, нам легче атаковать будет».

Танки шли по дороге, направляясь к развилке, на помощь группе, отброшенной саперным батальоном. Это были те самые танки, которые через час атаковал Соколенко. Они шли уверенно, не торопясь, взметая по дороге снежную пыль, грохоча гусеницами.

— Уходит! — радуясь, прошептал Глебов.

Мальчик на дороге, услышав шум приближающихся танков, повернулся лицом к вынырнувшим из-за деревьев машинам. Они приближались к тому месту, где стоял этот забавный, трогательный карапуз.

И тут Глебов увидел то, о чем никогда и никому он после не мог рассказать, боясь, что у него остановится сердце.

Мальчуган со страхом посмотрел на идущие по дороге танки, поднял робко и беспомощно кверху ручки в пестрых луховых варежках, как бы сдаваясь в плен.

«Сколько он должен был пережить, этот бутуз,—подумал Глебов,—что узнать, когда нужно поднять руки вверх!»

Танк шел, не замедляя ход... Он уже прошел мимо мальчика, но вдруг очевидно, водитель передумал, и танк, вильнув, сошел с середины дороги прямо наехав на ребенка, не достигавшего даже протянутой рукой веревки гусеницы. Он подмял и раздавил мальчика и затем, продолжая свое движение вперед, вернулся на середину дороги.

За ним спокойно шли другие танки.

— Ох,—со стоном сказал Грунь.

— Идемте назад, товарищи!—позвал Глебов.—Вы все видели?

— Совсем как мой Мишка!—пробормотал Бомба и заплакал. Они повинулись и пошли обратно. Когда они подходили к своим, Грунь внимательно посмотрел на старшего лейтенанта.

— У вас снег на волосах?—спросил он.

— Может быть,—ответил Глебов и провел ладонью по волосам, убирая этим движением под ушантку поседевшую за это утро прядь волос.

Подходя к бойцам, уже совсем готовым к атаке, они услышали близкий ровный рокот авиамогоров. Наши бомбардировщики пикировали над передним краем немецких укреплений. Видно было, как черными каплями отделяют бомбы от самолетов, как взмывают они в воздух черные гейзеры земли. Грозы взрывов, казалось, наполнял уши каким-то плотным веществом.

Оглушительными очередями автоматических зениток встретили немцы самолеты. Но те развернулись и ушли обратно невредимыми.

И бомбежка, и то, что самолеты ушли нетронутыми, доставляло Глебову огромное облегчение,—как будто к воспаленному месту прикладывали холодный, освежающий компресс.

★ ★ ★

Выдвинутые вперед орудия дали прямой наводкой несколько выстрелов. Снаряд влетел во вражеский блиндаж и поднял его крышу стоймя. Из немецкого расположения тоже ударило орудие, и снаряд его покаремил дуло наших пушек.

Глебов оглянулся, посмотрел на часы и, взмахнув рукой, закричал:

— За родину! За Сталина! Урра!—и, выскочив из-за кустов, побежал немецким окопам.

«Я, наверное, делаю неправильно, я командир—должен руководить, а драться, как рядовой боец»,—в то же мгновение подумал он. Но не бежал вперед с автоматом в руке, посылая очереди на врага, было бы сейчас слышно его сил. Он оглянулся: широко раскрывая рот, с криком бежали за ним немецкие окопы бойцы. Бежал невысокий Грунь, рядом с ним еще боец слева Бомба. Бежали и другие знакомые бойцы, младший лейтенант-артиллерист, бежал Петин, разворачивая катушку с проводом, сандружинница Маруся и рядом с нею, тоже крича и проваливаясь в снег, бежали, держа наперевес винтовки, артиллеристы из расчета только что подбитого немцами орудия.

Прямо в гущу атакующих ударил снаряд противотанкового орудия, который немцы вытащили на гребень блиндажа. На мгновение, еще раз оглянувшись, Глебов увидел, как разметанные разорвавшимся снарядом падают на снег бойцы, но и это, мгновенно промелькнувшее перед его глазами видение, то...



придало ему новой силы. Он был уже в нескольких шагах от немецкого окопа. И разрядил диск в высунувшего голову немецкого унтера. Ответная пуля перебила ремешок, на котором держался автомат. Глебов выхватил пистолет и прыгнул в немецкий окоп. Сразу сзади себя он услышал тяжелое сопение Груня, и громкий голос этого сильного коренастого паренька прорезал воздух:

— Зачем ты пришел на нашу землю?!— кричал Грунь и вонзил свой штык в немца.

— Зачем ты пришел на нашу землю!— подхватывали этот крик и другие бойцы, напрягая все свои силы для того, чтобы поскорее достичь немецких окопов.

— Зачем ты пришел на нашу землю!— повторил Глебов, пробегая по ходу сообщения к двери немецкого блиндажа.

Ход был узкий, и широкими своими плечами Глебов все время задевал стенки, сбивая ярко-желтый песок. Дверь была заперта,— он поднажал своим сильным плечом и сорвал с петель досчатую дверку блиндажа. Вбегая в блиндаж, он хотя и наклонился, но все же задел головой притолоку. Нажав гашетку пистолета, тяжело дыша, Глебов выпустил сразу все десять пуль в полутьму блиндажа. Свет проникал сюда через маленькие целлулоидные окошечка, снятые с грузовиков.

Навстречу Глебову метнулся немецкий офицер, Глебов бросил в его голову разряженный пистолет, услышал, как хрустнула черепная кость, и затем, ни на мгновение не прекращая движения, вытащил из-за пояса длинный тесак, крепко зажав рукоять, бросился вперед и с чувством облегчения вонзил его во что-то мягкое, затем вытащил и, снова слегка повернувшись, ударил тесаком вправо и вдруг почувствовал на своей шее жесткие давящие пальцы. Он захрипел и повернул тесак, в глазах его поплыли, переливаясь радугой, круги, и тут он услышал за собой возглас Бомбы: «Это вам за Мишку! За брательника!» И пальцы, душившие его, разнялись.

Глебов глубоко вобрал в себя воздух... В дальнем углу большого офицерского блиндажа жались спинами к стенке, подняв вверх руки, два немецких солдата.

Бомба бросился к ним.

— Ты мне отвечаешь за их жизнь!— бросил Глебов и выскочил из блиндажа, в котором было чадно от порохового дыма. Ему казалось, что он бежит, в то время как он с трудом переставлял ноги. Выйдя в ход сообщения и высунувшись наружу, он сразу, привычным глазом охватил все детали, все мелкие схватки, которые другому могли бы показаться беспорядком,— для него они были естественным течением боя. Он увидел, как его люди еще дрались с прислужкой немецкого оружия, услышал стрельбу и отчаянный, перекрывающий все звуки мат в немецких окопах. Немного в стороне, у самой стенки безопасного теперь блиндажа, Маруся, с разгоряченным, раздумавшимся лицом, склонившись над раненым, вытаскивала из открытой санитарной сумки ленту кровоостанавливающего бинта. Впереди занятой теперь пами линии окопов во второй линии немецких блиндажей полз артиллерийский наблюдатель.

Полушубок Глебова был забрызган кровью, в первую секунду он подумал, что залачкался, но затем почувствовал, как что-то горячее и лишнее тянется по левой руке. Он взглянул и увидел, что полушубок его распорот и штыком задета рука.

Бойцы из расчета разбитого орудия поворачивали захваченную немецкую пушку дулом к недавним хозяевам. Подпосылок уже поставил замковому обивший медью гильзы узкий снаряд.

— Огонь! — скомакнул сержант — командир орудия, и хотя оно стояло в пятидесяти от Глебова, все же он отметил, что и на этом расстоянии он раньше увидел вспышку и лишь после услышал грохот выстрела.

— Огонь! — скомакнул второй раз сержант и упал.

— Вперед! — крикнул Глебов.

Но в этот момент ожила вторая линия немецкой обороны, затарахтели пулеметы. С противным визгом в нескольких шагах от окопа разорвалась неприятельская мина, и поверх снега легла серая пыль взметенной разрывом земли.

«Нет, — подумал Глебов, — так нельзя — в лоб на пулеметы» — и приказал занимать оборону.

Он снова вступал в свои командирские обязанности.

Глядя на подбирающегося к немецким ДЗОТам второй линии корректировщика в маскировочном халате, он решил, что сначала надо ударить из орудий по блиндажам.

Корректировщик прижал к губам трубку и произнес какие-то, не слышимые Глебову слова.

Через полминуты раздался орудийный выстрел, и через головы бойцов занявших первую линию, разрывая небесную синеву, понесся со звуком, какой бывает, когда продавец раздражает матерью, снаряд; он разорвался метрах в пятидесяти позади второй линии.

Глебов видел, как снова корректировщик прилип к трубке и что-то сговорить, затем с досадой положил ее на снег, видимо, провод был порван осколком мины.

Вместе с Глебовым, не отрывая ни на секунду глаз, наблюдал за корректировщиком Петин. Он также видел, с какой бессильной досадой положил на снег телефонную трубку корректировщик.

Он видел, как рвался первый снаряд за немецкими укреплениями и второго снаряда не последовало. Он посмотрел внимательно вперед, поле было чистое и ровное, снег гладкий, — впереди разрыва линии не было.

«Значит, позади», — подумал Петин.

Ему очень не хотелось выходить из окопа, казавшегося теперь самым уютным местом в мире, на открытое поле, где то и дело с леденящим дулом скрипом, хрюканьем и повизгиванием лопались немецкие мины. Он еще взглянул вперед на корректировщика и подошел к старшему лейтенанту.

— Товарищ командир, — тихо сказал он, — пожми мне руку!

Глебов обеими руками пожал руку связиста.

— Ну, с богом! — сказал он, и Петин, опершись руками на край окопа, решительно перебросил ноги за край.

Глебов, не переставая наблюдать за тем, что творится впереди, то и дело поворачиваясь и смотрел, как Петин ползет по снегу вдоль телефонного провода. Когда вблизи от него рвалась мина, Петин переставал ползти и лежал несколько секунд без движения, вобрав голову в плечи, прижимаясь всем телом к земле. Затем он полз дальше в сторону леса, где нагромодились не атакой красноармейцы. Один раз Петин припадал на локтях и уводил дальний темнеющий лесок.

«Какая неправильная пословица про хвойные леса, — подумал он: «

ною и летом — одним цветом!» Ничего подобного — зимою хвоя темнее, матово и, смешанная со свинцовыми белилами снега, дает совсем другой цвет! Совсем другой эффект, но странно, почему это я раньше так мало различал?»

И в эту минуту, метрах в пятнадцати от него, разорвалась немецкая мина. Петин замер, хотя сейчас ему хотелось передвигаться прыжками. Он увидел место, где осколок порвал проволоку.

Через минуту он был уже около этого места, быстро нашел второй конец оборванного провода, подтянул его к первому и, держа оба конца зажатými в одной руке, другою быстро вытащил кружок лишней изоляционной ленты и начал соединять концы проволоки, предварительно заголив их. Он был весь поглощен этим делом, когда шагах в десяти от него разорвалась немецкая мина. Петин почувствовал страшный удар по руке, по кисти

«Ранен, что ли», — с досадой подумал он и взглянул на руку.

Кисти не было. На том месте, где она должна была начинаться, торчали ключьями рваные кусочки мяса и струилась кровь, пятная белый снег.

Другая рука отпустила оба конца провода, и они лежали на снегу, отделенные друг от друга пространством в два-три вершка.

«Странно, почему не болит? — подумал Петин, — и вслед за этой мыслью пришла вторая. — Как соединить концы провода?»

Он боком подошел к проволоке и снова левой рукой взял один провод, потом наложил один конец на другой и сжал их.

Кровь непрерывно, горячей струей, лилась на снег и, смешиваясь с ним, замерзала багровыми ледышками. И вдруг Петин почувствовал, что его неуклюжимо клонит ко сну. И рука тоже начинает ныть, но пока боль была, к удивлению Петина, невелика.

«Это слабость от потери крови», — подумал Петин, — борясь с желанием закрыть глаза, лечь на снег и заснуть.

«Но если я засну или умру, провода выскользнут из руки, и все это выйдет ни к чему...»

Он лег на грудь, взял наложенные друг на друга концы в рот и крепко сжал их зубами.

«Челюсти так легко не разжимаются», — подумал Петин — и уткнулся лицом в снег. Холод стал сводить челюсти, зубы пачали дробно, мелко стучать. Петин языком ощутил холодный кислотоватый привкус металлического провода. Усилием воли он сжал челюсти и еще плотнее прикусил зубами концы провода. Примерзающей кожей языка он почувствовал, как по проводам пошел ток, — и улыбнулся еще раз.

«Действует, — подумал Петин, — все в порядке».

Перед его глазами поплыли радужные круги.

«Я умираю», — подумал он и почувствовал, что теперь уже он сам не в состоянии разжать зубы. Ему вспомнилась страница ученической тетрадки в клетку, на которой Крапивин острым и узким почерком писал ему рекомендацию: «Партия и родные предан...»

«Я не подвел тебя, товарищ комиссар», — подумал он, и это было его последней мыслью.

И в то время, когда он так лежал, умирая, через его тело шел ток, и Глебов увидел, как корректировщик, еще раз поднесший па-авось трубку к уху, вдруг оживился и заговорил. И один за другим пошлись рваться снаряды, все приближаясь и приближаясь к немецким блиндажам.

Глебов обернулся и увидел ничком без движения лежавшего Петина, темный лесок вдалеке, и огромную, пустое, высокое, синеватое небо над ним.

\*\*\*

Крапивин со Свириком не успели прибыть, как им хотелось, к атаке первой линии потому, что задержались около мотоперевозов.

Над их головами прошли бомбардировщики. Послышались глухие разрывы бомб, бойкая звонкая отповедь зениток и крик «ура!». Это они слышат уже подходя к орудию, стоявшим в леске на другом берегу.

Грузный, добродушный подполковник держал, не отрывая от уха, телефонную трубку и отдавал распоряжения связному.

Бой шел в окопах.

— Первая линия занята, — торжествующе сказал подполковник, переставшая трубка от уха. И громко спросил: — Где Голубец? Где Голубенко?

— Голубец и Голубенко повели лошадей в лес, от обстрела прятать, — отозвался боец.

— Это тоже правильно. Молодцы! — попрежнему весело сказал подполковник. — Сейчас огня дадим! Дадим фрицам жизни! Огоньку подбросим Ориентир!

И он подал команду артиллеристам.

Последовал выстрел.

— Под Лазаревым, я вижу, все в порядке, — сказал Свирицкий. — Я полагаю, что и у Соколенко в порядке будет... Пожалуй, и впрямь будем почивать сегодня в Эпске, в прославленной обители чудотворной богородицы...

— Я пойду вперед, к Глебову, — сказал Крапивин.

— Идите, скажите, что мы рассчитываем, что он к двум часам займется деревню Лазарево.

Подполковник, не отрывая от уха трубки, отдавал распоряжения.

— Два деления! — кричал он. — Огонь! Огонь! — Так! Правильно!

Грохот оружейной стрельбы был оглушительным.

— Знаете, Крапивин, — сказал Свирицкий, и лицо его просияло улыбкой, — знаете, Крапивин, чем я займусь после войны?

Крапивин взглянул в серые утомленные глаза Свирицкого.

— После войны я займусь пчеловодством. Понимаете, улыбка... Пасека. Тишина, тишина... Ну, идите!

И Крапивин отправился вперед, к Глебову.

— Товарищ полковник, — обратился подполковник-артиллерист к Свирицкому, — прошу вас отметить, что мой корректировщик, младший лейтенант Саломатин, корректирует сейчас огонь на себя.

\*\*\*

Немецкие пулеметы не давали поднять головы. Немцы вели рассеянный огонь и, боясь повторения штыковой атаки, не жалели патронов.

— Товарищ Грунь, — позвал к себе Глебов разведчика, — понимаю, надо уничтожить немецкий пулемет, который бьет в лоб.

— Понимаю, — сказал Грунь. — Разрешите с собой товарища Смирнова взять?

— Ладно.

Через минуту Грунь и Смирнов ползли по разреженному лесу ко второй линии немецкой обороны, находившейся на небольшой высоте. Они ползли, прячась за кочки, останавливаясь за голыми стволами срезанных спарядами деревьев.

И все же через тридцать-сорок метров немецкие пули, одна за другой, попадали в руку и ногу Смирнову.

— Лежи,—приказал ему Грунь и пополз вперед один.

Он подполз к небольшому завалу перед немецким блиндажом и затаился, чтобы перевести дыхание и высмотреть лучшие неприятельское расположение.

Глебов посмотрел на свои ручные часы: они были разбиты. Стрелок не стало, но он чувствовал, что пора начинать. Он оглянулся и увидел рядом с собой Крапивина.

— Свировский привет передал... На тебя надеется... К двум надо занять Дазарево,—сказал Крапивин.

— Знаю! Только, видите, легче пройти полмира, чем эти восемьдесят или сто метров,—и Глебов кивнул на лежащий перед ними и отделяющий их от немецкой линии прореженный лесок.

Требовалось большое усилие воли, чтобы, хоть темного приподнявшись, посмотреть вперед, а встать во весь рост казалось просто невозможным.

— Ладно,—сказал Крапивин и громко произнес:— Товарищи бойцы, командиры и политработники! Сейчас получено сообщение о том, что нашими доблестными товарищами — бойцами Красной Армии разгромлены немецкие части под Ельцом, уничтожены тысячи фашистов, взяты огромные трофеи, город Елец освобожден от немецких насильников! Товарищи, будем достойными наших братьев под Ельцом, разгромим и уничтожим немецкую сволочь, освободим Энгс, поможем славному Ленинграду. Вперед! За родину! Ура!

— Вперед, ура!—крикнул Глебов, и они выползли из окопов, по десятки людей уже успели опередить их и бежали вперед под неприятельским огнем.

— Хлопцы, я ваш бог!—услышал Крапивин голос Сухарева.— Бей за Белоцерковского! Бей за Фадейкина! Бей за Иванова!

— За Мишку!—кричал парикмахер из Старой Руссы и снова повторял свой клич:— Зачем ты пришел на нашу землю?

— Ура!—неслось по полю.

Как только Грунь услышал команду Глебова и боевые крики товарищей, он, разорвав в клочья обмундирование, переметнулся через завал и, сделав несколько шагов, бросил в открытую дверь блиндажа ручную бутылочную гранату. Он не знал, что в ту секунду блиндаж был пуст. Метнув с шумом разорвавшуюся гранату, Грунь побежал к ближайшей сосне, чтобы, прижавшись за выступающим ее толстым и узловатым корнем, оглядеться. Но не успел он подбежать, как с дерева, с высоты четырех метров, соскользнул немецкий солдат, «кукушка», стрелявший в Смирнова.

Это был огромный детина. Соскальзывая, он уронил винтовку, но, быстро встав на ноги, бросил в подбегающего Груня круглую ручную гранату.

Грунь продолжал бежать на немца. По счастливой случайности граната проскочила мимо и разорвалась в нескольких метрах позади, только забрызгав шинель каплями жесткой земли.

Немец, увидев, что Грунь невредим, повернулся и побежал от него, но он успел сделать только три шага — Грунь выстрелил, и его пуля пробила немца павылёт. В то же мгновение Грунь бросился к срубам педоделанного

еще блиндажа, открытого сверху. Оттуда продолжал строчить по наступающим немецкий пулемет. Грунь перегнулся через край и увидел, что за пулеметом лежат два солдата, а офицер с парабеллумом стоит на коленях рядом с ними. Грунь нажал курок, но только напрасно щелкнул: патроны были расходованы.

Офицер поднял голову и, увидев возникшее перед орубом лицо Груня, быстро поднял руку и выстрелил в него из парабеллума.

Но еще быстрее, чем произошел выстрел, Грунь присел на корточки: пули только сбили ушанку с его головы. А офицер был уверен, что у дерзкого красноармейца.

Грунь, быстро и часто дыша, перезарядил винтовку и, переместившись на два шага, встал за спиной офицера, выстрелил в пулеметчика, лежавшего около работающего пулемета, и сразу присел. Пулемет захлебнулся. Офицер начал стрелять из пистолета по сторонам. И тогда, сняв предохранитель, встряхнув гранатой, Грунь осторожно, чтобы не перелетела, перебросил ее блиндаж. Сразу прохнул взрыв и встал столб дыма с землей. Не дожидаясь, пока уляжется дым, Грунь прыгнул в блиндаж и, не глядя на убитых немцев, бросился к пулемету. Увидав, что пулемет не попорчен, он начал повертывать его дулом в обратную сторону. Руки немецкого пулеметчика заоченьели у рукоятки пулемета. Грунь с силой распрямил заоченьевшие пальцы, затем повернул пулемет и улетел за ним.

Груня немцев бежала от домов к линии блиндажей на удивлении своим.

«Ишь ты! Ловко!» — подумал Грунь и нажал галетку.

Солдаты, подкошенные длинной, непрерывавшейся до тех пор, пока была истрачена лента, очередью, падали один за другим. Падали по-разному — и плашмя, и навзничь, и становясь сначала на колени, подпрыгивая. Каждый из них был личным врагом Груня, и поэтому, видя, как падают солдаты в зеленых шинелях, он испытывал наслаждение.

Больше двадцати человек уничтожил он из немецкого пулемета, когда всем рядом раздалась громкие родные голоса.

Справа от своего блиндажа Грунь услышал возглас:

— Хлопцы! Я ваш бог, за мной!

Слева прозвучал знакомый голос Бомбы:

— Зачем ты пришел на нашу землю?

Рядом с Грунем очутился Кративин.

— Вперед! — сказал он, помогая Груню взять коробки с лентами.

\*\*\*

Когда Свирский уходил от орудий, он увидел клубы черного дыма, поднимающегося над деревней Лазарево.

— Вы давали зажигательные снаряды?

— Нет, — ответил подполковник.

— Значит, немец поджег! Прекрасный симптом! Они уходят из деревни.

— Огонь по дороге! — скомандовал подполковник.

Когда наша пехота, захватив вторую линию немецких окопов, вошла в деревню Лазарево, с гудением и лязганьем передвигавшись по люнтовой мосту, прошли, взмывая снег, танки. Пройдя свободно Лазарево, они немедленно ворвались с севера в город и довершили на том участке разгром.

В это время с юга и с востока в город входили, прорвав немецкую оборону, части других оксфигури.

Может быть, это и к лучшему, что танки заглодали к началу боя, — думал потом Крапивин. — Тем неожиданнее и страшнее было их появление в заключительный момент. А пехота и без них хорошо начала.

★ ★ ★

Итак, город Эиск освобожден!

План немецкого прорыва на северные коммуникации республики, о завершении которого объявило немецкое командование, был сорван. Ставка на окружение Ленинграда на его дальних подступах была бита.

Наши части, нанеся контрудар, продолжали преследовать неприятеля.

Слава этой операции прошла по всему миру, но ни Крапивину, ни Байдалакову, ни Сви́рскому, ни Глебову не удалось, как они мечтали, в эту ночь спать в отбитом у немцев Эиске. Полк Глебова, получившего в эту ночь звание майора, прошел по окраине и, не заходя в город, устремился по дороге, преследуя отходящих в беспорядке и бросающих оружие и машины немцев.

Крапивин с Байдалаковым шли по улице города и считали в быстро наступающей тьме брошенные немцами грузовики. Крапивин подходил к каждому и, отворачивая краник, проверял, выпущена ли вода из радиатора.

— Так мне велел Соколенко!.. Ты понимаешь? Ты чувствуешь? — говорил он Байдалакову. — Мы ходим по улицам Эиска! Кажется, кто-то не верил, что мы его отобьем?

— Вот так мы с тобой будем ходить и по Берлину.

Снег поскрипывал под их валенками, и им казалось, что рядом кто-то идет.

— Ей-богу не хочется спать!

Над темным разбитым городом в густом синем небе вставала холодная луна, высоко к небу поднимались казавшиеся черными при луне луковницы многоглавой церкви старинного, печального, много видавшего монастыря. Внизу над обрывом шла выложенная из кирпича монастырская стена, называвшаяся кремлевской.

Еще темнее казались провалы выбитых окон. Как Байдалаков ни глядел, он не мог найти ни одного целого дома. Сорванные железные крыши жалобно гремяли, раздирая сердце своим металлическим визгом. Оборванные тропинки выныривали из стен. Деревянные стены домов кособочились, иные из них уже обуглились. Через разбитые окна была видна лесенка. На втором этаже после площадки марш ее, с жованой решеткой перил, никуда не привел и обрывался, как бы стремясь в небо.

— Ну, знаешь, работы, работы будет после войны! Стекла одного понадобится сколько! — сказал Байдалаков.

Они шли дальше по улице, сорвав на углу прибитую немцами доску: «Гауптштрассе». Под ней темнела эмалированная синяя табличка, большими буквами было выведено: «Советская».

Крапивин с Байдалаковым шли в свою временную штаб-квартиру в низком сводчатом подвале разбитого каменного дома.

Им казалось, что в городе совсем не было жителей. Кругом — только короткие березовые кресты немецких могилок, врытые в тазоны, в мост-

товые и толпящиеся даже во внутренних дворах домов. Около некоторых домов стояли горшки с замерзшими геранями, олеандрами, китайскими розами, взятыми солдатами в оставленных населением квартирах.

Напротив штаб-квартиры с промерзшим каменным подвалом, на котором блестел лед, горел двухэтажный деревянный домик.

Около него стояли бойцы и наблюдали за высокими вьющимися языками пламени. И так странно было видеть стоящий на подоконнике второго этажа среди пламени высокий цветок бальзамина.

«Уж не композиторский ли это домик?—подумал Крапивин, и его охватила страшная тоска.—Неужели и с Кисовом, и с Вишницей, где была Надюшка, они сотворили такое?»

— Надюшка, родная моя,—сказал он вслух.—Грязные мои ноги!

По улице проходили орудия на конной тяге,

На корытном сидел Голубенко, на пристяжной—Голубец. Они оба напевали: «Ой за гаем, гаем, гаем зелененьким».

— Так,—сказал Крапивин и, нагнувшись, стал спускаться по скользким ступенькам.— Не удалось нам с Соколенко встретиться в Эске, как мы рассчитывали, и не удастся вместе побывать в Ленинграде.

И он представил себе, как Соколенко вытаскивает большой носовой платок с голубой каймой, чтобы протереть запотевшие очки.

«Что же, после об этом вспомним, все вспомним,—подумал он и почувствовал вдруг: Нет, не после! Сейчас, сейчас, ни одной минуты, ни одной секунды, ни памятью ума, ни памятью сердца нельзя забыть ни Соколенку ни моих четырех у переправы, ни этого разрушенного, опустошенного города... Ничего не забывать. Как это ни тяжело, все это надо нести в своем!»

И пока Байдалаков разговаривал с бойцами, таскавшими мотки телеграфных проводов, пулеметы, ящики с патронами и прочими трофеями, Крапивин примостился у края стола и при свете оплывающей свечи стал записывать быстрые строки в свой дневник, который он вел для Татьяны, для того, чтобы при встрече отдать ей все написанное. И даже теперь, когда он знал адрес, он все еще продолжал вести тетрадь для нее.

Голубец и Голубенко, проехав со своими орудиями через город, вступили на темную лесную дорогу и, утомленно покачиваясь в седлах, пели:

Как во первом во садочке  
Кукушечка куковала,  
Как во втором во садочке  
Соловейка распевала,  
Как во третьем во садочке  
Мать сыночка провожала.

## Глава одиннадцатая

### НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Крапивин еще издали, из-за косых плетней, заметил толпу на деревенской улице, среди которой, как монумент, возвышался огромный и неприступный Степняк.

Казалось бы, после такого напряжения, которым сопровождалось освобождение Эски, Крапивин должен был чувствовать себя усталым. Но его



приподнимало, прогоняло прочь усталость какое-то новое чувство, похожее на то, что поэты называют вдохновением,—чувство, которое вместе с ним разделяли сотни людей, узнавшие, что сегодня утром Советское Информбюро на весь мир сообщило о разгроме врага и освобождении Эйска.

— Товарищи, товарищи, это про нас с вами говорят,—радовалась Маруся, шербиштовывая раны и слушая радио.

— Ловко, ребята! На весь свет про нас слава! — сказал Грунь своим товарищам.

— Ну, теперь грешно останавливаться! — крикнул Сухарев, узнав о сводке. Он шагал по дороге, по которой еще недавно проходили немцы.

Это же чувство владело Ельцовым — парикмахером из Старой Руссы, когда, увидев догорающую их походную кухню, он провозгласил:

— Ну, нет, ребята! Если мы остановимся на обед, то и немцы за этот час успеют пообедать или оторваться от нас. Не будем задерживаться.

И бойцы в один голос сказали:

— Не будем останавливаться.

И они шли по дороге, занесенной снегом, по дороге, где таились мины. И с каждым пройденным шагом, с каждым замеченным у дороги немецким трупом, немецкой брошенной машиной это чувство все возрастало и возрастало.

Всего шестнадцать часов прошло с той минуты, как мы ворвались в Эиск, а уже Глебов находится на сорок пятом километре,—радовался Крапивин, шагая по дороге и запово мерещивая то общее приниженное настроение, которое затем в политдонесении сформулировано было как «высокий наступательный порыв войск».

Подходя к деревушке, где сегодня располагался штаб, нацупывая в кармане хрустящие листы с описью трофеев, он собирался доложить обо всем, что видел и слышал, командованию.

Крапивин подошел к толпе, окружавшей Степняка.

Суровый седой старичок с редкой бородкой держал за руку молодую, красивую женщину, которая нагло глядела в рябоватое лицо Степняка, и высоким голосом кричал:

— Если ты настоящий комиссар! Если ты настоящий комиссар, то ты расстреляешь эту тварь!..

Крапивин взглянул на женщину. Большой шерстяной платок спал с ее гладко зачесанной головы на плечи.

— Что она сделала? — строго спросил Степняк.

— С немцами снюхалась, — раздался выкрик.

— Ямы с картошкой показала!

— К нашим землянкам в лес проводила, немцы нас сюда обратно и пригнали!

— На патефонах разыгрывала! Теперь потанцуй!

Дело в том, что, когда немцы вошли в деревню, Руслана Джибовская пошла по избам и, собрав все патефоны с пластинками, принесла их немецким солдатам.

— Нетьку Зверева выдала! — сказал совсем спокойным голосом старик, который держал женщину за руку, словно боясь, что она скроется от возмездия.

Петька Зверев был тем колхозным пастушонком, который служил водником Стопановой по землянкам в окрестных лесах.

— Немцы парнишку с собой угнали, ему всего двенадцать лет был, сказал старик, — отец его в Красной Армии ездовым служит... А мать скончалась.

И все обернулись и поглядели на женщину, прислонившуюся спиной к плетню. Руки ее были опущены вдоль темнокоричневой шубенки, обшитой по краям черной блестящей с тисненым рисунком каймой. Она беззвучно и велила сухими губами, и только глаза ее влажно блестели.

Наглая красивая женщина тоже посмотрела в эти глаза и, прочитавших в них приговор себе, вырвала руку у старика и, вздрагивая от холода, нагнула на голову платок.

Старик вдруг снова схватил за руку предательницу и высоким голосом прокричал Степняку:

— Если ты большевик, если ты настоящий комиссар, ты расстреляешь эту тварь!

— Есть расстрелять эту тварь, — твердо сказал Степняк.

Красноармейцы увели Джибовскую.

Выбравшись из толпы, Степняк и Крапивин вошли в просторную избу. — Здесь будет штаб на сегодня, — сказал Степняк, улыбаясь, и Крапивин только в первый раз заметил, какая у этого рослого и грузного мужчины располагающая улыбка.

Когда они вошли в комнату, мимо них промгнул белобрысый, голубоглазый мальчуган лет десяти-двенадцати. В комнате их встретила молодая благообразная женщина в зеленом платье, с ребенком на руках. Увидев вошедших, она начала всхлипывать.

— Что с тобой, милая? — ласково спросил ее Степняк. — Немцы обидели?

— Они, товарищ командир, они, — заплакала женщина и сквозь слезы стала рассказывать о своем горе: — Понимаете, товарищи, входит он в комнату с пистолетом, берет у меня из рук Оленьку, кладет на стол и бросается на меня. И тут же Ванечка мой стоит — парнишка одиннадцати лет, он все понимает... Он с тех пор как оглушенный ходит... Молчит все... И вот опрокинул меня солдат на кровать, опозанил и ушел. А я с непокрытой головой стою. В прорубь бросаться хотела с Оленькой, да Ванюшку оставил жалко. А как подумаю, что Петр с войны вернется, и как он на меня посмотрит и что скажет, так думаю, что в прорубь, может быть, лучше мне сейчас минуточку...

Она стояла перед товарищами, всхлипывая, утирая глаза концом платка, держа в одной руке малютку, обхватившую ее шею обеими ручонками. Степняк подошел к ней и положил свою тяжелую, пухлую руку на ее плечо.

— Не убивайся, родная! — сказал он. — Твой муж — боец Красной Армии, он поймет, что ты ни в чем неповинна. Право, это всякий человек поймет. Ты ж ни в чем неповинна, — повторил он и погладил ее плечо.

И от этой неожиданной ласки женщина начала плакать громче, плечи ее задрожали.

— Горе твое, — наше горе, — сказал Степняк и пододвинул ей стул, — разве у нас нет матерей, жен, сестер? Ну вот — таким же голосом, без перерыва, продолжал он, — мы хотели бы разместиться у тебя в избе.

— Никак нельзя, — продолжая еще всхлипывать, отозвалась женщина, — меня уже остановились... медицинский пункт... Военная женщина...

Степняк встал со стула.

— Ну, мы пойдем, голубушка, прости...

В эту минуту в комнату, сопровождаемая Гасаном Исмаиловым и девушкой-военфельдшером, вошла Анна. Лицо ее осунулось за эти два дня. Глаза потускнели. Крапивин не мог в них найти того блеска, который запомнил он еще в тот дождливый августовский день, когда Соколенко предложил ей из юбок сделать носилки.

Крапивин мучился тем, что не знает, что сказать Анне, чем утешить ее в опромном постигшем горе. Гибель Соколенко была и его скорбью, но что ей сказать? Что смерть его благородна? Что за отчизну отдать жизнь есть величие души и бессмертие в народе? Эта правда, он знал это и знал, что и она это знает, и не мог в эту минуту повторять слова, которые были известны и ей. Он подумал о том, как бы стал говорить Соколенко Татьяне о его гибели. Подошел к Анне, взял ее за руку и тихо сказал:

— Мы ведь с вами друзья, большие друзья, Анна, правда? И я не знаю, что сказать, чтобы и вам и мне стало легче. Бывает в жизни людей такое горе, единственным утешением в котором является сознание того, что ему нет утешения, — и, нагнувшись, он поцеловал ей руку.

Анна благодарными глазами посмотрела на Крапивина. Она ждала этого часа, сжав зубы, боясь своей болью омрачить общую радость, радость победы.

— Анна! У меня что-то с ухом творится. Контузия! — смущаясь своей болтовней, которая ему в эту минуту казалась чепуховой, сказал Крапивин. Он полагал, что в такие минуты лучше всего занимать мысли Анны ее привычным делом.

— Не болит? Не ноет?

— Нет, теперь никакой боли нет, только глухота...

— Вот вам ватка... Закладывайте ею ухо, поглубже, чтобы не застудить на морозе. И вот вам капли. Пускайте по пять перед сном. Но только при условии, что спать будете в тепле, — сказала Анна, роясь в большом сундуке своей походной аптечки. — А если контузия, то со временем пройдет, — закончила она, подавая Крапивину маленький пузырек.

— Спасибо. Если вам что-нибудь нужно будет... Если, одним словом, трудно будет... приходите ко мне... Вдвоем легче. Придете? Обязаны, одним словом... Ладно?

— Ладно, — тихо ответила Анна. — Прокофий очень любил вас... Да, походите секундочку, — вдруг всполошилась она, подошла к своему чемоданчику, щелкнула замком и, вытащив пару шерстяных серых носков с заштопанными коричневой шерстью пятками, сунула их в карман Борису.

— Вот возьмите. Это Прокофия... пригодятся...

Крапивин, догоняя Степняка, бежал со ступенек.

— Ну, я намечаю идти в том угловом доме. Скажи об этом Свирескому... Он здесь в баньке сейчас с пленным разговаривает...

В низкой баньке было жарко. Перед Свиреским, сидящим на лавке около груды черных, законченных камней, стоял немецкий белобрысый унтер-офицер в русских валенках.

— Полюбуйтесь на этого героя Крита! Все, что знает, выложил, как маленький. — Такими словами встретил Свирский Крапивина.

В апреле месяце, когда Крапивин читал каждый день новые телеграммы о том, как остров Крит был взят парашютистами с воздуха, ему казалось, что эти люди, наверное, по-особенному мужественны. Теперь один из них жалкий, испуганный и обтрепанный, стоял перед ним в низкой баньке.

— Вы присягали, так отчего же вы все, что знали, рассказываете мне?

— То, что знает солдат и унтер, не может быть тайной. Тайной является замысел командования, который мне неизвестен. Я очень прошу вас, убивайте меня. Это с вашей стороны будет благородно.

— А женщины насиловать благородно?— спросил Крапивин.— Сколько ушек вы изнасиловали?

Пленный вздрогнул.

— Что вы можете сказать про нашу армию?— спросил Свирский.

Пленный снова вытянул руки по швам.

— Нам говорили,— ответил он,— что в русской армии много разных национальностей. Среди убитых мы видели и восточный тип, и монгольский тип, и семитский, и даже арийский... Это правда. Но в бою это никак не заметно! Все дерутся одинаково. У нас тоже есть венгры, и итальянцы, и румыны,— унтер презрительно улыбнулся,— но они ни в какое сравнение с немецкими солдатами не идут. А у вас,— немец пожал плечами,— все одинаково презирают смерть.

— Он прав, говоря о нерушимой дружбе народов нашего Союза,— сказал Крапивину Свирский уже на улице,— да это мы и без него знаем... И он мне помог расшифровать эту схему, и тем самым его существование на земле оправдано.

И Свирский показал Крапивину подробную карту, на которой красными карандашом были перенумерованы дороги, заметные объекты местности и даже отдельные немецкие блиндажи.

Они вошли в комнату штаба. За столом, расстегнув полушубок, над сложенной гармошкой картой сидел Степняк.

— Вот, товарищ Крапивин, мы в эти дни кое-кому показали, что немцев можно бить!.. Битый немец бежит за милую душу. Но вся беда в том, что он хочет остановиться, и вот этого-то мы и не должны допустить... Были б у меня резервы,— мечтательно закончил Свирский.— Впрочем, раз не так надо с тем, что есть, немцев бить и гнать.

В комнату вошел раскрасневшийся с мороза Волков.

— Товарищ полковник,— обратился он к Свирскому, не поздоровавшись ни с кем из находившихся в комнате,— все дороги минированы. Очень густо... Снегопад скрывает следы. Итти прямо на мины — очень большие потери! И потом они все время бьют прицельным огнем по дороге из дальних боевых орудий. Скажите, что делать, и я немедленно — обратно в часть. И, обернувшись к Крапивину, он сказал:— Я ведь теперь быстро, я на трофейном мотоцикле пинарю! Два цилиндра! Через любую мину проскочу раньше, чем та разорвется.

— Товарищ старший политрук,— тихо сказал Степняк,— а нельзя ли доложить все по порядку, поподробнее и по карте?

Волков резко повернулся к нему, быстро надел только что снятую ушанку, отдал честь и сказал:

— Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар.

Степняк протянул ему карту.

— И, представьте себе,—уже спокойнее заговорил Волков,—там дорога бывает на километр замощена поваленными бревнами. Так вот, пройдет танк, и ничего. Пройдет за ним грузовик — и тоже целехонек. А затем идут простые одколошадные розвальни и — ба! — взлетают в воздух на мины... В чем дело? А дело в том, что мины подложены были под бревна. Бревна смерзлись и стали, как ледяной покров. Прошли танки, грузовики, распахтали настил, и теперь даже пешеход и сапн могут взорваться.

— Так вот, товарищи,—сказал Свирский, тоже наклоняясь над картой,—для меня вопрос ясен. И решение здесь может быть только одно. А именно то, которое немцы считают невозможным. Сорок пять километров мы шли их по дороге,—и он синим карандашом отметил на карте эти сорок пять километров.—Тем временем тыловые их части успели заминировать изрядный кусок дороги. Сколько километров — пять или десять — нам пока неизвестно. Но это не так важно. Важно то, что если мы займемся разминированием, мы потеряем время, потеряем темн, а немцы тем временем еще сильнее укрепят свои узлы сопротивления и встретят нас на дороге прямым лобовым огнем. Дорога у них и теперь уже пристреляна. Вот видите, у нас в руках их карта с цифровыми обозначениями целей и оставляемых ими рубежей. Все пристреляно... Что же из этого следует? Итти прямо и взорваться в угоду врагу на минах? Нет, такого приказа я не отдам. Тогда останавливаться. Нет, такого приказа я тоже не отдам! Надо завершить успех. Надо продолжать наступление. Но в этом наступлении приказываю нигде не занимать немецких окопов и блиндажей и вообще остерегаться останавливаться в тех местах, где находились раньше немецкие гарнизоны! Хотя это и труднее, но зато наверняка будет стоить меньшей крови; надо каждый раз немедленно на остановках оказываться самим, не используя пристрелянных немцами объектов... Пусть сядут свои снаряды, пусть расходуют по пустым окопам, а мы посмеемся! Но где же и как наступать, если у нас дорога одна, а вокруг леса и поросшие лесом, занесенные снегом болота? Видите, немцы ждут нас на дороге и готовятся. По дороге мы пустим саперный батальон, пусть займется своим делом, разминирует. А вот здесь, с левого фланга, они нас не ждут, смотрите, у них на карте обозначено непроходимое болото... Самое большее, чего они могут бояться с этой стороны, это небольшой группы лыжников, и к этому они готовы. А мы появимся здесь главными силами, с артиллерией с тыла и уничтожим их! Так! «Там, где пройдет олень,—русский солдат пройдет, там, где олень не пройдет,—там русский солдат тоже пройдет»,—так говорил Суворов. И это было тогда, когда русские солдаты дрались на чужой земле, за чуждые им интересы! Сейчас же перед нашими бойцами стоят самые великие и благородные задачи, какие могут стоять перед войсками,—защита отечества! Нас под Эльбом было меньше. Мы окружили, разгромили врага, в полтора раза превышавшего нас по численности... Взяли меньшей кровью. Но для этого мы должны были, проникая в тылы, перерезая коммуникации, все время действуя на фронте, создавать у врага впечатление, что нас много, больше, чем на самом деле. Теперь, когда он разбился на группы, понес такие потери, теперь, когда вступили в действие наши резервные дивизии, идущие по соседним дорогам, теперь нас стало больше, и, следовательно, мы должны таняться и держать себя так, чтобы враг подумал, что нас мало, что нас меньше, чем на самом деле. А как лучше всего это сделать? Еще раз повто-

вию: сойти с дороги в лес, пройти через него, пройти через болото, через которое проходят охотники, войти в этот пункт,— и, перевернув карандаш, он поставил жирную красную точку на карте,— ударить по немцам с тыла. Сорок таких километров мы пройдем! У вас, товарищ подполковник, дни молодости, кажется, был такой случай с протаскиванием орудия там, где не то что немцы, даже и финны считали невозможным протащить? Сумеете ли вы сегодня провести свой артишок?

Подполковник встал и строго сказал:

— Я воспитан так: полученный приказ должен быть выполнен! Разрешите сесть?

— Садитесь... А вы, товарищ,— обратился он к начальнику штаба, — напишите точный приказ. К двенадцати завтра укажите мой командный пункт! — Свирский сделал паузу. — Вот мой командный пункт, — он ткнул в карту карандашом, — деревня Зеленки.

Начальник штаба посмотрел на Свирского.

— Товарищ полковник, — сказал он, — по ведь деревня Зеленки еще не занята нашими. Она...

— Вот и отлично! Именно там я и назначаю свой лагерь. Таким образом все командиры поймут, что я не сомневался в том, что они могут продвигаться вперед и что приказ не допускает никаких толкований. Только вперед. Знание того, что командование убеждено в успехе, подымет людей! Я все сказал.

Свирский улыбнулся Крапивину, вспомнив разговор с ним на грузовике на психическом пачале.

Гамбург глядел на карту и мусолил карандаш, приступая к составлению боевого приказа на предстоящие сутки. Аdjутант снимал крышку с ремингтона.

— Товарищ Крапивин, — сказал Степняк, — мы решили тебя временно поставить комиссаром у Глебова, там исполняет эти обязанности отсекр. И это не то. Я думаю, что ты справишься.

Крапивин почувствовал, что он краснеет от удовольствия и волнения. Он давно мечтал о такой работе, работе прямо с людьми, и только иногда боялся, что еще не имеет большого опыта и не совсем усвоил тактику и материальную часть пехоты. И вот теперь его желание осуществлялось. Он встал.

— Имей в виду, что полк сильно потрепан. Но Глебов молодец... Ну будь счастливым! Желаю тебе удачи, дружище! — Степняк протянул обе руки Крапивину. — Не унывай, помогать будем!

«Ну, нет, он все ж таки не психолог, — улыбнулся Крапивин, — если думает, что я унываю».

Через десять минут он вместе с Волковым уже выходил на дорогу, где в плетня стоял мотоцикл...

Волков, запустив мотор, похлопал кожаной перчаткой по багажнику, предлагая Крапивину садиться позади себя.

Крапивин сел. Машина рванула с места и понеслась, подбрасывая седоков на ухабах.

\*\*\*

— Ну, вот ты и прибыл, — встретил Крапивина Байдалаков. Он стоял рядом с Глебовым около поваленной сосны.

Войска уже сошли с дороги и углубились в лес километра на три, пока Крапивину удалось догнать передних и разыскать Глебова.

— А мы уже здесь успели на оглобле пообедать,— сообщил Байдалаков.  
— То есть как на оглобле?— удивился Крапивин.  
— А очень просто! Повесь себе котелок на оглоблю и хлебай ложкой из котелка.

Глебов был очень рад, что в его полк комиссаром назначили Крапивина.

Пока они разговаривали, рядом бойцы подпиливали и валили деревья, расчищая путь для орудий, для кухонь, для танков и сапёй с фуражом.

Огромные деревья накрепколись и падали вихрем, разбрасывая по сторонам мохнатые слои снега.

Если пехотинцам трудно было пробираться по лесной чаще, то орудия протаскивать было ещё труднее. Сначала лошадей запрягали гуськом. Но колеса зацеплялись за шишки, лошади снытыкались о коряги и проваливались попытками в снег между кочек.

— Слезай, Голубенко,— сказал ездовому товарищ его,— слезай, Голубенко, и выпрягай орудие. Надо будет на руках тащить, нельзя мёртвить животную.

Подполковник приказал разобрать орудия. Отделять тело от лафета. Снимать и пести отдельно замки. Каждое колесо вести по отдельности.

В таких необычайных условиях пришлось Крапивину окунуться в обиходную жизнь своего полка, который шёл вперед, протапывая путь остальным. И необходимо было на этом марше воссоздать партийную организацию, распределять коммунистов поротно.

Собрать их вместе сейчас не было возможности, и Крапивин разговаривал с каждым в отдельности, около кухни, на марше, на часовом привале. Это были простые, непохожие друг на друга люди. У каждого совсем недавно была особая жизнь, но сейчас их всех — и безусых, и уже седеющих, и колхозников, и рабочих, и интеллигентов — объединяло одно дело, одна страсть.

— Мы с вами должны быть примером для других,— говорил им Крапивин,— и в том, как наматывать портянку, и как стрелять, и как идти, и как колоть. Мы должны вести всех за собой, объединять!

Он чувствовал, что товарищи верят ему, и сам любил этих простых, необязательных, но всегда готовых отдать все для друга, для родины, людей. Он видел, как в бою и на марше создавалась и крепла мужская дружба, боевое товарищество. И хоть он часто бранил их, но всей глубиной своего сердца он любил этих подчас грубоватых на первый взгляд людей. И даже шероховатость их небритых щек, и порой солёное словцо, и утомлённая их походка казались ему родными и милыми. И только потому, что он по-настоящему любил и понимал их, всегда приходили к нему нужные, верные слова и шла к нему ответная волна доверия.

Ростов нельзя было раскладывать, чтобы немецкая авиация и разведка не могли узнать, что по лесу движется колонна.

Крапивин никогда не забудет этого бессонного, изнуряющего марша; но если он начнет кому-нибудь рассказывать о нем, то о чем сначала: о сухаях, хрустящих на зубах? О том, как было жарко в тридцатиградусный мороз? О том, как люди вдруг с ходу падали на колени и, стоя на коленях, засыпали глубоким сном? О том, как, заслышав, что рвутся немецкие снаряды с стороны, бойцы дружно смеялись? Или о том, как он увидел танки, издавшие переправы у широкого ручья?

Лед был топок, и танкисты, наломав сучьев, положили их плотным слоем на лед, а затем полили этот слой водой, взятой из пробитой проруби. Вода тут же на морозе замерзала. И тогда поверх этого слоя танкисты и кладывали новый слой сучьев и снова поливали его водой; и так делали тех пор, пока не нарастили слой льда, способный вынести груз танка. И здесь Крапивин снова увидел хлопчущего у прутьев Гонибеса. Крапивин хотел расспросить его о Татьяне, какой он видел ее в последний раз, рассказать, что слышал о Фросе, но в эту минуту его окликнул боец, и опять нужно было идти вперед и показывать другим дорогу, и не оказалось минут для разговора с Гонибесом.

Все эти часы, встречи, пейзажи слились у него в одну какую-то непорочно длящуюся картину, как кадры быстро мелькающего кинофильма. И однажды, увидев небритого Столетова, который, присев на поваленное дерево, что-то писал, он сказал ему:

— Вы теперь напишете книгу «Лесной поток».

— Никто не поверит, скажут — писатель выдумал! — ответил Столетов.

И войска вышли на болото. Шли, по грудь проваливаясь в снег. Несмотря на морозы, вода не замерзала. Валенки быстро промокали, и вода в них леденела, ноги ломило от нестерпимого холода.

По лесному болоту, по брюхо проваливаясь в снег, изнуренные лошадки тянули на санях тело орудий. Артиллеристы, сами впрягшись в сани, помогали лошадям молча, без подбодряющих криков. Так прошел день, ночь, второй день был уже в разгаре.

Спереди жарким шопотом пошло:

— Стой! Стой! Стой!

Это Глебов издали увидел немецкие укрепления.

«Как же, должно быть, устал Глебов, — подумал Крапивин, — ведь все время впереди, с разведкой».

Отдан был приказ остановиться.

Вперед пошла разведка. А артиллеристы тем временем собирали свое орудия. Другие подпиливали деревья, расчищая сектор обстрела. Но, подлив стволы, по приказу подполковника бойцы оставляли их стоять, как они стояли, для того чтобы раньше времени не демаскировать огневых позиции. И лишь тогда, когда было готово, в наступившей темноте раздалась команда: рухнули один за другим в снег десятки деревьев, и от их падения взвихрило в ветре снег.

Собранные орудия прямой наводкой ударили по немецким блиндажам. Один, другой, третий выстрел... Вспыхнула и пошла гулом канонада. Из немецких блиндажей слышались крики.

Немцы отвечали беспорядочной стрельбой во все стороны, потому что неизвестно было, где находятся наши части, и во всяком случае они ждали их с другой стороны.

«Начнем, — решил Глебов, — только молча!»

И в то время, когда наши орудия прямой наводкой били по немецким укреплениям, первый батальон с Глебовым во главе молча двигался к этим блиндажам по снегу. Второй батальон, с Крапивинным, так же молча подбирался к немецкой батарее. Третий уступом шел вслед за первым.

Один из бойцов спотыкнулся о кочку, упал и остался лежать. Крапивин прошел мимо него и оглянулся. Боец продолжал лежать ничком в снегу.



«Неужели убит?» — подумал Крапивин и повернулся. Он патнулся над лежащим бойцом и тронул его за плечо. Это был Грунь. Он лежал на снегу и, сладко посапывая, спал, ничего не понимая, ни о чем не думая. Крапивин поднял его. Со слезающими глазами Грунь стоял перед Крапивинным.

— Заснешь в снегу, замерзнешь, — сказал ему Крапивин, — у меня самого ноги отваливаются. Подожди час, отдохнешь тогда!

— Иду, понимаете, и на ходу сны досматриваю, — смутился Грунь.

И они пошли вперед.

Первым на батарею ворвался младший лейтенант, тот, что сменил у дороги Байдалакова. Он молча ударил штыком наволочника. Так же молча, со штыками наперевес, на огневых немецких позициях возникли из ночной темноты и другие бойцы. И так же молча, не говоря ни слова, без единого выстрела бросились они колоть немцев. И в этом молчании было столько силы, такое чувство неотвратимости, что из всех батарейцев только два немца начали отстреливаться из револьверов. Остальные побежали, оставляя свои орудия. Но и они попадались идущим навстречу бойцам пятой роты, которые принимали их на штыки. И в этот момент у немецких блиндажей слева раздались выстрелы, пулеметная дробь и возгласы «ура».

«Это первый батальон дорвался», — подумал Крапивин, останавливаясь около немецкого орудия. Рядом с ним очутились Голубенко и Голубец. Вместе с другими бойцами они повернули немецкое орудие и стали его заряжать.

— Дозвольте, товарищ комиссар, разок пальнуть, — попросил Голубенко.

— У нас ведь весь расчет на взаимозаменяемость перешел, — подхватил Голубец, — только не давали нам по врагу стрелять... Ездовые вы, говорят.

— Бейте, товарищи, — разрешил Крапивин и стал прислушиваться.

Укрепления слева, очевидно, были уже заняты. К захваченной батарее подходили Свировский с Байдалаковым.

— Немцы отходят. Удар был неожиданный. На правом фланге тоже. Ваш полк все время шел головным, теперь даю ему сутки отдыха. В преследование пойдут другие полки.

Спали все там, где застало их разрешение на отдых.

Когда Крапивин проснулся, было уже совсем светло.

Он это чувствовал, хотя и лежал, не раскрывая глаз, ощущая тепло, идущее от чугуна раскаленной печурки и слыша веселое потрескивание дров. Над самым ухом у него тоненько похорывал Глебков.

Крапивин открыл глаза и увидел, что за столиком немецкого офицера, немецкими чернилами, немецким вечным пером Байдалаков что-то с увлечением пишет. Алексей поймал на себе взгляд Крапивина.

— Да вот пишу на одного танкиста наградной лист. Забавная фамилия у него: «Гонибес...» Представь, подбили у них пулемет и орудие, а он продолжал сопровождать пехоту в преследовании с недействующими орудием и пулеметом... «Это я делал для поддержки духа пехоты! — говорит он, — чтобы они не заколебались». И знаешь, он с собой в танке возит врученный ему на хранение акт о передаче земли колхозу... Нет, говорит, надежней места!

В землянику вошел член военного совета Краснов.

— Свировский здесь нет? Где искать? — Взглянув на Байдалакова пристальнее и узнав его, член Военного совета, улыбнувшись, сказал: — Поздравляю вас от всей души. Вы награждены орденом Красного Знамени.

Байдалаков растерялся, он не знал, что ответить, что сказать. Как это не походило на его разговор с членом военного совета месяц назад!

— Товарищ дивизионный комиссар...— начал он.  
— Поздравляю,— повторил член Военного совета. И вдруг, вспомнив все наставительно сказал: — Только, смотрите, не пейте!  
— Да я и не пью,— разозлился, вспоминая, Байдалаков,— я...  
— Ладно, ладно! Не пейте, и тогда не надо будет оправдываться.  
И член Военного совета вышел из землянки.  
— Нет, ты только подумай! — с досадой сказал, обращаясь к Крапивину, Байдалаков.

— Поздравляю тебя,— засмеялся Крапивин.— Я очень, очень рад тебе.— Свесив ноги с кровати, он вдруг сказал: — Знаешь, Алеша, когда по-настоящему понял, что мы победили?

— Мы еще не победили, еще столько надо сделать! Еще, ух, сколько трудов и трудностей впереди! Еще бои и бои...

— Полно, Алеша! Я все это понимаю. А все-таки знаешь, когда я понял, что мы победили? Шестого ноября, когда мы слушали в землянке речь товарища Сталина! Помнишь, еще утром какие мы ходили расстроенные! Все отступаем, и никаких просветов, и все рухнуло в душе. Жизнь каждый из нас с охотой бы тогда отдал, чтобы все повернулось... И вдруг этот голос... Это спокойствие! Эта уверенность! Этот расчет! Вера в народ! Понимание! Я сам на голову выше и сильнее стал, когда речь эту слушал. А тогда думал, что вот так же Москву, Сталина с замиранием сердца, боясь пропустить хоть один звук, слушают в кубриках кораблей на Баренцевом море и в Ленинграде, и в землянках в лесу, и в степных колхозах, и в садах, и на аэродроме. Эта речь еще не кончилась, она еще длилась, а ведь мы с тобой уже знали, что и через сто лет ее дети в школах выучатся читать будут! Вот тогда я понял, что мы победим... А ты?

— Знаешь, Борис, ты сейчас очень торжественные слова говоришь.. А на самом деле, конечно, так! Только, знаешь, как еще надо будет бороться за победу... Ух!—И Байдалаков зажмурился.

Глебов пошевелился и, еще спросонья, спросил:

— Товарищ комиссар, который час? Когда приказано выступать?

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Судьбы героев этой повести остались в книге незавершенными. Вместе с судьбами миллионов граждан нашего отечества, вместе с судьбами грядущих поколений они решаются сегодня на полях сражений отечественной войны. Великий бой еще не кончен!

В дни, когда дописываются эти строки, гвардейский полк, которым командует Борис Крапивин, ведет упорный, ожесточенный бой с врагом. Его бойцы как былинные богатыри, сражаются за свою родину, чтобы снова буйно зацвели поля наши, и снова земля наша до краев наполнилась радостью творческого труда, обилием и счастьем.

*Действующая армия.  
Беломорск*

МИХ. МАТУСОВСКИЙ

## РОССИЯ

Нылает степь, насколько хватит  
глаз,  
То голубым, то красным, то зеленым.  
Достаточно ее увидеть раз,  
Чтоб быть в нее без памяти  
влюбленным.

Кто знает, как бессмертен наш  
народ,  
Какие нам доступны будут дали.  
Нашей судьбой на сотни лет вперед  
Мы всей земле загадку загадали.

Нам будущее видно, как с горы,  
И наш язык стремителен и ярок.  
Мы были так богаты и щедры,  
Что дали миру Пушкина в подарок.

И наши битвы, битвы и дела,  
И города, и росписи по своду,  
И в золоте червленом купола  
Под силу лишь великому народу.

Мы нашу правду поклялись сберечь,  
Мы нашу древность возродили  
снова.  
Мы дали людям ленинскую речь,  
Мы воплотили сталинское слово.

Того, кто с нашей вольностью  
знаком,

Не приучить к покорству и оковам.  
Мы знали лед на озере Чудском.  
Мы помним кровь на поле  
Куликовом.

Когда бывали войны на Руси,  
Мы на смерть шли, одно лишь  
твердо зная —  
Что рядом за «шелюмянем осей» —  
Родное небо и земля родная.

Где не ступала русская нога,  
Где есть преграда выводам  
орлиным?  
Слышали нас альпийские снега,  
Видали нас под сумрачным  
Берлином...

Страдая с ним и бережно любя  
Его характер и его природу,  
Как счастлив я, что чувствую себя  
Одной пылинкой этого народа...

Великодушной, мудрой, молодой,  
Пожарами и гневом озаренной,  
Окрепшей под кремлевскую звездой,  
Не быть, не быть России  
покоренной!

*Северо-западный фронт*

СЕРГЕЙ МАРКОВ

## В ТЕ ДНИ...

Железный холод подступил  
к Москве,  
Огонь и стужа встретили врага...  
И штыки мерцали в грозной синеве,  
И голубели жесткие снега.

Враг осквернил нетронутую синь,  
Провел в полях пылающую грань...  
Сладчайшие названия — Медынь,  
Звенигород, Путивль и Оболянь,  
Широкий Днепр и тихая Тверца,  
Озерный край и крымские сады —  
Взывали к вам, отражные сердца,  
И ваша доблесть растопляла льды.

Так пусть историк подберет слова,  
Чтоб рассказать, как встретила  
врага  
Мать городов — бессмертная  
Москва,  
Спокойна, величава и строга!

Еще в долинах подмосковных рек,  
Что помнили татарские шатры,  
Шумел хвастливый рейнский  
печенег,  
Справлял свои кровавые пиры.

Еще над краем ледяных пусты  
Шумел огонь и колыбалась мг  
И на камнях разрушенных  
святых  
Обугленные корчились тела...

Страна клялась твердынею Кремля  
Штыки — на запад! Нет пути  
назад!  
Поруганные русские поля  
Воспрянут, не забудут, не прост...

Величье дальних подступов, гд  
На острие гвардейского штыка  
Краснее крови и нежней зари,  
И светлое, как наши облака!

Когда уста стальные батарей  
Произнесли последний приговор  
Тела длинноголовых дикарей  
Усеяли сверкающий простор.

В Можайск вступают красные  
войска  
Далеко слышны грозные шаги,  
Прекрасней солнце, чище облака  
Когда молчат убитые враги.

ЛЕВ КАССИЛЬ

## ВДОВА КОРАБЛЯ

Рассказ

**Ш**аль эту мы выбирали вместе: боцман и я. Накануне Трофим Егорович Штыренко пришел в мою каюту, помялся немного, спросил, чтобы со-блюдности приличия, не засоряется ли у меня умывальник, отвернул кран, пустил воду, убедился, что все исправно, а потом, как бы собираясь уходить, смущенно обмывая на себе робу, проговорил:

— Вы не будете такие добрые, что завтра сходите со мной до города. Хочу присмотреть гостиницу для жинки. Шаль, там, какую иль, мабуть, одеяло и прочее. В целом сказать, чтобы была память за Испанию.

Я согласился.

— Ну, и спасибо,— обрадовался он.— А то я сам никогда ихнего бабьего скуса не понимаю, что им такое требуется. А вы, как помоложе, то, конечно, в этом деле еще разбираетесь. Так вот, будьте добрые, найдите времечко.

Наш теплоход «Менделеев» стоял под выгрузкой близ Валенсии. В Испании шла война, и далеко, за семью морями отсюда, дома, тревожились за нас же-ны. Рейс был опасный.

Из Батуми мы ушли ночью, нас никто не провожал. Со всеми простились еще с вечера. Я слышал, как в конторе порта наш старый боцман гудел в телефон, прикрыв рожок трубки своими синими обвисшими усами:

— Ну, счастливо, Феня, бывай здоровенька. Не сумлевайся, все в поряд-ке будет... Феня... Фе-э-эня!.. Ты слухай!..

Он вздохнул, покосился на меня, совсем зарылся усами в трубку.

— Главное, зря не сумлевайся. Вполне обыкновенный рейс. К сроку бу-дем. Здоровье береги, Фенечка. Деньги в конторе двенадцатого получишь. Ну счастливо, Фенечка.— Он медленно, как допитый стакан, отнял трубку от рта, бережно повесил ее на рычажок аппарата и клетчатым платком, куп-ленным в Стамбуле, отер усы.

Я никогда не видел его жены, но по той нежности, с какой он говорил о своей Фене, и по осторожным шуткам, которыми команда намекала на за-поздалую любовь нашего боцмана, составил себе довольно ясный портрет супруги Трофима Егоровича. То была маленькая тихая женщина, привыкшая терпеливо спосить долгую разлуку и благодарно радоваться недолгим дням сви-даний, которые не так-то часты в семейной жизни моряка дальнего плава-ния. Я охотно согласился помочь боцману и пойти с ним выбирать гостиницу, чтобы угодить его Фене.

Ночью нас бомбили. Пароход, стоявший под мексиканским флагом у стены недалеко от нас, загорелся. У нас, на «Менделееве», все обошлось без происшествий.

Утром, пока мы шли от порта до города, Штыренко рассказывал мне о том, как хорошо у него дома и до чего славно живут они с женой, и как она о радуется гостинцу.

В лучшем магазине Валенсии «Ольтра» мы добрый час выбирали подарки для Фени. Увидев на мусей фуражке золотого краба с красной звездой — герб Советского флота, и узнав, что мы «мариное дель барко руссо» — моряки советского корабля, продавцы радушно выложили перед нами самые лучшие товары. Для нас расстилали на прилавках знаменитые валенсийские одеяла. Ротондатореадоры и пляшущие девушки были изображены на них. Они были легки как пух, эти одеяла, и так мягко ворсены, что края, казалось, иставляют воздух. Но выяснилось, что у жены боцмана уже есть дома хорошее одеяло. И, кроме того, Трофим Егорович хотел привезти своей Фене такой гостинец, чтобы она могла в нем покрасоваться перед людьми.

— Только что-нибудь такое, поглаже. Да чтобы в глаза очень не шло, — объяснял мне Штыренко. — А то не наденет, она у меня тихая, в целом сказать. Да и годы ее уж под смиренный цвет подходят. Вот что-нибудь такое.

И после долгих изыскательных поисков мы, наконец, выбрали шаль. К вам описать эту шаль?.. Вот, если бы снег был черным и из черных микроскопических звездочек-снежинок одна с одной — было бы сплетено кружево, вот тогда бы, наверно, получилась шаль, которую мы выбрали с Трофимом Егоровичем в магазине «Ольтра». Она казалась сыгучей, готовой развеяться от дуновения ветра и осесть черными снежинками на прилавке. Продавец растрогал шаль, взмахнул ею, как матадор плащом, и над нами пронеслась такая теплая, вся в блестках, вся прохваченная насквозь мерцающим светом. Потом продавец скомкал ее, взял боцмана за руку, спял с его твердого пальца мое обручальное кольцо и пропустил через него всю шаль. Пышное кружево прошло сквозь узкий ободок, как черный песок через воронку песочных часов.

Эту шаль мы и выбрали для жены Трофима Егоровича.

На «Менделееве» шаль тоже одобрили. Вся команда перебивалась в каюту Трофима Егоровича. Боцман для каждого с великой охотой распаковывал свет, и перед глазами матросов, механиков, мотористов, электриков излучалась чернозвездная теплая кружевной испанской шали. А вечером сменившийся с вахты моторист Валахов, настроив гитару, пел нам, вздыхая и шепотом, митивая боцману:

Смотрю, как безумный, на черную шаль  
И холодную душу терзает печаль...

Трофим Егорович, довольный и сконфуженный, топоришил усы.

Что было с нами на обратном пути, вы, вероятно, помните, если читаете газеты.

Мы возвращались домой и уже прошли мыс Матапан. Справа оставался греческий остров Кифера. По голым каменистым склонам берега бродили белые овцы. Как всегда, когда корабль проходил это место, Штыренко, убежденно гудя в усы, рассказывал, что греческие пастухи пацелляют тут своим зеленым очкам, чтобы они лишились и всякую там дрянь за траву считали. До того это бедная местность...

Так разговаривали мы, сидя на палубе за камбузом. Валахов лениво

шныпывал какую-то мелодию на гитаре. Солнце уже садилось за Матапан... И в это время вахтенный затопал над нами, скатился вниз с мостика и сиропил нас, где капитан. Вид у него был такой, что мы сразу все вскочили и кинулись к борту. Пока я старался рассмотреть, что происходит на море, главный Штыренко, уже все появив с одного взгляда, негромко и озабоченно пробасил:

— Подводная лодка на нас идет... Как в газетах пишут, неизвестной национальности, но по всей ясной видимости, что сволочь... А ну, хлопцы, в целом сказать, давай по местам! Живенько, моментом!

Навстречу нам от архипелага, буравя волны, оставляя пенный след, неслось узкое, злое и горбатое тело подводной лодки. Она мчалась прямехонько на нас. Нас уже предупреждали по радио о том, что в этих водах шпыряют единственные подлодки, топя мирные суда, идущие в Испанию или возвращающиеся оттуда. И мы поняли, что предетонт...

Сигналами нам приказали остановиться и дали десять минут на то, чтобы спустить шлюпки и оставить судно. Для большей убедительности, чтобы погоропить нас, с лодки выстрелили из орудия, и снаряд проверещал над нашими мачтами.

— Паразиты, чтобы им якорем печонки повыскребло,— пробормотал Штыренко.

По приказанию капитана, он распоряжался посадкой на шлюпки. Все уже спустились, матросы, стоя на взлетающих шлюпках, отталкивались веслами от борта корабля. На палубе оставался лишь боцман. Он хозяйственно связывал мешки с провизией, принес хлеб, опять побежал куда-то. В эту минуту, без предупреждения, лодка пустила торпеду. На шлюпках заметили ее пенный след и стали быстро отгребать в сторону.

— Штыренко, прыгайте! — приказал капитан, и боцман понял, в чем дело. Он вскочил на планшир и бросился в воду. Но вместо обычного всплеска косяматый столб воды, пронзенной огнем, ревя, встал там под самым бортом «Менделеева». Корабль стал оседать на корму. Мы увидели среди обломков на воде, на которой расплывались бронзовые круги нефти, голову Штыренко. Обе шлюпки разом повернули к нему еще до того, как прозвучала команда. Люди не думали о гибельном водовороте, в который неминуемо втянет шлюпки, если они окажутся близко от опрокидывающегося судна. Штыренко вытащили на шлюпку. Боцман был тяжело ранен. Когда стали стаскивать с него робу, чтобы сделать перевязку, он застонал, прикусив обвисший седой ус, и тихо предупредил:

— Полегче, хлопцы, кровью не замажьте,— и стал тащить из просторного кармана робы мокрую черную шаль.

Часа через три мы добрались до острова Кифера. И там, на берегу, мы похоронили нашего боцмана. Перед самой смертью он взял меня за рукав, тихонько притянул к себе, чтобы я нагнулся, и жесткие усы его укололи мне ухо.

— Шаль ту... Фене передашь... Ребята адрес скажут... Передашь? Вместе выбирали. Цвет правильный, пришелся... по форме... к случаю... Нехай носит по мне...

На могиле боцмана мы сложили памятник из камня, укрепили обломок качты «Менделеева» и привязали к ней спасательный круг с нашего корабля. Мне не удалось самому вручить шаль вдове Штыренко. После возвращения на родину меня сразу вызвали в Москву. Моторист Валахов отвез вдове нашего боцмана шаль вместе с моим письмом.

Года через три я попал в Поворосскийск. Дела привели меня в порт. И там на берегу, когда я уже собирался уезжать, до моего слуха долетели слова, ставившие меня повернуться:

— «Штыренко» еще не приходил?—спросил кто-то у человека в морской форме, стоявшего у ворот порта.

— «Штыренко» с утра должен был прийти,— отвечал тот равнодушно. Только это вам не железная дорога, гражданин. На море всяко бывает. Через час, полагаю, будет.

«Штыренко» пришел через три часа. Это было маленькое парусно-моторное судно, двухмачтовое, не очень опрятное, видимо, запущенное. Но когда увидел на спасательных кругах надпись «Штыренко», я ощутил волнение, которое должен был испытать Маяковский, впервые увидев «Теодора Нетте» у него не человеком, а пароходом.

«Здравствуй, Трофим Егорыч,— хотелось крикнуть мне.— Как я рад, что ты живой— дымной жизнью труб, канатов и крюков...»

И когда загудел на корабле тифон, мне показалось, что это наш боец своим знакомым гулящим баском стал звать жену: «Фе-э-э-ня!»

— Прибыл-таки, наконец,— услышал я позади себя женский голос, грубой и сердитый. Я обернулся. За мной стояла высокая дородная женщина. Упершись в бока крепкими узловатыми руками, она смотрела на подходящий корабль строгим, неодобряющим взглядом. На могучие плечи ее была накинута черная кружевная шаль, которую я узнал с первого взгляда. Я хотел заговорить с ней, но она промчалась мимо меня, в развевающейся шали. И ед с причалившей к стенке бухты опустили сходни, у них появилась рослая фигура в черной шали.

— Эй, на «Штыренко»!— зычным раскатистым голосом позвала женщина. — Ты что ясны очи выставил?— прикривнула она на молодого матроса, вышедшего на ее зов. — Я тебе такое скажу, сразу заморгаешь. Давай скажи капитану вашего, я ему, водошлепу, выскажу, что причитається. — Она стала грозно подниматься по сходням. Доски гнулись под ней. Матрос пытался изменить ей путь, но она пренебрежительно отвела его рукой в сторону. Матушки родимые, чистый трактир развели, засвинячили корабель. Это раз судно? Тараканья лоханка это! Ах вы курошлепы, демоны, барбосы. Эх, Трофим Егорыча на вас нет. Знал бы он, на каком страхе его фамилию держат так раскидал бы всю могилку свою, бедняжка, на Кяфере, да изобразил вам всем своими словами, чтобы вы могли понимать, какие вы есть. Что вам всем бишки вымолило, бичкомеры.

Это было уже слишком. «Бички», или бичкомеры,— это старая презрительная кличка моряков, которые не дорожат своим судном, готовы идти на любой корабль. Всякий уважающий себя советский моряк презирает бичков, почитает эту кличку оскорбительной.

— А ты кто такая? — спросил матрос, воспользовавшись тем, что женщина, наконец, перевела дух.

— Я вашему судну вдовой прихожусь, вот кто я! Скажи капитану Аграфена Васильевича Штыренко пришла и хочет с ним иметь разговор.

— Косюк,— закричал матрос,— скажи капитану, что штыренкина со мной была.

Через минуту вся немногочисленная команда «Штыренко» вылезла на палубу. Капитан, маленький живой абхазец Джахаев, почтительно пожал



вдове и представил ей других членов команды: своего помощника Тошусова, моториста Семенова, рулевого Косюка и кока Галюшкина.

— Галюшкин, — застенчиво поправил молоденький кок, сделав ударение на первом слоге.

Тут же капитан стал объяснять вдове, что судно только что возило марганцевую руду из Чнатур, а известно, что после нее сразу корабль не отскребешь. А что касается опоздания, то на это были также свои веские причины. Но вдова была неумолнима.

— Никогда вы эдак не отмоете, — наступала она на капитана. — Вы только поглядите, разве так приборку делают? Морду себе небось перед свиданкой не так скоблите. А сейчас только грязь по палубе развозите. Что вы, ребята, на самом деле!.. Нет, морячки, у нас с вами большой разговор будет. Уж если такое название дали себе — вот у вас всюду написано: Штыренко, Штыренко, — то уж надо все соблюдать, как полагается. Что я сама не служила, что ли? Двадцать три года ходила, все моря облазила, все ветра нюхала, из-за ревматизма только и ушла. Я такого безобразия сроду не видела. Трофим Егорыч моряк был во всем справный. Мы и уголь возили, когда приходилось, а ни шута подобного безобразия у нас не было. Товарищ капитан, я этого дела так не оставляю. Или чтобы все было, как следует, или я в управлении кому надо слово скажу, чтобы у вас имя сняли. Я своего Трофима Егорыча пакостить не дам. Вот весь мой сказ.

Через год я был в управлении Черноморского торгового флота. Мне захотелось узнать, как идут дела на «Штыренко».

— Ну что же, — сказали мне, — судно, конечно, не очень видное, план у него не ахти какой большой, но справляется молодцом. У них там история была забавная. Этого самого Штыренко вдова прямо истерзала их. А ребята там хорошие. Молодежь все. Только сперва обижались, что их на такую маленькую посудинку определили. А эта вдова не давала им, прямо, ни сна, ни отдыха. Ну, и добила своего. Теперь у них там и портрет Штыренко в кубрике висит — вдова подарила. Вообще, все честь-честью.

Может быть, вам попалась на глаза маленькая заметка в «Правде», она называлась «Последний рейс «Штыренко»». Если вам интересно, я расскажу, как было дело, так как участвовал в этом рейсе.

Весной этого года я снова попал на палубу «Штыренко». Я встретил его у стенки мола. На нем только что кончилась приборка. Все сверкало на корабльке. И отмытый до блеска, оттертый скребками, только что окаченный из браунсшпитов, словно помолодевший, много свернув паруса, он предстал передо мной, как человек, с которого в парикмахерской только что сдернули простыню. Дорожная женщина тряпочкой очень по-домашнему обтирала на корме ствол зенитного пулемета.

— Знакомьтесь, — сказал мне капитан Джахаев, — Аграфена Васильевна Штыренко, тетя Феня, так сказать почетная вдова нашего корабля.

— Мы как будто знакомы, — сказал я.

— С первых дней войны у нас работает, — продолжал капитан. — Явилась прямо с вещами и говорит: «Теперь не время мне на берегу отсыпываться. Вот вам моя мореходка, документы все при мне. Давайте, какая есть у вас работа. Притожусь еще».

— А что, неправда? — откликнулась вдова.

Аграфена Васильевна, тетя Феня, была у нас чем-то вроде уборщицы,

помогала она также и коку. Судно было небольшое, двести тонн, экипаж маленький. Дело находилось. И хотя характер у Аграфены Васильевны не исправился, к ней все очень привязались.

Недавно мы получили задание — отвезти боеприпасы на одну батарею. Берег там был занят немцами. Но как раз против входа в бухту расположился искусственный островок. На нем есть крепость. Через весь остров пробит тоннель. В нем имеются входы в казематы, электростанция, пекарня — все это скрыто под землей. А сверху посажены маслины, акации, устроен палисадник и в зелени незаметно укрылась батарея. Остров этот лежит дугой перед входом в бухту, словно подкова прибита на счастье. Только эта подкова была тут немцам на горе.

Батарея наша была с островка, беспокоила немцев. Но подошли к концу снаряды. Все запасы были израсходованы. Командование вызвало капитана Джахаева и дало ему задание: доставить на остров снаряды.

Вечером Джахаев собрал наш маленький экипаж и передал приказ: «Дело трудное, но почетное, — сказал капитан, — доверие, одним словом, оказано. Вопрос ясен».

Мы решили в этот рейс вояку нашу не брать. Дело опасное, крайне рискованное. Капитан нарочно отпустил Аграфену Васильевну до утра в город. А ночью мы тихонько спялись, подошли к известному месту, приняли груз и взяли курс на остров. Шли мы в полной тьме, не зажигая огней. Вдруг у входа в каюту я наткнулся на кого-то. Черная фигура показалась мне незнакомой. «Это кто тут?» — спросил я.

— Кто? — услышал я в ответ. — Уже и признавать не хотите! Это вы что же, барбосы, от меня богаты вздумали? И есть у вас после этого совесть или вы ее на берегу оставили.

Передо мной в своей черной шали стояла тетя Феня. На шум спустился капитан.

— Ну, что, понимаете, за баба такая, — пробормотал он.

Стали выяснять, каким образом тетя Феня разузнала, что мы уходим? Как она попала на корабль? Оказывается, часовой на берегу просто пропустил тетю Феню, так как документы были при ней. А ребята, видно, в темноте проморгали. Она укуталась в свою черную шаль и прошла незаметно в каюту. Капитан даже рассердился, плюнул и накричал на Аграфену Васильевну. Но тетя Феня была не из таких, чтобы разрешить кричать на себя.

— Ты на меня не гавкай, капитан, — промолвила она и перекинула конец шали через плечо. — Я и в мирное время никому не позволяла, чтобы на меня голосом закидывались, а в военное время совсем не допущу.

Мы пробовали объяснить ей, что рейс у нас особенный и мы не хотели подвергать ее опасности.

— Значит, соленные огурцы возить — тетя Феня, пожалуйста, а как настоящее дело, так тетю Феню за борт. Очень премного вам благодарна. — Неожиданно она всхлинула. — А что у тети Фени покойный муж от чортовой фашистской торпеды погиб, это забыли? Забыли про моего Трофима Егорыча. Вы еще по берегу на карачках ползали, а я уже все моря обошла. У меня свой счет для фашистов принасен. У меня с ними война с того дня идет, как Трофима Егорыча они убили... Говорите лучше, чего мне делать сейчас, за что приниматься?

Капитан только рукой махнул.

Нам нужно было проскочить мимо берега ночью. Днем бы нас немцы раз-  
делали из своих орудий. Известно было, что фарватер там между островом и  
берегом весь минирован и есть мели. Мы пробирались тихонько, идя самым  
малым ходом. Потом капитан велел совсем выключить дизель. Судно у нас  
было моторно-парусным. Подул подходящий ветерок, мы подняли гафель и  
осторожно двигались по фарватеру. В три часа ночи стали около островка.

Немец начал пускать ракеты. Нас, как будто, сперва не заметили. Мы на-  
гружали первую шлюпку порохом, и вот тут началось... Большая ракета освещ-  
тила нас, и мы почувствовали себя голенькими, будто вместе с тьмой содрали  
с нас и одежду. Немцы стали бить по нас залпами. Они стреляли и по кре-  
пости и по «Штыренко». Командир крепости приказал нам укрыться на ост-  
ровке. Но наша вдова опять заупрямилась.

— Не стану своим весом порох вытеснять.

Сперва мы не поняли даже, о чем идет речь. Тогда она очень деловито  
объяснила, что весит, мол, больше восьмидесяти шести кило, раз, и лучше  
вместо нее на шлюпку еще несколько бапок пороху забрать — два...

Снарядом у нас срубило кормовую мачту. Через минуту продырявило верх-  
нюю палубу, разбило каюту. Тетя Феня бегала с огнетушителем, затылывала  
огонь, покрикивала на нас:

— Давайте, паренечки, орудуйте! Шуруйте, хлопцы. Не дадим Трофиму  
Егорыча фашисюкам в обиду. Чтоб им кинки на брашпиль навернуло, куро-  
слепам. Давай, моряки, ходи веселей!

Завыл воздух, и снарядом пробило писквозь машинное отделение. Внутрь  
хлынула вода.

— Болт! — сказал капитан. — Подзаныр пойдем.

Наша корма стала погружаться в воду. Уже заливало палубу. По на наше  
счастье место там неглубокое. Мы врезались кормой в грунт. Трюм у нас был  
под водой, но дальше мы не погружались. Немцы прекратили огонь — решили,  
видимо, что потопили нас. Мы стояли по грудь в воде, держась за поручни на  
затопленной палубе, и решали, что делать дальше. Может, как-нибудь еще до-  
станем снаряды из трюма? Командант крепости, когда мы прибыли, сказал:  
«Нам лучше хлеба не давайте, а снаряды спасите...»

Посудинка наша и так валится на бок, а если еще тут из трюма снаряды  
вытащить, совсем на перекувырк пойдет.

И тут золотая наша вдовушка причесоветовала нам:

— Вы, хлопцы, привяжите судно концами за деревья, что на острове, оно  
и не перевернется, ветер-то навалыйный...

Это был превосходный совет, но берег отстоял от нас метров на пятьдесят.  
Моторист Семенов и рулевой Косюк поплыли в темноту, подтянули концы, об-  
мотали ими деревья, закрепили корабль за переднюю мачту и за корму. По-  
дул небольшой ветерок. Пошла зыбь. Нас покачивало, и, скривив во тьме, по-  
качивались, с нами в лад, деревья на островке. Семенов и Косюк вернулись  
на судно, отдыхались и стали поочереди нырять в трюм. Но снаряды мы при-  
вели тяжелые — каждый пудов по восемь. Мы тогда что сделали? Мы взяли  
пеньковые копцы, приделали к ним крючки, Косюк и Семенов ныряли в трюм,  
нащупывали снаряд, охватывали его петлей, а мы на палубе вытяскивали на-  
верх; потом тащили снаряды на шлюпки и отправляли на берег. Так мы ра-  
ботали всю ночь.

Уже начало светать, когда мы грузили последнюю шлюпку. Капитан опять

стал уговаривать Аграфену Васильевну немедленно сойти с судна. Тетя Ф зачепела в воде. Она уже еле губами шевелила, но мы расслышали:

— Бросьте вы, ребята, этот разговор. Не о том забота... И так шлю с перегрузом идет, а я свои телеса прибавлю — куда же тут?..

Когда последняя шлюпка была разгружена, капитан сам отправился на за вдовушкой и коком, которые оставались на «Штыренко». Но когда возвращались, было уже так светло, что немцы заметили шлюпку и открыли по ней огонь из миномета. Осколком мины капитана ударило в руку. Ей одна мина взорвалась у самой шлюпки, разнесла ее, и когда опала вкинута вверх вода, Джахаев и Галюшкин увидели на поверхности черную шаль, медленно уходящую в воду. Загребая одной рукой, кинулся туда капитан. Галюшкин вырнул и не дал Аграфене Васильевне уйти на дно. Кое-как они добрались до островка, с двух сторон придерживая тетю Феню. Она была ранена в грудь и в голову. В каземате ей сделали перевязку. Она открыла глаза.

— Все взяли?

— Все.

— Ничего не осталось?

— Ничего, тетя Феня.

— И я все свое взяла, — проговорила она. — Сходила-таки в последний рейс с Трофимом Егорычем. — Она помолчала немножко и, обведя нас медленным взором, словно стараясь запомнить каждого, тихо сказала:

— Отбываю, паречечки... счастливо вам... штыренковцы...

В первый раз она назвала нас так. Потом попросила поднять ее к амбразуру, чтобы проститься с морем.

Рассвело, начался прилив. Все выше и выше поднималась вода. Вот уже на нашем корабле залило крышу каюты, потом только мачта осталась на поверхности. И сказала нам тетя Феня: — Вот, как она в воду уйдет, так и я с пей... — И стала собирать на себя мокрую черную шаль, из рук не выпускала ее. Натянула шаль по грудь, по плечи, потом, словно хотела покрывшись ей, подняла руку к голове. И упала рука.

Невольно мы все обернулись к морю. Только прибой там шумел, волны катились по проливчику, и ничего не осталось от нашего «Штыренко».

Мы похоронили тетю Феню тут же на островке в крепости, между камнями, в углу палисадничка, под акациями. Проволокой укрепили круг с нашего корабля и на круге приписали — Аграфена Васильевна. Получилось: «Аграфена Васильевна Штыренко», — и повили круг сбоку черной шалью.

Молча, обнажив понурые головы, стоял наш экипаж у могилы. Ребята даже переодеться не успели. Утренний холодный ветер пробирал нас, но мы стояли не шевелясь. Капитан Джахаев вышел вперед и сказал короткую речь.

— Прощай, хороший человек, Аграфена Васильевна, подруга моряка, хозяйка корабля нашего. Спасибо тебе. Матерью ты нам была, тетя Феня.

Рассвело. Немцы на берегу зашевелились. И комендант надел фуражку.

— Товарищи моряки, попрошу в казематы. Мы почтим вдову нашего корабля таким артиллерийским салютом, какого ни одному адмиралу не давали.

И задрожал, заходил кодуном остров, над могилой тети Фени заревели и ставленные нами снаряды. Дымом и пылью закрылся весь тот берег, запылали немецкие казармы. Немцы начали отвечать, но скоро их батареи умолкли, и давленные мстительным огнем с островка. А батарея наша все била и била. Яростный, гремящий воздух, казалось, пригибал акации в палисадничке. И на каждом залпе слегка вздымалась траурная шаль на белом пробковом круге.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

## 30 СЕКУНД

(Из записок летчика Ч.)

### 1

Когда ты говоришь о быстроте,  
Рассказывай замедленно, иначе  
Все очертанья растекутся в дым.

Потело их двенадцать. Я один.  
Уйти? Пожалуй, поздно. Тут

Решалось только быстротой  
сраженья:  
И я рискнул! Случилось это утром

На высоте 3 500.

### 2

Бой работает, как мысль!  
Это небо и биплан,  
Этот мир летящих миль —  
Все слилось в единый план.

Вьются свадьбы нумерных  
Сблизившихся в пары птиц...  
Ну-ка, сокол! Прямо в них  
По секущей напустись!  
Белой трассой бьют они —  
Только пули не попад.  
Липь огни, огни, огни,  
Как на солнце звездопад.  
Я врываюсь головой  
Прямо в эти «мессера»,  
Воздух нежно-голубой  
Красной трассой озаря!

А вокруг меня они:  
Все кресты, кресты, кресты...

Только им с моей брони  
Даже лак не соскresti.  
Объегорил я врага:  
Как вести со мной войну?  
Чуть промаз — наверняка  
Угодят по своему.

Но сереет на земле —  
Ввысь туманы забрели:  
Растекаются во мгле  
И турели и рули...  
И ни зги среди бела дня —  
Только цифры едут вкось,  
Точно мир вокруг меня  
«Сто девятками» оброс.

### 3

Тогда я от ведущего отбил  
Ведомого. Я звал его к дуэли  
В прогалину голубизны. И вот  
На встречных курсах две стальных  
машины,  
Как вьюгами просвиستانные  
льдины,  
Помчались друг на друга блик  
о блик.

Мои пятьсот да и его пятьсот...  
Но он не выдержал.

Мы разминулись  
На волосок. И только близко,  
близко  
Туманная полоска промелькнула,

Как берег на далеком горизонте.  
Он, видимо, был очень молод. Я  
Сузу об этом по тому, что «мессер»  
Не догадался тут же подсосаться  
К течению вихря за моим хвостом.  
Огромная ошибка! У меня  
Секунды оказались выше! Миг —  
И я у хвостового оперенья.

Он хочет увернуться, оторваться,  
Страхнуть с себя крылатую акулу,  
Плывущую в его струе. Но я  
Уже принал к прицельному стеклу  
И в огневом с деленьями кольце,  
Который под крестом пересекали  
Две электрические паутины,  
Увидел очертанья самолета.

Теперь вся анатомия его  
Была расчленена по цифрам. Бью!  
Вот он пошел безумными кругами,  
Прихрамывая на одно крыло;  
Вот завалился на бок и упал,  
Напоминая мельницу в пожаре,

Огнями вниз... Кружась,  
кружась,  
кружась,  
Как бы тасуя за крылом  
И быстро уменьшаясь...

4

Если время не засекут,  
Сердце выстучает ого!  
Ровно тридцать прошло со  
Юность возраста моего:  
Мальчиком я подымался в  
Зрелым мужем вернулся в.

Но если бы старость отме

Тою же мерой в 30 секунд  
Снова бы я залетел под зу  
Не заботясь о седиле,  
Минутой одной в голубом  
Выразив сразу жизнь свою.

*Действующая армия, 1942*

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

## КАПИТАН СИВЕРЦЕВ

Капитан Сиверцев боком сидит на складном стуле. Правая рука его, с желтыми от пода кончиками пальцев, бессильная и тяжелая, висит на груди в зеленой, защитного цвета, косынке.

Не отрывая глаз от стереотрубы, капитан Сиверцев диктует телефонисту цифры. Телефонист передает цифры на батарею. Батарея находится в шести километрах позади ИИ — в лесу. Орудия отвечают глухим, как слово «да», выстрелом. Через несколько секунд с раздрающим шелестом пролетает снаряд.

В расположении немцев подымается на воздух черный сугроб земли. Звук разрыва доносится только тогда, когда дымящаяся куча медленно опадающих обломков исчезает из поля зрения.

В блиндаже сыро, как в погребе, и тесно. В амбразуры невооруженным глазом видны немецкие окопы, трясущая пыль от пулеметных очередей.

Капитану Сиверцеву на вид лет сорок. Сухое лицо. Одет со строгой щеголеватостью кадрового командира.

На наблюдательном пункте, который находится от немцев в 700 метрах, он расположился с удобствами. Нары накрыты теплым одеялом, в изголовьи толстая белая подушка. На фанерной доске бритвенный прибор, зеркало, большой синий чайник с квасом.

Это неважно, что за двое суток капитан только один раз прилет. Важно то, что здесь, в семистах метрах от немцев, более уютно, чем на ИИ, который находится далеко, там, позади, на опушке леса.

За двое суток непрерывного наблюдения капитан засекает огневые точки на переднем крае противника. И теперь, называя сухие цифры, он давит зарывшиеся в складках нашей земли немцев.

— Но это пока все «воши», — так выражается связист Грызлов, сидящий на корточках у влажной стены.

Самое трудное впереди. Предстоит дуэль с немецкой тяжелой батареей, которая сейчас молчит.

Эта немецкая батарея пристреляна по собственному переднему краю. Когда наша пехота прорвет укрепления, немецкая тяжелая батарея постарается накрыть нашу пехоту. Этот маневр оборонительного огня является одной из разгаданных особенностей тактики немецкой обороны.

И вот в момент штурма, когда немецкая батарея выявит себя, ее нужно разбить.

От исхода поединка во многом зависит план операции.

Когда капитан отводит лицо от стереотрубы, чтобы дать передохнуть, паленным от напряжения глазам, сидящие у стены бойцы взвода управлен вскакивают и вытягиваются. Капитан снова обращает усталое лицо к стеклу. Бойцы медленно садятся, не сводя настороженного взгляда со спины капитана. Бойцы знают — командир придирчив. Жестокое прямое слово свойствен ему.

Вчера утром, когда капитан, лежа на нарах, отдыхал, разведчики и вели в блиндаж пожилую женщину. Она плакала, хватала бойцов за плечи все спрашивала: действительно ли они свои, русские? Она казалась помещикой.

Капитан спросил женщину, что она делала в лесу. Женщина сказала:

— У меня в доме немецкие офицеры живут. Они очень землянику любят. Я каждый день хожу для них ягоды собирать. А если приношу мало, они меня по голове книжалами в чехлах бьют. И всю мне память отшибли, от этой стала глупая.

Капитан подвел женщину к стереотрубе. Поставил стереотрубу на деревянные козлы, попросил женщину указать, где ее дом.

Женщина, глядя в трубу, испуганно воскликнула:

— Вот тот, меж двух тополей, которые в грачиных гнездах.

Капитан на секунду припал к трубе, потом подал команду:

— Правее поля шестнадцать — два снаряда фугасными, второе орудие огонь!

Когда взрывы смолкли, капитан попросил женщину снова посмотреть в трубу.

Женщина наклонилась и... вдруг бросилась на капитана и стала кричать на него и рвать на себе волосы.

Капитан стоял вытянувшись, с бледным лицом, и закрывал левой рукой простреленную руку, чтобы женщина не ушибла ее.

Потом капитан повернулся к бойцу, указывая на женщину, бросил и сказал:

— Отведите ее в Бугаево, что ли. Скажете в сельсовете, пусть устроится. Ей теперь жить негде.

И боец увел кричащую женщину.

Вечером эта женщина снова пришла к капитану. Она положила к нему сказала тихо:

— Вы простите меня, товарищ, я просто была какая-то неформальная.

Капитан сказал тоже тихо:

— Я понимаю вас.

Потом женщина поставила на стол крышку с земляникой и сказала:

— Вот, может, покушаете? — Помолчав, она сказала: — Я почему плакала. Вы думаете, хату жалко? — и совсем тихо добавила: — У меня до этого оставалась. Иной ее звали.

Все молчали. И это молчание было очень тяжелым. Женщина поправила платок, потом молча попрощалась со всеми за руку и ушла.

А земляника в крышке еще долго стояла в блиндаже, и на эту крышку бойцы смотрели так, как верующие на икону.

Всю ночь шел дождь, нагоняя тоску. Капитан сидел на нарах, баюкал свою руку и все курил. Бойцы тоже не спали и тоже все курили. И знали, что у капитана не так болит рука, как сердце. А разве такое се-



товом утешении! И бойцы ждали рассвета, потому что с рассветом должно было начаться наступление, и уж тогда они знали, как можно будет добыть желанное утешение.

На рассвете немцы стали бить из минометов по высоте, где был расположен наблюдательный пункт. Они решили выбить сначала во что бы то ни стало глаз у русской батареи.

Немцы очень спешили, их торопили, наверно, и они сразу открыли огонь из трех минометных батарей.

Но капитан не обращал внимания на огонь минометов, он сидел на складном стуле, отвернувшись от стереотрубы, и, склонив голову, перебирал холодные, обескровленные пальцы раненой руки. Капитан ждал.

В 7.10 начался штурм.

Поблескивая потертыми, как лемехи на плугах, траками, качаясь на рытвинах, поползли танки. За ними катились серые, кричащие волны пехоты. Как черные лезвия, прощеслись над передним краем немцев наши штурмовики.

А капитан все сидел, склонив голову, и, казалось, только прислушивался к биению своего сердца. Капитан сосредоточенно ждал того острого мгновения, когда от него, только от него одного будет зависеть все это огромное живое движение боя.

За кровь падающих бойцов, кровь танкистов, полуголыхших от бешеного локотного звона брони, по которой колотились немецкие снаряды, за кровь, за труд, мольбу, скорбь, разгневанные надежды родины и даже за этот кувшин с земляникой — за все должен ответить он. Или он выиграет поединок, или те, кто атакует сейчас врага, защищая свою родную землю, в то мгновение, когда радостное слово победа еще не отлетит с их губ, будут накрыты общим грозно притаившейся сейчас вражеской батареей.

Раздался глухой удар. Капитан насторожился, мельком бросил взгляд на часы — 7.30. Он встал, вынул папиросу, помял пальцами табак, дунул в мундштук. Движения его были замедленны — капитан отсчитывал секунды полета снаряда.

Лопнувший взрыв потряс почву. Ветер разрыва донесся сюда тугой, душной волной. Ветер, ушибающий насмерть, крутящий стальные осколки, словно черные осенние листья. Это был пристрелочный выстрел. За ним последует второй и даже, может быть, третий.

В интервалы между выстрелами, пощелкивая линейками, наклонясь над таблицами, немецкие офицеры будут сверять свои данные с данными звукометрической станции. Они самоуверенны, эти сволочи. И тоже, наверное, любят жрать русскую землянику, и чтобы сразу не зарезать русскую старую женщину, они предусмотрительно одевают на клинок ножны и только после этого бьют по голове. О, у них методика во всем!

Раздался первый залп.

Капитан, наклонившись к телефонисту, слушал донесения передовых разведывательных постов и кивал головой. Зажав коленями коробок, он чиркнул спичку и прикурнул.

Прозвучал второй залп.

С батареи донесли, что снаряд разорвался в расположении тракторов. Одна машина — выведена из строя.

Трое бойцов взвода управления стояли навтыжку у стен блиндажа и с

укором смотрели на командира, недоумевая, почему он до сих пор еще не крывает огня.

Капитан встал, прошелся по блиндажу, продолжая слушать донесен разведчиков. Почти все ясно. Нехватало только одного, но очень важного, казання. Капитан ждал. Он был спокоен.

Раздался третий залп.

С батареи сообщили, что у одного орудия перебито колесо. Орудие осе набок, но огонь можно вести. И почти тотчас с переднего поста сообщии пехватавшие капитану данные.

Капитан на мгновение задумался. Все. Ясно. Шагнув к телефону, он не нял руку.

Но телефонист, безуспешно стуча рычагом, повернул к капитану искаже ное лицо.

— Связь,—приказал капитан, обернувшись.

Боец, наклоня голову, выскочил наружу. Но когда он поднялся из хо сообщения, ударила пулеметная очередь, и боец свалился обратно в транше Прижимая обе руки к животу, виновато улыбаясь, он попытался поднять и снова упал.

— Связь,—снова повторил капитан.

Другому бойцу удалось почти пробежать открытое место. Но и он упал пополз, волоча перебитые ноги.

Воля командира, упорно хранимая, нестигаемая ни разу при тысяче и стунков, она сейчас только одна простой и ясной своей силой заставляла с вершить то, что дано человеку совершить один раз в жизни.

Капитан обернулся к единственно оставшемуся связному и встретился ним глазами.

Это был Алексеев. Ему было двадцать лет. Как-то он сказал капитан краснея:

— Знаете, товарищ капитан, я вместе с вашим сыном учился в оди школе.

— Да?—сказал капитан. И лицо его потемнело, словно от боли. Но то час приняло обычное выражение. — В таком случае вам следует работать в числителем,—сказал капитан.—Туда нужны грамотные люди.

Встречаясь с капитаном, Алексеев не сводил с него обожающих, преда ных глаз. Для него капитан был человеком, духовному облику которого хотел подражать. Он даже научился улыбаться так, как капитан,—одни губами.

Два раза его вместе с капитаном выкапывали из-под обломков дома, в терый они занимали под наблюдательный пункт. Однажды капитан вытащ его из сарая, подожженного зажигательным снарядом, где он лежал, задохну шись, без сознания, возле телефонного аппарата.

А когда Алексеев вернулся из госпиталя и стал благодарить капитана, к питан сделал ему резкое замечание за то, что он явился к нему, не заш как следует прожженной одежды.

Шагнув теперь к капитану, Алексеев хотел сказать, что он хочет умереть за родину, что капитан, вспоминая его, будет гордиться им, что он...

Но капитан нетерпеливо пошевелил плечом, и Алексеев, резко поверну нись на каблуках, вышел.

Капитан поглядел ему вслед долгим взглядом.

Пехота ворвалась вслед за танками. Бойцы дрались в траншеях врылопани-ную. Накинув ремень на ствол немецкого пулемета, бьющего из блиндажа, какой-то боец оттягивал его в сторону. Другой, широко расставив ноги, рас-качивал связку гранат, прежде чем швырнуть ее внутрь блиндажа. Немецкие солдаты дрались отчаянно. Они знали, что, покинув укрепления, они попадут под огонь пулеметов. Тамк «КВ», забравшись на кровлю ДЗОТа, затормозив одну гусеницу, вращался на одном месте, стараясь продавить перекрытие. Выкатив орудие, немцы вели огонь по танку. Но к расчету бежали пани-бойцы с винтовками наперевес.

И вдруг, когда еще немецкие солдаты не отступали и их было больше, чем наших, пригнанная немецкая тяжелая батарея бросила залп из всех орудий. Попервничали, поторопились немецкие офицеры. Не выдержали. Устрашась, они закрылись стеной огня, убивая своих же солдат. Вздрыбленная земля заколебалась.

Но в то же мгновение на русской стороне вздохнула русская батарея, и, рассекая воздух, снаряды понеслись туда, в глубь немецких расположений, где находилась эта тяжелая батарея.

Залпы русских орудий слились в единый могучий, трохочущий гул. Казалось, это грубым и ненавидящим голосом кричала сама наша земля.

Там, где находилась немецкая батарея, поднялась черная туча.

Тонко продуманный, вымеренный, заранее расписанный замысел немцев наткнулся на то, что невозможно вычислить и предвидеть.

Тактика артиллерийского наступления. Мгновенно возникшая атака тяжелых эшелонов, почти догоняющих друг друга в воздухе снарядов,— эта тактика не выдумана.

Но вот капитан, отложив телефонную трубку, вытер ладонью лоб. И, странно, такого легкого человеческого движения было вполне достаточно для того, чтобы вся эта непомерно могущественная ревущая сила огня подчинилась ему.

И стало тихо. И стало слышно, как осыпается земля со степ блиндажа и как гудит в блиндаже толстая бабочка с густо папудренными белыми крыльями.

Капитан взглянул на часы — без пяти восемь. Он наклонился и записал время в записной книжке с изможенным переплетом. И эта цифра, ставшая рядом с другими цифрами, ничем уже не отличалась от них.

Светило солнце. На петюпанном лугу росли цветы и пахли. Река синего цвета текла мимо высокого леса. Сухо стучал кузнечик во ржи, высокой, блестящей золотом; мягкие облака плыли в небе.

А там, впереди, лежала еще одна очищенная надь нашей родной земли, обугленная, исковерканная, политая кровью, но родная и любимая более, чем жизнь!

*Западный фронт*

Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ

## РАЗГРОМ НЕМЦЕВ ПОД МОСКВОЙ

### Неудача первого наступления немецких войск на Москву

В первой половине октября 1941 года на московском стратегическом направлении разворачивались широкие маневренные действия. Они явились результатом нового крупного наступления, начатого немцами 2 октября на советско-германском фронте. Немецко-фашистское руководство возлагало большие надежды на это наступление. Гитлер заявил в приказе по Восточному фронту:

«Создана, наконец, предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага... На этот раз планомерно, шаг за шагом, шли приготовления, чтобы привести противника в такое положение, в котором мы можем теперь нанести ему смертельный удар. Сегодня начинается последнее большое, решающее сражение этого года».

Октябрьское наступление немцев осуществлялось на широком фронте и преследовало решающие цели: поражение и уничтожение Красной Армии, захват Москвы и других важнейших промышленных районов на севере и юге и, как следствие этого, — быстрое и победоносное окончание кампании и войны.

Для достижения намеченного плана фашисты двинули огромные массы войск и боевой техники. В частности, на московском стратегическом направлении наступала центральная группа армий генерала Рунда в со-

ставе двух полевых армий и танковых армий (групп). Им поставлена задача — разбить и востоящие силы советских войск и овладеть Москвой.

Борьба с самого начала приняла крайне напряженный и острый характер. Противнику удалось в начале октября прорвать наш фронт в северное и южное направления в районе Вязьмы и вскоре продвинуться восточнее Вязьмы. Германское командование кричало о блестящих победах и об уничтожении Красной Армии. Иностранцами наблюдалось представление, что теперь путь к Москве открыт и следует ожидать стремительного броска главных сил немецких подвижных соединений на направлении: Вязьма — Гжатск, Можайск, Москва.

Но германское командование, глядя на весь мир победы России, видимо, несколько иначе оценивало для себя сложившуюся обстановку. На основе опыта боя Красной Армией враг с полным основанием мог предполагать, что Москву будет жестокая и упорная битва. Вступать в это сражение Подмосквовья, при наличии уже у немцев и понесших потери войска растянувшимся тылом, ведя лобовое наступление на узком фронте, кратчайшему направлению к столице, видимо, германскому командованию представлялось рискованным. Немцы учитывали возможность фланговых ударов Красной Армией в борьбе за Москву, которые в этих условиях могли сыграть крупную роль.

Поэтому, следуя указаниям германского полевого устава — сначала взвесить и рассчитать, а затем уже идти на обоснованный риск, — немецкое фашистское руководство пошло на наступление на Москву по широко задуманному плану. Одновременно с выдвинутым частью сил ударом на Можайск и далее к Москве противник развил активные операции на флангах, по обеим сторонам от столицы, на Калинин и на Тулу. Эти действия имели целью:

Захватить Калинин и Тулу, разбить Москву с севером и югом, изолировать ее;

— обезопасить свои фланги, занять выгодное охватывающее положение на широком фронте в отношении столицы;

— затем концентрическим наступлением с трех сторон (от Калинина, Можайска и Тулы) овладеть Москвой.

Однако ход событий в октябре опрокинул эти коварные планы врага. Хотя в половине октября немцам удалось стремительным ударом захватить Калинин, но дальнейшее наступление не получило развития. Их войска под Калинином оказались на длительный срок связанными упорными боями с частями Красной Армии, и не могли быть использованы для нового удара на Москву с севера. На юге 2-я танковая армия Гудериана тесно пыталась овладеть Тулой. Город-герой крепко держался и отражал все атаки фашистов. Борьба под Тулой приняла затяжной характер, и фашисты не смогли через Тулу, Серпухов и Каширу (как они намеревались) протянуть с юга руку к Москве!

Лишенная, таким образом, под ударом с флангов, центральная неукрепленная группировка во второй половине октября на Можайском направлении имела сравнительно небольшое продвижение. Помимо сопротивления наших войск, стойко оборонявших подступы к столице, лесная местность и неблагоприятные тактические условия затрудняли наступление врага. Казалось, сама московская природа — столь чуждая и родная — в памятные дни второй половины октября 1941 года стала против ненавистных чужаков.

В результате октябрьского наступления немцы все же значительно продвинулись вперед. Наши войска после ожесточенных боев, нанесенных врагу тяжелые потери, отошли и закрепились на новом рубеже восточнее Волоколамска, Можайска, Малоярославца, Калуги. Но фашистам не удалось достичь ни одной из тех целей, которые они перед собой ставили при начале наступления: Москвы они не взяли, Красной Армии не уничтожили. Попробуем путь к столице преграждали наши доблестные войска, усиливавшиеся прибывающими подкреплениями и готовые дать должный отпор ненавистному врагу.

Первое наступление немцев на Москву провалилось. Ни в октябре ни 7 ноября (новый срок, назначенный Гитлером для взятия Москвы) фашистские войска не вступили в столицу.

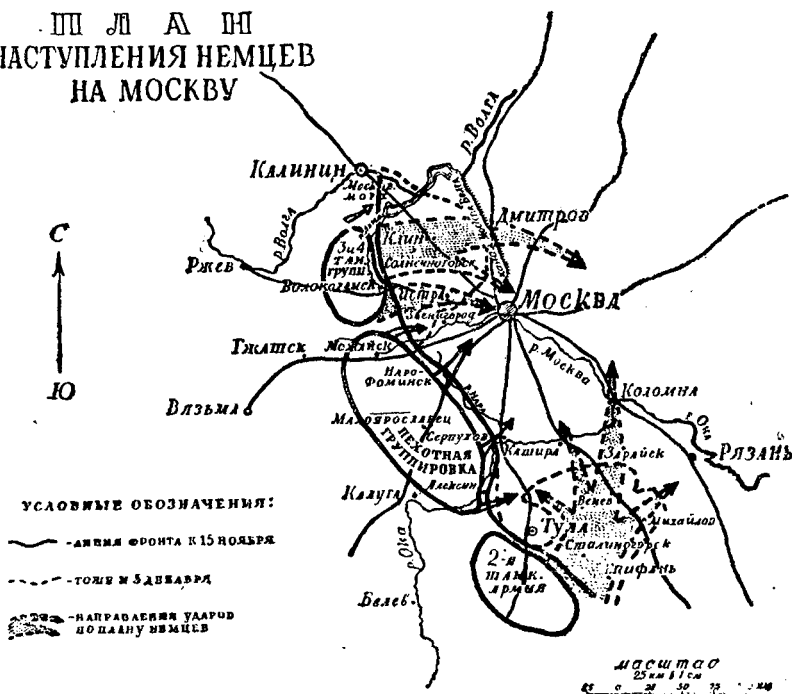
В этот день великий вождь советского народа и Верховный Главнокомандующий товарищ СТАЛИН принял парад войск на Красной площади Москвы. Иностранная печать оценила это как блестящую победу советов.

### План «второго» генерального наступления немцев на Москву

Вынужденные остановиться на дальних подступах к столице, немцы стали готовить новое «генеральное» (как они заявляли) наступление на Москву. В начале ноября по целому ряду признаков и поступавших данных можно было заключить, что враг производит перегруппировки, подтягивает свои войска, подтягивает тылы и стремится занять выгодное исходное положение для нового решительного удара.

Сопоставляя эти данные с последующим фактическим ходом событий, можно сделать вывод, что оперативный замысел фашистского командования сводился к концентрическому наступлению на Москву с трех сторон: с северо-запада, запада и юго-запада. Главный удар должны были нанести мощные танковые группировки, сосредоточенные на обеих сходящихся крыльях,

# П Л А Н НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ НА МОСКВУ



севернее и южнее Москвы. Задача этих танковых групп (армий) заключалась в том, чтобы прорвать фронт Красной Армии, нанести глубокие «клинья» в наше расположение и сомкнуть кольцо окружения к востоку от столицы.

В центре немецкого построения находилась основная пехотная группировка, которая должна была сначала сковать наши центральные армии на кратчайших путях к Москве и не позволить им маневрировать против обходящих фланговых групп. В дальнейшем, по мере развития охватывающего удара на обоих крыльях, пехотным корпусам предстояло прорвать наш фронт в направлении на Звенигород и Наро-Фоминск, окружить войска Красной Армии, защищающие столицу с запада, и выйти к Москве, расколов наш Западный фронт на изолированные и окруженные неприятельскими войсками куски.

Мы видим в этом плане типичную для немецкой армии операцию на окружение, причем здесь намечалось осуществить двойные «Каннны»: большое кольцо окружения образовывали фланговые танковые группировки, действовавшие севернее и южнее Москвы, а малое кольцо (малые «Каннны») создавалось на Можайском направлении путем прорыва нашего фронта на Звенигород и Наро-Фоминск и последующего выхода немцев на московскую автостраду.

Советское Информбюро так сообщало об этом наступлении:

«С 16 ноября 1941 года германские войска, разорвав против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов фронта выйти в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее.

Для этого были сосредоточены: против нашего правого фланга, Клинско-Солнечногорско-Дмитровском направлении, третья и че-

твертая танковые группы генералов Гоот и Хюпнера в составе 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 10-й и 11-й танковых дивизий, 36-й и 14-й мотопехотных дивизий, 23-й, 106-й и 35-й пехотных дивизий; против левого фланга, на Тульско-Каширско-Рязанском направлении, — вторая бронетанковая армия генерала Гудериана в составе 3-й, 4-й, 17-й и 18-й танковых дивизий, 10-й и 29-й мотопехотных дивизий, 167-й пехотной дивизии; против центра действовали 9-й, 7-й, 20-й, 12-й, 13-й и 43-й армейские корпуса, 19-я и 20-я танковые дивизии противника».

Таким образом удар на Москву с северо-запада наносился семью танковыми, двумя моторизованными и тремя пехотными дивизиями. С юга наступали четыре танковых, две моторизованных и одна пехотная дивизия. В центре, на кратчайших путях к Москве с запада, была развернута в основном пехотная группировка: шесть армейских корпусов и две танковых дивизии. Всего на Москву наступала 51 дивизия; из них к началу операции было в первой линии около 40 дивизий и в ходе наступления было введено еще до 10.

Этот оперативный план, взятый сам по себе, с внешней стороны был не хуже и не лучше других подобных планов германского командования, которые в иных случаях имели успех. По своему замыслу и построению он, на первый взгляд, как будто бы отвечал уровню развития военного дела и современной техники. Были собраны большие силы; они занимали выгодное исходное положение и были концентрически направлены на столицу Советской страны. Прямым движением перед собой они выходили во фланг и тыл войскам Западного фронта, окружали Москву. И немецко-фашистскому руководству казалось, что созданы все предпосылки для последнего, решающего удара, который должен еще до наступления зимы решить судьбу Москвы, всей кампании и даже войны.

### Оборонительное сражение под Москвой

К половине ноября наши армии Западного фронта вели бой местного значения, укрепляли свои пози-

нии и наносили частные контрудары по врагу, препятствуя сосредоточению сил и осуществлению его агрессивных планов.

В таком положении Западный фронт под командованием генерала армии Жукова принял на себя удар огромной массы людей и боевой техники, брошенных немецко-фашистским командованием 15—16 ноября во второе «генеральное» наступление на Москву.

15 ноября противник повел наступление по обеим сторонам Московского моря, стремясь отсеснить здесь наши войска за Волгу, чтобы прикрыться на севере этим водным рубежом. На следующий день фронт неприятельского наступления расширился к югу и захватил Клинское и Волоколамско-Истринское направления.

Войска Красной Армии оказывали упорное сопротивление, переходили в контратаки, но под натиском превосходящих по численности сил врага вынуждены были отходить от рубежа к рубежу, изматывая противника и нанося ему потери. Среди многих примеров высокого мужества и самоотвержения, проявленных отдельными бойцами и целыми частями при борьбе за Москву, особо выделяется подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев.

Испытанная в боях, но крепкая духом 316-я стрелковая дивизия — ныне 8-я гвардейская — вела бой с немецкой пехотой и танками, прикрывая своими левофланговыми частями Волоколамское шоссе и путь на Истру и Москву. С утра 16 ноября противник перешел в наступление, пытаясь прорваться здесь по шоссе на Москву. Группа бойцов под командой сержанта Добросабина заняла укрытую позицию в районе разъезда Дубосеково (7 км юго-восточнее Волоколамска). Фашисты вскоре атаковали группу наших бойцов ротой пехоты при поддержке 20 танков.

Встреченные внезапным, по точным огнем храбрых гвардейцев, немцы потеряли до 70 человек убитыми, несколько танков и остановились. В промерзшем окопе у разъезда Дубосеково бойцы поклялись друг другу биться с врагом до последней капли крови. Среди них были твердые русские люди, крепкие, веселые

украинцы; лихие колхозники Талала; казахи из Алма-Аты. Их воиновское товарищество, скрепленное кровью, стало воплощением боевого единства и нерушимой дружбы народов нашей страны, поднимавшей на своего смертельного врага.

Героев было двадцать восемь. Двадцать девятый, оказавшийся прозренным трусом, был тут же уничтожен самими гвардейцами. Бой с танками длился свыше четырех часов, и фашистские танки смогли прорвать оборону доблестных защитников. Часть героев были убиты и тяжело ранены. Но никто из оставшихся не дрогнул и не расступился. В это время в атаку двинулись еще 30 танков. В тяжелом, неравном бою было вновь подобрано 11 вражеских танков. У слабеющих защитников вышли все боеприпасы. Политрук Ключков-Диев, будучи убит, подвесив на себя связку гранат, бросился под танк и подорвал его.

Бесстрашно борясь до конца, 28 гвардейцев потопили смерти храбрых. Они нанесли противнику крупный урон, выведя из строя лопину всех боевых машин, и допустили прорыва массы фашистских танков по Московскому шоссе. Гвардейцы дали время нашим войскам укрепиться на новом рубеже и организовать оборону. Прославленные советские люди — они стали подлинными народными героями всей страны, вставшей на защиту своей независимости, чести и свободы.

В последующие дни жестокая борьба развернулась за Клинский район Истры, за Истринское водохранилище. В результате боев наша войска, нанеся неприятелю сильный урон, отошли к востоку от этих пунктов. Продвигаясь вперед своими танковыми дивизиями, подкрепляемыми пехотой и авиацией, к 1 декабря находились уже на линии канал Москва — Волга, Клязьма, Рузская, Крюково и севернее Звенигорода. На юге они окружили Тулу, захватили Сталиногорск, Дзержинск, Михайлов, двигались на Калугу и Рязань.

Положение под Москвой было исключительно серьезным и ответственным. Над столицей и советской родиной нависла грозная опасность. Только путем полного напора



всех сил можно было остановить и разбить столь опасного врага. Брошенные немецко-фашистские солдаты, преодолевая мужественное сопротивление наших войск, рвались к Москве. Вся многомиллионная страна, затаив дыхание, следила за ходом великой битвы под Москвой. Центральный орган нашей партии — «Правда» огненными словами поднимала массы на борьбу с захватчиками, вселяя в них уверенность в нашей конечной победе. Вот заголовки передовиц и лозунги «Правды» в тревожные дни конца ноября:

21/XI — «Отечественная война рождает героев».

Сейчас нет более важной задачи, чем задача отбить и победить врага.

22/XI — «Стойко защищать родную Москву».

«Ни шагу назад!

Не подпускать врага к столице!»

24/XI — «Ни тени беспечности, выше бдительность и организованность!»

Наше во что бы то ни стало остановить врага, отстоять Москву и тем самым положить начало разгрому гитлеровской армии.

25/XI — «Сокрушить военную мощь врага!»

27/XI — «Под Москвой должен начаться разгром врага».

Борьба в Подмосквовы вступила в решающую фазу. На севере немецко-фашистские войска, обрушившиеся на правое крыло Западного фронта, принудили наши армии в результате жестоких двадцатидневных боев отойти к востоку. Немцам удалось продвигаться вперед на 80—90 км, даже выйти к каналу Москва — Волга, севернее столицы. Но оперативный фронт Красной Армии не был прорван. Враг имел перед собой несокрушимую стену из наших войск. Вместо ожидавшегося немцами оперативного прорыва и разгрома нашего правого крыла получилось лишь глубокое вдавливание фронта Красной Армии.

Продвижение в глубину расположения противника выгодно, если оно приводит к поражению части неприятельского боевого порядка и образованию прорыва, раскалывает

фронт, позволяет осуществлять маневр в оперативной глубине и наносить удары по образовавшимся флангам противника, уничтожать отдельные куски боевого порядка, окружать его с тыла. Такое продвижение, питаемое резервами, дает большие преимущества наступающему.

Но если сильный и активный противник не дрогнул, если он не разбит, фронт его не прорван, а в результате наступления только образовалось вдавливание линии фронта — «пузырь», обращенный в неприятельскую сторону, если не имеется поблизости достаточных резервов у наступающего, то в таком положении обстоятельства могут повернуться к невыгоде для него. Прорыва нет, а есть мешок, внутри которого войска оказались в неблагоприятном оперативно-тактическом положении. Если обороняющийся сохранил силы (или получил подкрепление), если он достаточно активен и смел, то он может поставить войска, оказавшиеся в мешке, в тяжелые условия для продолжения борьбы.

Правое крыло Западного фронта Красной Армии вынуждено было уступить противнику значительную территорию, но оно не было разгромлено, не распалось под жестоким натиском врага и свою ответственную роль в московской операции сыграло полностью. Северная ударная группировка немецких войск, стремившаяся охватить и окружить войска Красной Армии, фактически сама оказалась захваченной с трех сторон. Она находилась в оперативном мешке, имея перед собой сильного и активно действующего противника. Войска Красной Армии перешли в контратаки, наносили неприятелю большие потери, все время вырывали у него инициативу из рук. В результате этого, а также вследствие понесенных немцами потерь и усиления Красной Армии свежими резервами, оперативное положение северного ударного крыла германских войск стало ухудшаться и к 5 декабря обратилось в невыгодное.

Не лучше сложилась для немцев оперативная обстановка и на противоположном, южном, крыле. Гудерман сначала хотел пройти на Мос-

кву через Тулу. Но город-герой оставил немцев. Он явился опорным пунктом нашей обороны и последующего контрнаступления на левом крыле Западного фронта. Все попытки окружить Тулу и овладеть ею были ликвидированы. Не имея возможности захватить Тулу, немцы вынуждены были обходить ее. Их 2-я бронетанковая армия двинулась в обход Тулы с востока, в образовавшийся разрыв. Ей удалось проникнуть в оперативную глубину и, как предполагало немецкое командование, выйти на маневренный простор. Однако это в конечном счете лишь ухудшило положение противника, так как войска левого крыла Западного фронта в этой трудной обстановке попрежнему сохраняли организованность. Фронт под Тулой и севернее Тулы держался, и все попытки немцев разгромить его комбинированными ударами с фронта и с тыла были отражены. От Каширы немцам нанес контрудар 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова. С востока от Рязани, занимая выгодное оперативное положение на фланге немецких сил, развертывались и готовились двинуться вперед войска генерала Голикова. Тула также активизируется и начинает сама угрожать флангу и тылу немецких войск, проникших в район к северо-востоку от города. Гудериан, намеревавшийся ударом через Коломну замкнуть кольцо окружения красных войск к востоку от Москвы, сам оказался в начале декабря в оперативном окружении. Так в ходе ожесточенной борьбы переменялось соотношение сил и положение сторон на левом крыле Западного фронта. Бронетанковый кулак, которым немцы хотели нанести сокрушительный удар через Тулу на Москву, фактически разжался, он вынужден был растопырить свои пальцы в сторону Рязани, Зарайска, Каширы, Лалтева и Тулы.

На обоих флангах Западного фронта развертывались яркие волнующие события. Они играли основную, решающую роль. Они как бы оставляют в тени наши срединные армии. Роль нашего центра, который стоял на мосте, на первый взгляд менее заметна, но она все же весьма значительна. Без устойчивого центра нельзя было бы успешно

выдержать столь упорную борьбу на флангах, нельзя было бы провести успешную большую операцию. Наши центр закрыли своей группой кратчайшие пути на Москву. Они прижали к себе и отразили удар пехотных группировок противника, усиленных танками. Устойчивый центр явился надежной опорой для всего маневра на флангах, обеспечил их связь и единство во время фронтальной операции. Чтобы правильно уяснить эту важную роль центра в московской операции, достаточно представить себе, как уложилось бы обстановка для Красной Армии, если бы центр дрогнул в то время, когда крылья Западного фронта под натиском противника откатывались на восток.

Но волна разбилась о берег. Наш центр стоял крепко. Он удерживал рубеж по р. Наре, он уничтожил отдельные прорвавшиеся части противника, он не допустил раскола нашего фронта. И в том очень важном обстоятельстве, что под ожесточенным натиском врага Западный фронт хотя и подался назад на флангах, весь изогнулся, как бы собираясь силами для контрудара по невыластному врагу, но остался единым, цельным, взаимодействующим всеми своими частями, способным к нанесению новых, еще более сильных и сокрушающих ударов, — в этом важном обстоятельстве не малая заслуга принадлежит нашим центральным армиям. Оба немецких фланговых клина оказались разделенными нашим обширным устойчивым центром: они не могли войти в оперативное взаимодействие, предоставленные каждый сам себе, не смогли достигнуть своей цели. Немецкий центр оказался в состоянии справиться с поставленной ему задачей. Центральные армии Западного фронта выполнили свою задачу в московской операции.

В процессе борьбы на подступах к Москве силы и мощь Западного фронта нарастали, а силы немецких армий уменьшались, таяла острота дивизий, выбывали техника. В течение 20 дней непрерывных боев немцы потеряли убитыми (по немецким данным) около 55 000 человек. Этот же период нашими войсками уничтожено и захвачено (не считая действий авиации):

танков	— 777,	минометов — 119,
автомашин	— 534,	пулеметов — 224,
орудий	— 178	и т. д.

Вместо концентрированных, целеустремленных ударов бронированных группировок на Клинско-Солнечногорском и Венев-Каширском направлениях противник вынужден был вести напряженное сражение от Московского моря до Тулы и Верева на фронте в 350 км.

Назревал кризис операции, ее переломный момент.

## Контрнаступление Красной Армии

Политическая и стратегическая обстановка, в которой протекала великая битва под Москвой, была уже такая, более благоприятная для Красной Армии, чем в первый период войны. Стали оказываться результаты предшествовавшей пятимесячной борьбы Красной Армии и всего советского народа под мудрым руководством товарища Сталина против фашистских захватчиков. Неприятель понес уже большие потери, был измотан и ослаблен. Немецко-фашистские войска, продвинувшись в глубь Советской страны, оказались в тупике, враждебном им окружении. Их коммуникации были растянуты на 800—1000 км и находились под ударами партизан и авиации. В этих условиях оперативная неудача — проигрыш сражения — могла иметь для немцев далеко идущие стратегические последствия.

Как показал весь последующий ход борьбы, немцы под Москвой прощались. Они явно недооценили силы сопротивления Красной Армии, считая у нее глубоких и многочисленных резервов.

Сталинский план разгрома немцев под Москвой предусматривал:

- 1) создание в глубине страны мощных стратегических резервов, способных противостоять неприятельскому наступлению;
- 2) организацию прочной и активной обороны в Подмоскovie; назначение достаточных для этого сил, направленных на целую систему укрепленных рубежей;
- 3) изматывание и обескровливание противника путем упорной борьбы на ближних и дальних подступах к Москве;

4) выбор удобного момента для перехода в решительное контрнаступление с целью разгрома фашистов.

Замыслы и план Верховного Главнокомандующего товарища Сталина получили талантливое осуществление на Западном фронте под командованием генерала армии т. Жукова. Как было отмечено, оборонительное сражение под Москвой протекало в более благоприятной для Красной Армии стратегической обстановке, чем в первый период. Однако благоприятная стратегическая обстановка способствовала достижению оперативного успеха и его дальнейшему использованию, но сама еще не предвещала победы на поле сражения.

Сражение нужно было выиграть у сильного и искусного противника в тех жестоких и упорных боях, которые гремели по долям и лесам Подмоскovie поздней осенью 1941 года. Это была нелегкая задача.

Войска Западного фронта дрались героически. Они понимали, какая великая историческая ответственность лежит на них. Братское одиство народов нашей страны, их готовность защищать до конца родную Москву были прекрасно выражены в письме узбекского народа товарищу Сталину:

Врагу под Москвой не сносить головы,  
Защитников много у нашей Москвы:  
Казах и туркмен, белорусс и грузин,  
Украинец, русский, таджик,  
По вражеским полчищам станут разить,  
Огнем и мечом их палить и рубить...

Войска с фашистскими захватчиками под Москвой приняли особо ожесточенный и упорный характер. Борьба шла за каждую пядь советской земли. Немецко-фашистское командование, несмотря на большие потери и отсутствие резервов, гнало войска вперед, стремясь любой ценой взять Москву до наступления зимы. Они приближались на 25 км с северо-запада к Москве. Немцы были уверены в успехе. Германское информбюро сообщало в начале декабря:

«Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль».

На 2 декабря в Берлине было приказано редакциям газет оставить пустые места в газетах для помешения сообщений о взятии Москвы.

Но сопротивление Красной Армии нарастало. Ожесточенные бои с переменным успехом шли на севере — на Дмитровском, Клинско-Солнечногорском, Истринском и Звенигородском направлениях. На юге развернулись упорные бои в районе Тулы. Под прикрытием этих действий наших войск, стойко драмившихся на фронте, происходило сосредоточение стратегических резервов. Они направлялись к тем участкам фронта, где должна была решиться участь этой великой битвы, занимали заранее указанные им места в общем оперативном построении.

Немцы, стремясь обеспечить силу первого удара и быстрый темп продвижения, наступали без резервов, вытянув все свои войска в одну линию. Командование Красной Армии, несмотря на исключительно трудные условия борьбы с бронированными клингами врага, сохранило свои резервы для решающего маневра, ожидая благоприятного момента. И в то время, когда немцы находились почти у стен Москвы и готовились торжествовать победу, делая последние усилия, — тяжкий мчозмездия опустился на голову фашистских захватчиков. Сталин двинул резервы и приказал войскам перейти в контрнаступление.

Когда немцы поняли, что оба их «клина» попали в подготовленные для них «клевши» и оказались зажатыми в них, — было уже поздно. Войска Красной Армии атаковали немцев с разных сторон: с севера, востока и юга. Их подорывала наша авиация. Стояла зима, а францы были одеты по-летнему, рассчитывая зимовать в теплых квартирах в Москве. Фашистская техника, не подготовленная для работы в суровых зимних условиях, также стала сдавать. Почув, надвигающуюся катастрофу, немцы, пытались найти путь

к отступлению, заматалась, крысы, попавшие в мышеловку. На севере наши войска уже ожали Клин, заходя в тыл вра. Дорога от Клина на Волокола была забита отступавшими в порядке неприятельскими колоннами автомобилей, обозов, войск. На авиация нашла исключительно годные цели для своих бомб и п. Вскоре шоссе было завалено труми людей и лошадей, разбиты брошенными пушками и повозками. На-чое Гудериан, также оказавшись в окружении, дал приказ своим машинам и спешно отступать. штаб едва избежал пленения.

Советское Информбюро так ошало об этих событиях:

«6 декабря 1941 года войска наго Западного фронта, измотанн, тивниши в предшествующих бо, перешли в контрнаступление преего ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и успешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные поте».

К исходу 11 декабря 1941 года имели такую картину:

а) войска генерала Лелюшенко бивая 1-ю танковую, 14-ю и 36-ю мотопехотные дивизии противника и заняв Рогачев, окружили г. Клин;

б) войска генерала Кузнецова, захватив г. Ахром, преследуют ходящие 6-ю, 7-ю танковые и 23-ю пехотную дивизии противника, вышли юго-западнее Клина;

в) войска генерала Власова, преследуя 2-ю и 106-ю пехотные дивизии противника, заняли г. Солнечногорск;

г) войска генерала Рокоссовского преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковые дивизии, дивизию «СС» и 35-ю пехотную дивизию противника, заняли г. Истра;

д) войска генерала Говорова преследуя оборону 252-й, 87-й, 78-й и 267-й пехотных дивизий противника и заняли районы Кулебякино — Котля;

е) войска генерала Болдина, бив северо-восточнее Тулы 4-ю танковые дивизии и полк «Великая Германия» противника, развивают наступление, тесня, охватывая 236-ю пехотную дивизию противника;

ж) 1-й гвардейский кавалерийский

риус генерала Белова, последовательно разбив 17-ю танковую, 29-ю мотопехотную и 167-ю пехотную дивизии противника, преследует их остатки и занял города Венев и Сталиногорск;

з) войска генерала Голликова, отбрасывая на юго-запад части 18-й танковой и 10-й мотопехотной дивизий противника, заняли г. Михайлов и г. Елифань.

После перехода в наступление с 6 по 10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов.

С 6 по 10 декабря захвачено: танков 386, автомашин 4317, мотоциклов 704, орудий 305, минометов 101, пулеметов 515, автоматов 546. За этот же срок нашими войсками уничтожено, не считая действий авиации: танков 271, автомашин 565, орудий 92, минометов 119, пулеметов 131. Кроме того захвачено огромное количество другого вооружения; боеприпасов, обмундирования и различного имущества. Немцы потеряли на поле боя за эти дни свыше 30 000 убитых.

Преследование разбитых и отступающих немецких войск продолжалось. Северная группировка противника (остатки 3-й и 4-й танковых групп), стараясь задержать натиск Красной Армии, отходила на запад, на рубеж рек Ламы и Рузы. В центре, после попытки прорвать фронт обороны противника на реке Наре, наши армии во второй половине декабря преодолели сопротивление немцев и также начали продвигаться вперед. Левое крыло имело наиболее быстрые темпы. Наши войска нового крыла в конце декабря уже форсировали рубеж реки Оки между Калугой и Беловом и развивали наступление в глубину. Перед ними открывалась перспектива дальнейших быстрых успехов.

## Заключение

Переход от обороны к отступлению и решительному контрнаступлению в широком оперативно-стратегическом масштабе с разгромом отступающих сил врага является одной из наиболее трудных и сложных операций. Они предъявляют исключительно высокие требования

к моральной крепости и доблести войск, к качеству командования и управления войсками. Военная история знает не много операций, подобных московской.

Здесь слились воедино, ставшие непреодолимыми для врага, сталинское гениальное предвидение и мудрое руководство, великий патриотизм советского народа, мужество и искусство Красной Армии.

В результате декабрьского контрнаступления Красной Армии немецко-фашистским войскам было нанесено тяжелое поражение. Политические и стратегические последствия победы под Москвой огромны. Ближайшим результатом явился перелом кампании 1941 года в благоприятную для нас сторону: Красная Армия перешла от стратегической обороны к стратегическому наступлению. Надежды немцев на «молниеносную» войну были похоронены. Миф о «непобедимости» германской армии был окончательно рассеян. Москва была освобождена от непосредственной угрозы врага; также была освобождена от фашистов значительная часть советской земли. Оперативно-стратегическое положение Западного фронта резко улучшилось, он вновь приобрел свободу действий, которую немедленно и успешно использовал.

Непосредственные оперативные результаты одержанной победы были также очень велики. Центральной группировке немецких армий было нанесено столь тяжелое поражение, что она принуждена была в дальнейшем отказаться от активных действий и отсиживаться до весны под продолжавшимися ударами наших войск. За период с 6 по 25 декабря войсками Западного фронта было захвачено: танков 1098, орудий 1434, пулеметов 1615, автомашин 12233 и много другого военного имущества. Количество убитых, раненых и обмороженных немцев в московской операции определяется сотнями тысяч человек.

Великая битва под Москвой представляет собой одну из наиболее ярких и захватывающих страниц отечественной войны. Она войдет в мировую историю как один из беспримерных образцов упорства в борьбе, мужества и военного искусства. Красной Армии и ее руководителей.

## ВОЗВЫШЕНИЕ И ГИБЕЛЬ ФРИЦА ТОДТА

## 1

Когда ученик реального училища в маленьком баденском городке Пфорцгейме Фриц Тодт стал впервые сознательно осмысливать жизнь, государственная граница проходила уже далеко от родного города. Пфорцгеймский округ примыкал к столичному округу Бадена — Карлсруэ, который в свою очередь непосредственно соседствовал с великой рекой Германии — Рейном. А за Рейном простирались новые, недавно приобретенные немцами земли — Эльзас-Лотарингия; три десятилетия перед тем эти земли были отняты у русского врага — Франции.

Дед Фрица, деревенский кулак, проделал кампанию 1870—1871 г. фельдфебелем и охотно рассказывал мальчику о том, как германские войска пошли в поход на запад во главе с пруссаками. Старик недолюбливал пруссаков, но отдавал им должное. «У этих людей с севера есть твердая воля; они ни перед чем не останавливаются и не похожи на наших мямлей с Рейна и Неккара». Дед высказал свое удовлетворение тем, что у мальчика прусские учителя; уж они научат его дисциплине, не то, что в прежние годы, когда в воспитании царил «Gemüthlichkeit» — прословутая южно-немецкая мягкотелость. И старик неодобрительно поглядывал в сторону своей невестки, матери Фрица, типичной южанки, откармливавшей мальчика кухнями и рассказывавшей ему задушевные сказки старого Шварцвальда.

Отец Фрица, переселившийся в город и открывший в Пфорцгейме бо-

гатую ювелирную мастерскую, в а случаях повторял: «Чего ты хочешь от отца, от женщины? Ведь кайзер сказал: область женщины — дети» («K» — Kinder, Kirche, Kleider, Ki — дети, церковь, платья, кухня). «Я хочу, чтобы Лотта не испортила мне мальчишку», — говорил дед, и еще недовольно смотрел на невестку. Но после сытного обеда, за стаканом доброго рейнского вина, бывший фельдфебель размякал и вместе с новьями напевал: «Ein rheinisches Mädchen beim rheinischen Wein, — kann auf Erde himmlischer sein» («С рейнской девчонкой да с рейнским вином живешь на земле, как в раю»). Но горе подмастерью или ученику, если тот осмеливался, сидеть в мастерской, подпевать старому хору, голос которого доносился из столовой. «Вам не о девчонках мать, вам работать надо», — притворялся старик на молодых бочих, как некогда кричал он на вобранцев из швабских сел. Совсем хозяевам и слугам разрешал петь только сугубо патристический «Стражу на Рейне». И тогда все девятилетнее Фрица в новеньком мундирчике реалиста до старика фельдфебеля в зеленой шляпе с пером, затыгивали: «Отечество, ты жешь спать спокойно, твердо стража на Рейне».

Фриц Тодт родился в 1891 г. год перед тем вышел в отставку старый канцлер Бисмарк, и вырвавшимся интересом молодого и алчного германского империализма стал кайзер Вильгельм II. В 1900 г., когда Фрица приняли в реальное училище, кайзер Вильгельм произнес свою знаменитую речь немецким сол-

ам, отправлявшимся с карательной экспедицией в Китай:

«Так же как гунны под предводительством Аттилы тысячу лет тому назад завоевали свою репутацию, живущую в исторических преданиях, так же пусть сейтао пня Германии останется в Китае настолько известным, чтобы и через тысячу лет ни один китаец не осмелился даже косос взглянуть на немца... Никакой пощады, никаких пленных, каждый, кто попадет вам в руки, пусть будет вашей жертвой... Раз навсегда расчистите путь для цивилизации!».

Учитель истории реального училища в Фюртеггейме прочитал речь кайзера всем ученикам и заставил выучить отрывки из речи наизусть. Когда маленький Фриц сбился и неправильно произнес имя гуннского предводителя Аттилы, его заставили перочислить двести раз в тетрадке остроконечными готическими буквами: «Аттила», «Аттила», «Аттила». У учителя хватило терпения при Фрице проверить всю тетрадку с «Аттилой» и пересчитать все слова до одного. Но так как дома Фрицу уже был нагоняй за «Аттилу» и отец прошелся раз десять ремнем пониже спины мальчугана, то Фриц послушно переписал двести раз трудное собственное имя и еще один раз, двести первый, добавил уже от себя, дополнительно, на всякий случай. Учитель остался доволен.

Когда Фрицу минуло четырнадцать лет, ему довелось видеть и слышать кайзера лично. В апреле 1905 г., только что вернувшись из Танжера, куда он ездил с целью произвести эффектную политическую демонстрацию в мировом масштабе, кайзер Вильгельм отправился в инспекционную поездку по западной границе Германии. 27 апреля 1905 г. кайзер прибыл в Карлсруэ, где его встречали верноподданные баденцы. Фриц и его родители отправились в Карлсруэ на «Ausflug» — экскурсию. Кайзер говорил с балкона городской ратуши, и Фрицу с площади хорошо была видна его фигура. Кайзер выглядел далеко не так величественно, как того ожидал Фриц, но обстановка была очень торжественной, кайзер держал себя самоуверенно, и мальчику запомнились напыщенное выражение лица с усмех, лихо закрученными вверх, и висевшая плетью левая

рука в перчатке, которую кайзер усиленно, но тшметно старался скрыть от взоров публики. Вместе со всеми Фриц аплодировал, когда кайзер сказал: «Я надеюсь, что день, когда мы сочтем необходимым вмешаться, чтобы обеспечить Германии место под солнцем, застанет всех нас, немцев, единными и сплоченными».

Затем кайзер принимал явившихся со всеподданнейшим приветствием членов городского муниципалитета Карлсруэ и старост баденских ремесленных цехов. После грозной речи с балкона кайзер хотел расположить кжан к себе и даже спросил баденского гохаймрата, господина фон Вреде, изобразив на лице подобие улыбки: «Ну, а социал-демократы здесь у вас в муниципалитете имеются?» Тут к вящему ужасу гехаймрата единственный социал-демократ адвокат Клемпе выскочил вперед и сказал: «Я вашего императорского величества социал-демократ» («Ich bin Euer Kaiserlichen Majestät Sozial-Demokrat»). Но выступление господина Клемпе не только не прогнало улыбки с лица кайзера, но, напротив того, даже способствовало хорошему настроению Вильгельма. «Очень хорошо, очень хорошо», — сказал он и даже повторил: — «Нашего императорского величества социал-демократ» («Unserer Kaiserlichen Majestät Sozial-Demokrat») «Великодушное выражение изволили вы употребить, господин юстиции советник («Ein vortreffliches Wort haben Sie da geschmiedet, Herr Justizrat»). Я надеюсь, что когда наступит «тот день» («der Tag»), мои социал-демократы будут сражаться в рядах моей армии, как и все мои верноподданные». Юстиции советник Клемпе, почтительно сгибаясь, изъявил готовность соответствовать предначертаниям императора. Так об этом рассказал дома бывший на высочайшем приеме отец Фрица, представлявший цех ювелиров Бадена.

## 2

В 1910 г. Фриц Тодт вступил вольноопределяющимся в артиллерийский дивизион в Карлсруэ. Его приняли охотно: мальчик представил диплом реального училища с отличными отметками по математике и физике, и, кроме того, отец догадал-

ся послать полковнице фрукты в серебряной вазе старинной шварцвальдской работы. «Фрицу будет легче служить», — сказал отец. — «Он оправдает наши расходы. Директор говорит, что из мальчишка выйдет толк. У него умные руки».

Правда, лицо молодого Фрица Тодта нельзя было назвать одухотворенным: это было заурядное лицо южно-немецкого бурша с правильными чертами, белесовато-серыми глазами, только с натяжкой называемыми стальными, острой линией рта, жесткими губами да жидкими усиками, которые вольноопределяющийся Тодт беспрекословно сбрил по приказу военного начальства. Но руки у Фрица в самом деле были умные: они умели лихо отдавать честь, быстро и точно производить все необходимые ружейные приемы, собрать и разобрать винтовку. Руки были приучены к порядку, действовали, как хороший автомат. Впрочем Фриц был не глуп, он имел несомненные способности к математике, в школе превосходно решал задачи на построение, и вольноопределяющимся отдал его с тем, чтобы уже через полтора года Фриц мог поступить в высшее техническое училище в Мюнхене.

Осенью 1911 г. вольноопределяющийся Фриц Тодт получил, наконец, возможность обучаться в студенческий мундир. Перед отъездом в Мюнхен Фриц показался дома, в Пфорице, и все нашли, что в студенческом мундире и в корпорантской шапочке он выглядит не хуже, чем в военной форме. Напевая песенку, слышанную им от товарищей в казарме: «Эти девушки все обожают, от принцесс до крестьянок простых», Фриц чувствовал, что способен покорить если не весь свет, то по крайней мере Мюнхен и во всяком случае Пфорице.

Столица Баварии, накануне войны 1914—1918 гг., считалась немецкими Афинами, средоточием муз, сокровищницей искусств, кладезем знаний. Великолепные картинные галереи вначале привлекали к себе Фрица, и он любил бывать на выставках, но товарищи-корпоранты подсмеивались над его тяготением к изобразительному искусству: «Хватит с тебя, что ты отлично чертишь, а за художеством пусть гонятся мо-

лодые еврейчики, которым все равно мы не дадим стать инженерами, же, немцы, — люди дела, а люди искусства — к чему».

Однажды, когда Фрица Тодта дели в литературно-артистическом кафе близ Карлстор, его вызвали к инспектору высшей технической школы, который позвонил, где Фриц бывает, с кем встречается, имеет ли знакомства среди евреев и среди мюнхенской ботаники. Весьма прозрачно инспектор намекал, что руководство школы хотело бы посмотреть съезд палачей, обычные шалости молодых людей, развлечения в пивных и кабаках, дуэли, столь обычные в корпорантской среде, на близкие отношения какой-нибудь мюнхенской шведки, говоря о последнем, инспектор ухмылялся. Но дирекция школы категорически возражает против опасных контактов со всякими радикально-лиевыми интеллигентами, которые Мюнхене и без того слишком много. «Связь с такого рода людьми была бы позором для высшей технической школы и могла бы повредить дальнейшей карьере. Многие фирмы приглашая к себе на работу выпускников нашей школы, — сказал инспектор, — спрашивают нас об их поведении в студенческие годы. Sapienti. В училище вы проходили курс логик, Тодт? (С мудрого достаточ-

Когда Фриц был уже на втором курсе, в Мюнхене на шумела история с одной русской девушкой, учившейся не в технической школе, куда выпуск не принимали, а в мюнхенском университете. Русская девушка — красивая брюнетка с длинными черными косами — училась отлично, но кто-то из студентов-корпорантов распространил слух, что девушка еврейка. И вот в корпорантской среде было принято решение: выпустить еврейку. В одно прекрасное утро в занятия семинара корпоранты привели косы девушки гвоздями к парте; когда девушку вызвал профессор и она попыталась встать, она вскрикнула от боли, а корпоранты с ликующим стали кричать: «Judin! Judin!» («еврейка, еврейка»). Девушка помогла освободить ее волосы, но иностранные студенты, позавидовавшие после этого в университете, она не посмела. В этот вечер в от-



стесненных пивнушках Тодт вместе с другими буршами пыл за то, чтобы в высшие школы Мюнхена был воспрещен вход «евреям и собакам». Выяснилось, что девушка не была еврейкой, а носила промкую фамилию княжны Шаховской, вследствие чего директору университета было сделано представление от русского консула, и он в полном параде ездил извещаясь в консульство. Но корпоранты все же выразили свои истинно германские чувства.

Фрицу Тодту не удалось закончить полного курса; война оборвала занятия, и он был призван в ряды войск.

Технические знания позволили Фрицу Тодту перейти из артиллерии в новую отрасль оружия — авиацию. Он стал в 1916 г., после немногих месяцев фронта и обучения в авиационной школе, летчиком-наблюдателем. Судьба была к нему благожелательна; вплоть до самого 1918 г. он оставался цел и невредим. Только в августе 1918 г., когда на западном фронте союзники получили значительное превосходство в воздухе, самолет, на котором в качестве наблюдателя летал Тодт, был сбит, а сам Фриц ранен.

Таким образом поражение Германии и заключение перемирия заставило Фрица Тодта в госпитале. Надо было думать о дальнейшем.

Оправившись от раны, приобрел Фриц Тодт домой. Войска недавних противников, французов, бельгийцев, англичан, находились на территории Германии и оккупировали левый берег Рейна, а также часть правого берега Рейна. В Майнце стояли французские колоннальные отряды из африканцев. В Карлсруэ был англо-бельгийский отряд. В Пфорцгейме никого не было. Но горечь поражения была действительна. Юстиции советник Тодт тем же был председателем городской думы, а подмастерье Габених из вензельной мастерской старого Тодта — членом муниципалитета.

Отец сказал: «У меня кое-что припасено на черный день. Мои деньги были хорошо помещены — в золото и серебро, в вещи и недвижимость. Ты, Фриц, будешь продолжать образование. А там станешь инженером, будешь зарабатывать и поработаешь на том, чтобы мы, немцы, добились

реванша. Не вышло один раз, выйдет в другой».

Фриц Тодт вернулся в 1919 г. на студенческую скамью, а в 1920 защитил дипломную работу на тему: «Источники ошибок при строительстве дорог из асфальта и смолы». «Дороги нужны всегда, и в годы мира, и в годы войны. Хочешь победы, готовь дороги», — сказал молодой инженер, Фриц Тодт, на защите своей работы в Карлсруэ. И члены совета Института техники в Карлсруэ сдержанно, как того требовали их возраст, чин и звание, аплодировали молодому человеку. «Вы были на военной службе?» — осведомился председатель совета. И на утвердительный ответ нового дипломированного инженера, имевшего чин лейтенанта в отставке, председатель совета одобрительно покачал головой.

### 3

Инженер Фриц Тодт снова в Мюнхене. Столица Баварии только что пережила потряску: генералы с Каппом во главе пытались с помощью нескольких воинских частей взять власть в свои руки и, опираясь на Баварию, прогнать обосновавшуюся в Берлине коалицию фрака и подрысника, коалицию левобуржуазных адвокатов и католических попов вместе с их социал-демократическими спутниками в пиджаке и кепи. Но время для диктатуры сабель и шпор еще не пришло; рабочие помешали капповскому путчу. Пришлось притаяться, — искать защиты под маской баварского партикуляризма.

Инженер Тодт предлагает свои услуги баварскому правительству. Бавария — одна из тех областей Германии, на которые приходится относительно наименьшее количество железных и шоссейных дорог. Надо строить, строить во что бы то ни стало, говорит Тодт; ведь и так важнейшие пути международного значения проходят мимо Баварии.

Но молодому инженеру было объявлено, что касса баварского казначейства пуста. Не может быть и речи о строительстве дорог теперь, когда с Германии взимают репарации, теперь, когда из последних средств Германия платит пенсии стольким участникам прошлой вой-

ны. «Эти господа в Берлине палец о палец не хотят ударить, чтобы могла быть восстановлена твердая власть. Нет и тысячу раз нет — Бавария от дорог пока воздержится — до лучших дней».

Фриц Тодт возмущен. Он надеется, что в Берлине его поймут лучше. И он едет в Берлин разговаривать на ту же тему с министром Ратенау. Да, этот человек все понимает, и деньги есть у него, руководителя имперского министерства хозяйства, и, что еще важнее, председателя правления Всеобщей компании электричества, знаменитой АЭГ. Ратенау говорит: «Побежденные на попрание военном, мы будем продолжать сражение в области экономической. Германия будет строить дороги, по которым пойдут самые быстрые в Европе поезда и автомобили; Германия будет строить самые лучшие машины для себя и для своих соседей. Германия поставит у себя самое лучшее сельское хозяйство и обеспечит себя сама, вот увидите, всем необходимым. Конечно, репарации тяжелы, но, нет хуже без добра, репарационные платежи осуществляются за счет товаров, вывозимых за границу, и Германия с поразительной быстротой восстанавливает свой вывоз. К тому же после 9 ноября мы как никак перестали платить всем этим коронованным бездельникам Гогенцоллернам, Виттельсбахам, Брауншвейтским, Саксен-Кобург-Гота и прочая и прочая, также их прихлебателям в придворных и военных мундирах. Они съедали, чего доброго, не меньше, чем стоят репарации».

Инженеру Тодту становится не по себе. Этот еврей-министр называет кайзера бездельником, — наглоте! Правда, как будто он дело говорит: для реванша нужна экономическая основа, а баварское муляже этого не понимает. Но Ратенау слишком умничает, добром это не кончится. И Тодт берет от министра техническое поручение: разработать доклад о скоростном строительстве шоссе-инных дорог в горных областях.

Тодт возвращается в Мюнхен и узнает из газет о гибели Ратенау. Министр-еврей, столь неосторожно высказавшийся насчет бездельников в коронах и мундирах, убит неизвестным. Усердно поговаривают, что

убийцы находятся в Мюнхене и реины в полной безнаказанности.

Тодт на всякий случай осторожно помалкивает, от кого именно получил он свое поручение. К тому из министерства приходит предложение: его предварительный доклад получен и признан вполне удовлетворительным. Пусть господин инженер Тодт разработает теперь вопрос об организации привлечения рабочих силы к строительству гор дорог. И под письмом стоит под нового статс-секретаря — чисто немецкая подпись знакомым готическим шрифтом, а не теми латинскими клямами, которыми писал убитый министр-космополит. Так должно случиться. Фриц Тодт не укладывается случаю с Вальтером Ратенау.

Вскоре, в той самой пивной, десять лет перед тем зеленым, дом Тодт пил с другими шпорками, он знакомится с небольшою шумной компанией. Во главе компании странный, несколько уравновешенный, субъект с маленькими черными усиками и маниакально устремленными в одну глазами. Этот субъект, его зовут Адольф Гитлер, часто ораторства ударяя по мраморному столу и синевой кружкой, которую не в силах разбить даже мюнхенский пол из пивной: «Раньше голова ралется на части от пивных паров, разобьется от удара по столу о из моих добрых глиняных кружек говорил хозяин. Адольф Гитлер знакомится с Тодтом, которого ему рекомендует хозяин пивной, как постоянного посетителя в течение десяти лет; Гитлер рассказывает Тодта о военной службе, о взглядах на вещи, рассказывает инженеру о том, что за ним, Гитлер стоит группа, партия. Он дает ему пять, что это не только забудут на все годовые ребята, которых Тодт видит здесь, нет, его. Гитлера, держивают и вполне порядочные дни, на деньги которых он себе кое-что позволяет. Он просит инженера зайти к нему потолков

Наедине Гитлер не кричит, пивной; он лубезен и даже чив. «В нашем движении найдите место и для вас, коллега Тодт, ворит он. — Вы нам нужны. Мо-

рители, господин барон Крупп  
фон Болен и генерал Эрнх Люден-  
дорф, настаивают, чтобы я подобрал  
людей посolidнее. Мы будем вас до  
поры до времени держать в тени,  
Фольста Тодт, но вы можете быть  
рены, что ваша карьера будет  
тти как по маслу, само собой разу-  
меется, если вы примкнете к нам.  
там настанет и ваше время выйти  
авансцену. Мы будем рассматри-  
ть вас, как бомбу замедленного  
действия».

Тридцатидвухлетний инженер  
Фриц Тодт слушает внимательно.  
Этот субъект упомянул имя Круппа  
фон Болен. Оно говорит само за  
себя. Круппу принадлежат гигант-  
ские заводы в Эссене; он — влия-  
тельнейший из германских промыш-  
ленников, перековавший люд надзо-  
ром союзнической комиссии мечи на  
плуги, но, наверное, сохранивший  
все возможности для производства  
средств вооружения в будущем.

Тодт продолжает слушать стра-  
ного субъекта с черными усами.  
«Нам нужно, — говорит Гитлер, — что-  
бы вы работали над заданной вам в  
министерстве темой — о рабочей силе  
жизывается, он хорошо осведомлен,  
(попнуло в голову у Тодта). Хоро-  
ю будет, если вы будете давать  
ам копии ваших докладов для ми-  
нистерства. Если они даже узнают,  
они запроют глаза. У нас там есть  
вои люди. Нас интересует вопрос о  
ведении трудовой дорожной повин-  
ности. Как вы строили бы дороги,  
если бы обладали даровым трудом,  
каждым, трудом сотни тысяч рабов». —  
О, если бы!» — невольно вырвалось  
у Тодта.

«Я рад, что вас не пугают слова, —  
говорит Гитлер. — Разве я не имею  
права затратить миллионы жизней  
на войне и в труде для того, чтобы  
обеспечить Германии мировое по-  
содство, для того, чтобы я и мои  
говорители, да и способные люди  
подле вас, нашли свое настоящее  
место в качестве руководителей, в  
качестве хозяев жизни. А народ —  
по стадо. Ему нужен бич».

Тодт не возражает. Субъект с чер-  
ными усами, пожалуй, не обладает  
ругозором Вальтера Ратенау, но он  
льше подходит для немцев и зна-  
чего хочет. И Тодт соглашается  
правлять свои доклады не только

в министерство, но и, по указанию  
Гитлера, его ближайшему помощни-  
ку, красивому молодцу с дерзкими  
глазами и неслышной кошачьей по-  
ходкой — Рудольфу Гессу.

4

Однако в 1923 г. Тодт едва не по-  
кидает движение, к которому только  
что примкнул. Его смущает неудача  
гитлеровского путча, арест и тюрем-  
ное заключение «фюрера». Тодт, по-  
добно многим другим негласным  
членам новой политической партии,  
не принимает непосредственного уча-  
стия в выступлении, и его никто не  
привлекает к суду. Но, спустя всего  
два месяца после путча, Тодт полу-  
чает напоминание о присылке оче-  
редного материала; корреспондент,  
неизвестный Тодту, ссылается на  
полномочия от завсегдатая знакомой  
ему пивной. И Тодт на всякий слу-  
чай остается негласным сотрудни-  
ком в движении. К тому же Тодта  
привлекает одна сторона гитлеров-  
ского движения, без которой ему,  
получившему определенное воспита-  
ние, жизнь не в жизнь.

Почти всю свою жизнь, вплоть до  
демобилизации, Тодт помнит себя в  
мундире или в форме. Вначале это  
был мундирчик реалиста. Затем —  
форма вольноопределяющегося ар-  
тиллерийского дивизиона. Затем  
Тодт сменил военную форму на сту-  
денческий мундир и шапочку корпо-  
ранта. Когда пришла война, Фриц  
Тодт вновь облачился в военную  
форму и снял ее по необходимости  
после поражения и демобилизации.  
В условиях республики дипломанты  
не носили уже студенческой формы,  
а с окончанием высшего учебного  
заведения, став человеком свободной  
профессии, инженер Тодт одел бур-  
жуазную визитку, которая давила  
его, мешала ему и которую он с во-  
сторгом сменил бы на что-нибудь  
форменное, что делало бы его чле-  
ном корпорации, группы, отряда.

Гитлеровцы носили коричневые  
рубашки. И Тодт, негласный член  
организации, заказал, однако, себе  
парочку коричневых рубаш и  
приобрел коричневого цвета костюмы,  
шляпы, галстуки, ботинки.

Прошло несколько лет в работе  
для министерства. Тодта стали при-

влекать, по рекомендации влиятельных и, как он, почтенных членов в муниципальных дорожных подрядах в Брауншвейге, где гитлеровцы ранее всего приобщились к правительственному аппарату, а затем и в Баварии. Посмеиваясь, руководитель одного из баварских округов сообщил, что дорога строится на американские деньги, полученные в виде займа. «А между тем, дорога, как это вам, конечно, хорошо известно, коллега Тодт, имеет немалое военное значение, ибо соединяет наши химические заводы, занятые производством жидкого топлива, с городами на западной границе, где предполагается в будущем сосредоточить войска. Но об этом извещать господянки мы не будем», — усмехнулся муниципальный советник.

«Хочешь победы, готовь дороги», — вспомнил свои собственные слова на защите дипломной работы Тодт. Он был молод тогда и не знал еще, что война должна подготавливаться в тайне.

В 1931 г. Гитлер вызвал Тодта для беседы. «Наступило время, когда вы можете перестать скрываться в тени. Наша партия является теперь одной из наиболее многочисленных. Я назначаю вас, коллега Тодт, начальником отряда (Scharführer) и поручаю вам официально технический отдел «Коричневого дома» — нашего штаба в Берлине. Да, кстати, вам надлежит представляться этим господам, моим доверителям. Кое-кто из них уже знает вас по вашим докладам. Вам обеспечен хороший прием. Но вы должны произвести надлежащее впечатление. От этого, зависит ваша судьба».

Тодт уже раньше слышал о «Клубе господ», влиятельной, очень ограниченной по числу членов организации, в которую входили виднейшие аристократы, крупнейшие промышленники, высшие военные, дипломаты, банкиры. Теперь Фриц Тодт был приглашен сделать в «Клубе господ» сообщение на тему: «Скоропальные методы строительства автострад в их значении для хозяйства послевоенной Германии». Предстояло выдержать серьезный экзамен, показать себя человеком дела, организатором и реалистом.

Аудитория была очень небольшой — всего человек пятнадцать.

Председатель клуба, господин Фриц фон Пален, представил его собранием, сказав: «Я надеюсь, что господин доктор-инженер не станетременять нас техническими деталями. Когда я руководил деятельностью господина фон Ринтелена в организации в Соединенных Штатах Америки, господин фон Ринтеликогда не обременял меня техническими подробностями, а просил лишь одного: денег».

Слушатели рассмеялись. Фриц Тодт вспомнил, что Пален и Ринтелен организовали в Соединенных Штатах Америки целую серию версионных актов по разрушению американских военных заводов, уничтожению кораблей, следовавших с грузом и пассажирами из Америки в страны Антанты. На мгновение Тодта мелькнула мысль, что и будто его задача и задача Ринтелена различны: Ринтелен разрушал, он, Тодт, собирается строить. Нет, ведь скоростное строительство автострад в Германии рассчитано прежде всего на то, чтобы позволить Германии в будущем быстро перебросить войска к границе, молниеносно ударить по врагу, разрушить центры его сопротивления и утвердить господство Германии. Господин председатель правильно наметил основную идею доклада. Не на технических деталей; этим можно заниматься в типичных лабораториях.

И Тодт приступил к докладу. В течение положенных ему тридцати минут Тодт ограничился двумя основными мыслями, которые пытался утвердить в сознании слушателей. Во-первых, скоростное строительство дорог является важнейшим условием для переброски больших воинских масс в назначенные пункты их концентрации. Во-вторых, скоростное строительство дорог предполагает создание промышленных предприятий, готовых обслуживать дороги необходимым материалом, машинами, автомобилями (средствами транспорта вообще). Исходя из первого соображения, расходы на строительство дорог должны принять на себя государство. Исходя из второго, выгоды от строительства дорог получают частные промышленники, которым обеспечены доходы не только непосредственно от подрядов, но и косвенно от того производства, которое бу-

следствием развертываемого по намеченному плану дорожного строительства.

Доклад произвел хорошее впечатление. Один из слушателей, пожилой банкир с ситарой в зубах, освещенный силой, и Тодт изложил, подбирая не столь резкие, но вполне ясные выражения, известные мысли Гитлера на тему о трудовой повинности. К удовольствию Тодта раздались аплодисменты. «Вы сделали удачный доклад, молодой человек, — обратился к сорокалетнему Фрицу Тодту банкир. — Вы покорили почтальки, — вам остается теперь покорять сердца, — по-немецки уверить;» сострил банкир и повел Тодта в дамскую гостиную, где фешенебельное дамское общество ожидало имевшего успех докладчика-гостя.

## 5

В «Третей империи» дела инженера Фрица Тодта сложились великолепно. В 1934 г. он был назначен обер-инспектором дорожного строительства всей Германии. В 1935 г. он был поставлен во главе технического отдела гитлеровской партии. В 1936 г. Тодту было поручено заняться вопросом о строительстве укреплений на западе Германии, и в этой связи создана организация технических работ, которая впоследствии получила наименование «организации Тодта».

342 тысячи человек работали днем и ночью над строительством дорог и укреплений в организации Тодта. 342 тысячи человек в куртках и брюках темнооливкового цвета с изображением свастики на рукаве по команде являлись на работу, исполняли по команде возложенные на них задания, по команде принимали пищу, маршировали, молились, пели, вышагивали и просыпались. И каждый из этих 342 тысяч человек в куртках темнооливкового цвета был обязан беспрекословным подчинением обер-инженеру Тодту и верностью фюреру. Иначе, ведь и остальные немцы обязаны были верностью фюреру; но 342 тысячи человек из них отвечал Фриц Тодт.

Случалось, среди тысяч людей в темнооливковых куртках встречались недоуменные. О, их умели унять: им давали тяжелый урок, наказывали.

Было известно, что из организации Тодта есть только два выхода — смерть или концлагерь. Более дальновидные предпочитали смерть.

По западной границе Германии выстроены были укрепления. Их называли линией Зигфрида, в честь героя саги о Нибелунгах, любимого произведения Гитлера. Иногда укрепления называли также «Западной стеной» — «Westwall». Строили укрепления на скорую руку, без отдыха, днем и ночью. Инспектировать «Западную стену» приезжал Геринг. 21 августа 1939 г. Геринг, выступая в Кельне, сказал: «В строительстве «Западной стены» применены все достижения новейшей техники. Я ручаюсь вам, что города Германии никогда не подвергнутся нападению с суши или с воздуха. Нет такой силы на земле, которая могла бы противостоять германской технике, германской авиации и германскому организационному гению». Тодт стоял около трибуны, с которой говорил Геринг. Смешанные чувства владели им. Тодт знал, что «Западная стена» строилась не слишком долго, знал, что многого за этот короткий промежуток времени сделать нельзя было, и знал, что обобщалась эта линия укреплений очень и очень не дешево. «Пушки вместо масла» («Kanonen statt Butter»), как говорил тот же Геринг, отнимая изо рта у трудящихся кусок, чтобы заплатить за поставленные крупными промышленниками для строительства укреплений материалы.

Он высказал свои сомнения Герингу. Геринг, тучный, увешанный многочисленными орденами, рассмеялся, и складки жира образовались на его лице. «Вы прекрасный техник, коллега Тодт, но еще начинателю политик. Без того, чтобы прихвастнуть, прилгнуть, ни одна речь не говорится. А, впрочем, — и лицо Геринга помрачнело и стало серьезным, — если дело дойдет уже до преодоления линии Зигфрида, то нам будет крышка, и тогда все равно, что бы я ни говорил. Тогда мы с вами будем «вместе пойманы, вместе повешены», — так ведь говорит старая пословица? Но теперь очень важно, чтобы наши противники, да и наши собственным верноподданым, «Западная стена» казалась неодолимой. Это

испугает соседей и укрепит нервы у нас дома. Моя речь — тот же допинг». И улыбка вновь появилась на бабьем лице Геринга.

Не раз вспоминал Фриц Тодт эти слова Германа Геринга. Он вспоминал их тогда, когда немецко-фашистские войска ринулись в Польшу, а союзники Польши стояли, как зачарованные, перед «Западной стеной» и не делали даже ни одной попытки прощупать поля германских укреплений. Слова Геринга пришли Тодту на ум вновь, когда весной 1940 г. были покорены Голландия, Бельгия, Франция. Назначенный в 1939 г. по совместительству с должностью оберинспектора дорожного строительства также министром военного снаряжения, Фриц Тодт поехал в оккупированную Францию познакомиться со строительством линии Мажино. Он постукивал пальцем по стенам глубоких казематов-укреплений, сооруженных французскими военными инженерами на линии Мажино, и думал о том, что предательство позволило преодолеть эти укрепления в очень короткий срок, а, между тем, они были не хуже, а лучше, может быть, немецких укреплений.

Когда Гитлер вероломно напал на СССР, Тодт был официально назначен генералом. Он возглавлял теперь инженерную службу германской армии на советско-германском фронте. Геббельсовская печать писала: «Организация Тодта будет следовать за армией, прокладывая дороги, по которым пойдут обозы со снабжением войск и, в обратную сторону, грузы, предназначенные для Германии — хлеб, скот, трофеи из плодородной России. А если суждено по соображениям военно-стратегического характера временно приостановить наступление на том или ином участке проталкиваемого фронта, тянувшегося от Баренцева до Черного моря, организация Тодта построит укрепления, неприступные для варваров Востока».

Организация Тодта официально выросла до одного миллиона человек — военных и штатских. В районах, временно захваченных у СССР, люди из организации Тодта сгоняли местное население, стариков, женщин, подростков. Не было средств, да и не было необходимости одевать их в темнооливковую форму организации. Им давали знак — деревянную

бирку с обозначением деревни и рядковым номером. Человек терял свое имя, приобретал бирку и порядковый номер раба; его дело было строить для германской армии дороги и укрепления. Русские погибали на работах сотнями; на их местах сгоняли новых, устраивая облавы, карательные экспедиции.

Молниеносная война на Востоке не удалась. На организацию Тодта было возложено строительство укреплений и дорог в большем масштабе, чем первоначально предполагало. Организация натолкнулась на неодолимые препятствия. Русские во время войны не по тем правилам, которые изобрели для себя немцы. Земля рела у немцев под ногами, и партизаны разрушали немецкие коммуникации в тылу. Среди насильственно согнанных на строительство людей казалось бы, достаточно напуганных зверским обращением со стороны немцев, партизаны встречали и поддержку.

Зимой, когда немецкие солдаты зарылись в землю, выстроили траншеи с глубокими ходами и дзоты, оборудованные по последнему слову немецкой техники, русские стали оттуда выбивать. В январе 1942 Тодт совершил поездку по линии советско-германского фронта. Ему ставили протокол допроса нескольких военнопленных. На вопрос немецкого офицера русский лейтенант, захваченный в плен раненым, ответил фразой, которую Тодт перечел вслух.

Русского лейтенанта спросили: «Как можете, вы надеетесь взять бою немецкие укрепления, построены по последнему слову техники?» Русский ответил: «Не так страшен черт, как его малюют. Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики».

«Нет таких крепостей, которых могли бы взять большевики». Тодт сообщил, что большевики овладели рядом хорошо укрепленных пунктов на Западном фронте и продолжают наступать. А что, если действительно «нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики»?

Тодт пришел к выводу, что должен поставить о своих сомнениях в известность фюрера.

5 февраля 1942 г. Фриц Тодт, генерал германской армии, министр

ного снаряжения и обер-инспектор по дорожному строительству «Третьей империи», делал доклад на собрании высших функционеров национал-социалистической партии в Берлине в присутствии Гитлера и Гиммлера. Он коснулся налетов английской авиации на города Рурской области, осторожно напомнив о речи Геринга в августе 1939 г. Он рассказал о «бешеном» контрнаступлении Красной Армии на западном участке советско-германского фронта, об оставлении немцами Калининграда. Он затронул вопрос о борьбе партизан против коммуникаций германской армии. И, в самом конце, как передавали потом, он привел слова русского лейтенанта.

Наступило стеснительное молчание. Против ожидания Тодта, никто не задал ни одного вопроса. Лишь Гиммлер, косо поглядывая на докладчика, наклонился к Гитлеру и прошептал ему на ухо несколько слов. Шведский журналист, сообщивший об этом заседании ряд подробностей, которые могли тогда показаться досужим вымыслом, но полностью подтвердились позднее, отмечает, что германский посол в Турции, многоопытный фон Папен, вызванный фюрером в Берлин и присутствовавший на заседании, как бы случайно рассказал вполголоса своему соседу, как в старой Турции султан посылал провинившемуся vizirю шелковый шнурок.

— Ну, в наш век прогресса можно найти другие не менее остроумные средства, — заметил собеседник.

8 февраля 1942 г. официальное сообщение германского правитель-

ства известило мир, что генерал Фриц Тодт, министр военного снаряжения, обер-инспектор по дорожному строительству, погиб в авиационной катастрофе. Подробностей сообщено не было, но в иностранной печати с уверенностью утверждали, что Гитлер велел убить Тодта за неудачную фразу в докладе, а за высказанные им решительные соображения в победе Германии и в руководстве фюрера.

12 февраля 1942 г. в помещении имперской канцелярии состоялась торжественная панихида по погибшему. Рейхсканцлер и фюрер Адольф Гитлер произнес приличествующую случаю речь, в которой воздавал должное заслугам покойного, обрисовал его жизненный путь и участие в борьбе, которую ведет Германия за господство над миром. У тела Тодта был выставлен почетный караул из виднейших чинов гестапо. Гиммлер получил специальное поручение фюрера сообщить frau Тодт, что ей и ее детям назначена пенсия.

Газета «Нью-Йорк Таймс» 10 февраля писала: «Гибель Фрица Тодта стоит потери десятка германских дивизионных генералов. Делом жизни покойного было строительство линии Зигфрида. Будущее покажет, в какой мере эта линия окажется устойчивой перед лицом наступления, проводимого со всей силой и энергией. Боевой опыт храбрых русских показывает, что нет таких немецких укреплений, которые были бы несокрушимы».

*Сентябрь, 1942*

Р Миллер-Будницкая

## КНИГИ ИЗГНАННИКОВ

Это книги европейских писателей — французов, голландцев, венгерцев, написанные в изгнании. Почти все они изданы в Англии и Америке. Они — живая история второй мировой войны. Замыслы книг, их первые наброски родились в окопах, в полевом госпитале, в тюремной камере, в лагере военнопленных.

Имена авторов занесены в пропартизионные списки, их преследуют во всех странах агенты гестапо. Они разлучены с семьями; их близкие остались заложниками в руках фашистов. Дома разорены, имущество разграблено, рукописи уничтожены.

К нам эти книги пришли далекими кружными путями. Они прозвучали с югом боевого братства, вестью о том, что в поработенной Европе все ярче разгорается пламя борьбы против фашизма.

О некоторых из этих книг мы расскажем здесь.

\*\*\*

История Ганса Габе — история одного из многих беглецов Европы.

Ганс Габе — эмигрант-журналист, венгерец. С начала второй мировой войны Габе, находившийся тогда в нейтральной Швейцарии, вступил добровольцем в ряды французской армии. Он был зачислен в Двадцать первый полк иностранных добровольцев. После поражения Франции и отступления армии Габе вместе с остатками своей разбитой части попал в окружение. Ему угрожал расстрел на месте: немцы не брали в

плен иностранных добровольцев. В самый момент удалось получить товарища-француза новый опознавательный жетон. Долгое время Габе томился в концлагере под чужим именем. Там он узнал муки голода, похвально эпидемии, издевательства. Неотвязным кошмаром преследовала угроза разоблачения. При нарушении многих замыслов по нему удалось бежать, и с помощью французских патриотов он перебрался в неоккупированную зону гестапо, заочно приговорившее к смертной казни, преследовало; и ему удалось перейти испанскую границу и на пароходе отплыть в Америку. Видные американские общественные деятели помогли получить разрешение на въезд в США. Там и вышла его книга: «Тысячи падут»<sup>1</sup>.

Вместе со своим полком Габе шел весь путь отступления французской армии. Он видел безлюдные деревни; покинутые, разрушенные города; дороги, забитые беженцами, отступающими войсками; брошенным оружием, снаряжением. Ему удалось стать очевидцем преступления, совершенного над великой нацией: он написал свою книгу, чтобы свидетельствовать и требовать суд над преступниками.

Чем была для французского народа вторая мировая война? — спрашивает Габе. И ответ его таков:

<sup>1</sup> «Тысячи падут» Габе напечатан в журнале «Интернациональная литература» №№ 6 и 7 за 1942 г.



а не только франко-германская война, но и борьба Франции против Франции, — Франции патриотов против Франции предателей и изменников.

Перед нами раскрывается весь психолог французского солдата, того Жака Простака, человека из народа, облаченного в национальный мундир и посланного на смерть и плен, худший, чем самая смерть. Его повели, как скот, на бойню. Его бросили в бой необученного. Ему дали устаревшее, негодное оружие. Его лишили транспорта, нагроулили, как выхвачное животное. Усталостью, голодом, холодом терзали его тело, и самый дух пытались сломить силой страха. Его морально разоружали, запугивая призраком врага, сбивая с толку, внушали чувство обреченности и бессилия, чтоб, связанным по рукам и ногам, бросить на милость победителя. Так поступили с французским солдатом правительством и верховное командование Франции. Они сделали все, чтоб обрушить свои войска в армию поражающей.

И Габе рисует нам лицо этой армии. «Через деревушку Мормон (мертвый человек) шли мертвецы будущего». Лица покрылись свинцовой бледностью. Стертые, опухшие ноги сочились кровью сквозь носки и башмаки. Солдаты отчаянно цеплялись за старые, изношенные грузовики и волочатся за ними по земле, валялись с ног и засыпают под дождем в лужах ледяной воды. Это армия бродяг, участников голодного похода. Разве такая армия может сражаться и побеждать?

Так разыгралась двойная трагедия французского солдата: перед лицом врага, с которым ему не дают сражаться, и перед лицом народа, который ему не позволяют защищать.

Одна из самых драматических сцен этой трагедии разыгралась в маленьком городке Сент-Менегульде.

В этом городе шли уличные бои. Бойцы защищали каждую площадь, улицу, дом. Немцы двигались сплошным потоком танков, бронированных машин, мотоциклов. Самолеты бомбили город с воздуха. Но французы вышли против танков с ручными гранатами. Наскоро были построены противотанковые заграждения. На крышах домов были уста-

новлены пулеметы. Солдаты, поставив пулеметы за трупы погибших товарищей, обстреливали врага со всех сторон.

Но героические защитники Сент-Менегульды заранее были обречены. Французское командование оставило непролутым северный мост, открывавший неприятелю вход в город, и взорвало южный — единственный путь отступления французам. Кто не смог переплыть канал, — остался в плену. В городе была устроена кровавая резня. Французские солдаты истекали кровью, по их живому телу прошли тяжелые гусеницы, они были раздавлены немецкими танками и броневиками. Так было задумано и совершено преступление в Сент-Менегульде.

И так было повсюду. «Островки сопротивления» срывались общей волной капитулянтства. Героические части истреблялись, их командиров сажали в постов.

Но дух сопротивления был только парализован, а не укрошен до конца. Можно было заставить отступить армию, но французский народ не отступил. Для этого надо было бы «оторвать французов от Франции».

Вторая часть книги «Записки из концлагеря» — история плена и побега Ганса Габе. Она раскрывает лицо немца — хозяина поработанной Франции, носителя «нового порядка».

Немцы унижают французов как нацию, пытаются сломить их дух рабством и террором, вытравить чувство национальной чести и гордости, заставить забыть славные страницы прошлого. Они забираются в дома французов, заставляют своих собак спать на постели хозяев. Они врываются в магазины и лавки, устраивая непристойные драки из-за куска шелка, из-за ящика шоколада. Они рассматривают женщин Франции, как свою добычу.

Издавался над покоренными народами, немцы прививают им яд национальной и расовой ненависти. Так, они изолируют пленных негров-марокканцев, словно прокаженных или зачумленных. Они превращают эту часть концлагеря в обезьянник, куда бегают не только немцы, но и французы позабавиться над негром за решеткой. Они лишают негров мыла, потому что те «все

равно черные», и превращают лагеря в очаг заразы.

Рассказ о побеге Ганса Габе — одна из страниц ежедневной и ежечасной подпольной борьбы. На каждом шагу беглец встречает руку друга. Незнакомая компания студенческой молодежи в ресторане, которой Габе доверяется в момент безысходности, дает ему направление, имена и адреса и провожает на вокзал. Старик фермер, ветеран первой мировой войны, кавалер Почетного легиона, вместе с сыновьями переправляет его через праницу. По ту сторону рыбачка принимает его, кормит и одевает с ног до головы: он — тринадцатый, кому она спасает жизнь, делится последним — хлебом и платком. Никакие репрессии, штрафы, высылки, аресты не в силах остановить это общенародное движение.

В эти страшные годы Ганс Габе узнал многое. Он увидел своими глазами позор и падение Франции; разбойничье хозяйничанье гитлеровцев; начало борьбы французского народа против поработителей. Он приобрел большой политический и боевой опыт, он прошел школу войны, тюрьмы и подполья, которая закалила его дух и подготовила к грядущим боям.

Этой Францией патриотов, сражающейся Франции де Голля, посвящает свою книгу волонтер и подпольщик, рядовой великой армии «незримых людей Европы», Ганс Габе. Он кончает ее словами:

«Я возлагаю все свои надежды на тех, кто несет вперед знамя, выпавшее из наших рук».

\*\*\*

Дэвид Корнелль де Йонг вырос в эмиграции. Он происходит из семьи голландских эмигрантов в Америке, некогда старинного купеческого рода. Но Голландия, страна детства и ранней юности, оставалась для него далекой и прекрасной родиной. Она вдохновляла все его творчество. Он знал и любил ее историю, искусство, культуру, образы ее поэтической старины. Он писал на чужом языке, но голландский язык был для него материнским. Он рос голландским патриотом.

Весть о вторжении Гитлера в Голландию потрясла его. По ту сторону океана он услышал зов обеще-

щенной родины. И он откликнулся на этот зов. Он написал книгу «Судный день».

Сам де Йонг так рассказывает о зарождении замысла этой книги.

Ему вспомнилась картина недавнего прошлого. Он вновь увидел себя вместе с группой друзей, родных и близких на восточной границе Голландии, летом 1939 года. Там, где раньше, согласно вековой традиции, не было заграждений и расстилались открытые зеленые луга, теперь тянулась колючая проволока в восемь метров высотой. Они стояли у пограничного столба, упрощающе повернутого в сторону Голландии черной свастики и именем «Deutschland». На стороне же обращенной к Германии, было начертано голландцами старинное национальное изречение «Пусть дружба восстановит то, что разделили границы». Дружбой и человечностью закликала Голландия агрессора у своих границ.

Эта группа у пограничного столба с призывом к дружбе теперь представлялась де Йонгу символом голландского народа, доброго и мужественного, но обманутого и преданного, символом человечества в лице его лучших представителей, людей мысли и труда, павших жертвою чудовищной агрессии. И он, который раньше ненавидел нацизм разумом, сейчас возненавидел его сердцем и кровью.

С любовью и теплотой де Йонг рисует картины Голландии накануне второй мировой войны. Перед нами встают пейзажи страны труда и мира, зеленеющие пастбища, колосащиеся нивы, маленькие опрятные фермы, ветряные мельницы на краю проселочных дорог, рыбацьи хижины на дюнах, лодки, выезжающие на рассвете в хмурое северное море, древние ветхие дома у тесных каналов, старые корабли, неподвижно стоящие на якорях в заброшенной гавани...

Но в этой цветущей мирной стране тайно работала нацистская «пятая колонна», подготавливая нападение на Германию. И в книге де Йонга показано, как шпионы под видом «туристов» наводнили города и окрестности, занимаясь диверсиями и террористическими актами; как немецкие самолеты, нарушая границ,

ду, следили за строительством укреплений.

И вот враг, вероломно нарушив все договоры и гарантии, вторгся в пределы страны. Завыли сирены, бомбовозы закружились над городами, танки поползли по дорогам, вражеские десанты стали высаживаться на голландской земле. Диверсанты сигнализировали немецким летчикам во время воздушных бомбардировок, сообщали врагу секретные сведения, помешали открыть все плюзы. И во мгновение ока Голландия была брошена в адский котел молниеносной войны.

Но маленький народ, веками мирной жизни отученный от войны, перед лицом великого бедствия оказался, попытку сопротивления. Голландцы успели взорвать некоторые мосты и затопили поля и луга, возмывавшие у моря столетиями труда. Они угоняли скот, уничтожали хлеб на корню, чтобы ничего не досталось врагу. Они разрушали мосты и железные дороги на путях своего отступления. Но было уже поздно. Медлительность стала смертью народа. Слишком неравны оказались силы. Все было тщетно, и по радио было сообщено о прекращении военных действий. В несколько дней разыгралась трагедия голландского народа, и свободная Голландия перестала существовать.

Глубокой скорбью дышат те страницы книги де Йонга, где описываются попытки сопротивления голландской армии, массовая эвакуация, бегство жителей из городов и дерев, ужас и негодование населения.

Молодая женщина Мэргрит ищет мужа среди развалин пылающего Роттердама. Словно лунатик, она бродит по лабиринту улиц, под раскатанным каменным дождем, падающим с черного неба... Она пробивается ползком в узких переходах между качающимися многоэтажными зданиями, бежит вперед, спотыкается и падает в огромные воронки от бомб. Она ищет мужа в дыму и пламени пожаров, среди раненых и мертвых, среди беженцев с лицами цвета сажи и крови... Толпа увлекает ее к разрушенному вокзалу, она бежит по путям, усеянным разбитыми составами. И уже полумертвую от страха и отчаяния ее вталки-

вают в набитую людьми теплушку, и поезд мчится на север, прочь из этого царства ужасов...

Семья фермера Мэнте, спасаясь от вторжения, покидает дом и землю. Отец семейства, больной, борясь со смертью, лежит на дне крытой повозки. Еле шевеля запекшимися губами, Мэнте спрашивает: «Открыты ли плюзы?» И, получив утвердительный ответ, едва в силах произнести: «Поздно, слишком поздно...» Мэнте просит приподнять ему голову, чтоб в последний раз проститься с родной землей. Потрясенный гневом и болью, умирающий чувствует, как по щекам его катятся слезы бессильной ярости. Он стыдится их, но все плачут вокруг, и, скованный болезнью, он не в силах поднять руки, чтоб стереть эти слезы...

Де Йонг рассказывает, как в мирном народе пробуждается великая ненависть. Священники отказываются венчать, хоронить и крестить детей у людей, продавшихся немцам. Горожане укрывают английских пилотов на глазах у немецких воздушных патрулей. Фермеры и рыбаки испребрляют немецких солдат и чиновников, подстерегая их ночью в пустынном месте, обрушивая на них сверху огромные камни.

Никогда не подчинится голландский народ фашистским угнетателям — как бы говорит нам книга де Йонга. Недаром некогда маленькие Нидерланды восстали против мировой державы — Испании, и в конце концов победил дух патриотизма и свободолюбия.

«Судный день» назвал де Йонг свою книгу. Но мы знаем, что и для Германии придет ее день Спрашного суда, и над делом победы и возмездия трудятся все те же «незримые люди Европы», подпольщики Голландии.

\*\*\*

Настоящее имя Андре Симона<sup>1</sup> стояло третьим в списке гестапо, найденном швейцарскими властями у немецкого агента Веземана, похитившего в Базеле немецкого эмигранта-журналиста Бертольда Якоба. Гестапо охотилось за Симоном по всем странам Европы.

<sup>1</sup> Симон — псевдоним.

Андре Симона называют рыцарем документа, фанатиком факта, детективом антифашистского подполья. Отовсюду, по всем каналам подпольных организаций к нему стекаются материалы. Его помощники и агенты похищают документы из секретных архивов и из сейфов частных лиц. Переодетые шоферами и лакеями, они поступают в услужение к любовницам нацистских дипломатов и сановников. Они постоянно переходят границу, перевоза материалы в виде миниатюрных фотокопий или мелко написанных на машинке шелковых лент, обмотанных вокруг тела. Иногда они заучивают наизусть страницы и главы текста. Эти документы добываются с величайшим риском, в буквальном смысле слова, ценой крови.

Андре Симон — один из авторов и издателей прогремевшей на весь мир «Коричневой книги» о поджоге рейхстага в 1933 г.; «Белой книги» об июньской резне 1934 года, выпущенной сразу на пятнадцать европейских языках; «Коричневой сети», изданной в 1935 г., о нацистском шпионаже в Старом и Новом Свете; «Голубой книги рейхсвера», вошедшей в состав «Белой книги», и многих других.

Во время лейпцигского процесса в 1933 г. Симон вместе с друзьями организовал контрпроцесс, «суд» из девяти адвокатов разных стран, разоблачивший кровавую комедию в Лейпциге и вынесший оправдательный приговор Димитрову. После подавления фашистского мятежа в Барселоне в 1937 г. Андре Симон с помощью народной милиции захватил нацистский штаб в отеле «Колон» и обнаружил около 40 000 секретных документов берлинской «Аусландсортанизацион», среди которых были документы, свидетельствующие о подкупе испанского генерального штаба и военного министерства, о подготовке мятежа. После падения Парижа в 1940 г. Андре Симон выступил с памфлетом «Я обвиняю», раскрывающим сеть шпионажа и измены в государственной и военной машине Франции.

Последняя книга Андре Симона —

«Люди Европы»<sup>1</sup>, в своей центральной части — портретная галерея нацистских вождей.

Она открывается рассказом о первом столкновении Симона с фашизмом.

«В октябре 1922 г. я присутствовал на праздновании «дня Германии» в Кобурге, небольшом средневековом городе Южной Германии. Успел я выйти из вагона, как увидел первый труп: тело на носилках вокруг — несколько человек в молнии, плачущая девушка. Это была моя первая встреча с нацизмом».

За этой встречей последовали другие. Шаг за шагом Андре Симон следил за темной карьерой фашистских вождей — Гитлера, Розенберга, Дяя, Дарре и других. Он беседовал с Ремом, Гёббельсом, Франко, записывая эти беседы в своих дневниках. В архивах полиции, министерств и штабов он разыскивал документы, свидетельствующие о уголовном прошлом и психическом неизменности этих извергов. В ровой печати он уличил Гитлера в кражах, совершенных в Вене в 1912 г., и Муссолини — в получении субсидии от французского правительства во время первой мировой войны. Ему удалось документально установить морфинизм и припадки помешательства у Геринга, психикой у Муссолини. С кропотливой тщательностью следователя, с беспристрастностью прокурора он составил обвинительный акт против каждого из этих преступников.

Книга Андре Симона содержит много новых, ранее неизвестных разоблачений нацизма. Так, в ней впервые полностью вскрываются все переписки борьбы Муссолини за его путь к французскому правительству о субсидиях, хранившиеся в сейфе Ка д'Орсей. В руках французского правительства они служили поводом то примашкой, то путем средством утешения империалистических аппетитов Муссолини. В 1938 году, во время сделки Лавалля с Гитлером, они были обещаны д'Орсею. В 1938 г., во время франко-итальян-

<sup>1</sup> Книга Андре Симона «Люди Европы» частично опубликована в журнале «Интернациональная литература» №№ 7 и 8—9 за 1942 г.

ского спора за колонии, письма были накануне опубликованы, но вмешательство Далада спасло дело. И наконец в 1940 г. возврат этих писем был поставлен одним из условий перемирия с правительством Италии. Дальнейшая судьба их неизвестна.

Яркий свет проливается Симоном на диверсионную деятельность бюро Риббентропа, центра зарубежного нацистского шпионажа. Так, в одной только Барселоне пять испанских генералов, в том числе командующий барселонским районом, генерал Годед, и ряд чиновников военного министерства состояли на жаловании немецкой разведки. Одинадцать крупных газет и сорок пятидесяти журналов содержались гитлеровцами. Агентами гестапо было совершено более десяти тайных террористических актов над испанскими и немецкими антифашистами. Через ветровую электростанцию в Барселоне, служившую секретным передаточным пунктом, было переправлено в Мадрид накануне мятежа 38 000 винтовок, около 1 800 револьверов и громадное количество боеприпасов. Центром контрабандного ввоза оружия и нелегальной литературы было германское консульство.

Блестяще сделан Симоном также анализ «Майн кампф». Черносотенские речи Георга фон Шенкера, лидера австрийской «пангерманской» партии; приключенческие романы Карла Мая; художника германского империализма; живая социальная дилемма Карла Люгера, мэра Вены и главы «Христианской социалистической партии» — таковы некоторые источники этой «библии нацизма».

Ядом и желчью написаны портреты нацистов.

Фюрер. В кровавом тумане маячит над Европой искаженная яростью чаплинская маска диктатора. Вульгарное лицо, низкий убегалый лоб, широкие скулы, пригласенный подбор, коротенькая торчащая щетка усов. Хриплый лающий голос выкрикивает истерические речи. Что заставило выплыть из мрака вековых трущоб, из мира подонков этого завсегдатая ночлежек, бездарного художника-фальсификатора, отвергнутого и осмеянного, карикатурного Герострата, этого ефрейтора, мелкого

шпиона мюнхенской разведки, неудачливого путчиста, ландсбергского узника? Ясно одно: ставленник крупного капитала, он поднят той волной необузданного шовинизма, которая охватила Германию после Версальского договора. «Адольф Гитлер, — замечает Симон, — это имя собирательное, псевдоним крупного капитала, военных кругов и всех тех сил, которые ведут войну на стороне Германии».

Вот тот, кто несет ответственность за развалины Роттердама и Ковентри, за бомбы, сброшенные в европейских столицах, — это министр авиации и начальник воздушного флота Герман Геринг. Он наркоман, морфинист, в прошлом буйный помещик, судом лишенный права отцовства. Его именем начинается каждая глава в летописи преступлений фашизма. Он создатель гестапо и коричневого террора, инсценировщик поджога рейхстага, инициатор июльской резни и убийца Рема.

Здесь и фашистский «культуртрегер», верховный лжец и дмагог, погромщик интеллигенции и поджигатель библиотек и музеев, доктор Иозеф Геббельс. И нацистский Торквемада в черной форме эсэсовца с черепом и костями на рукаве, обер-палач и супер-тюремщик в европейском масштабе, начальник гестапо, Генрих Гиммлер. И ученый жандарм, черносотенный философ, белопарнейский «гений», идеолог плахи и топора, Альфред Розенберг. И «посланник» Гитлера, «дипломат-парашютист», Рудольф Гесс. Гангстер и алаш, завсегдатый кабаков и притонов, рецидивист с пятикратной судимостью, глава «Германского рабочего фронта», доктор Роберт Лей. Организатор голода в Европе, продовольственный диктатор и главный рабовладелец, посадивший 100 миллионов на тюремный паек, Рихард Вальтер Дарре; обер-шпион, глава «пятой колонны» фашизма во всем мире, министр иностранных дел Иохим фон Риббентроп.

Талантливый публицист, неутомимый собиратель документов, беспощадный обличитель, — Андре Симон, как историк нацизма, все же оставляет в своей книге пробелы. Так, из поля его зрения выпали: расхождение среди правящей верхушки и обсто-  
стоятельства, вызвавшие июньскую

резню 1934 года; влияние Версальского договора и последующего кризиса на сознание немецкой мелкой буржуазии; противоречия между генералитетом армии и нацистским руководством.

И все же книга Андре Симона — один из лучших антифашистских памфлетов в мировой литературе, написанный с свифтовской холодной ненавистью. Она рассказывает также и о той самоотверженной подрывной работе, которую ведут против фашизма лучшие люди интеллигенции. Она внушает веру в будущее Европы, освобожденной от поработителей, и зовет к борьбе за это будущее.

\*\*\*

В январе 1941 г. впервые появилась в Париже на стенах домов буква «V». Как известно, она означает «Victoire», «Победа» и «Vengeance», «Мсть». Этому знаку суждено было войти в историю символом антифашистской борьбы в завоеванной нацистами Европе.

Прошло два года, и в конце 1942 г. в США публикуется «Книга V», «V — Book», документальный сборник, хроника и летопись борьбы за знак V.

Вот о чем рассказывает эта книга. В городах Франции, на тротуарах и фасадах зданий, на окнах и дверях домов — всюду пестрит буква V. Большие V разрисованы разноцветными красками, маленькие наспех начерчены мелом, чернилами, карандашом. Жандармы ходят и стирают их мокрыми тряпками, домовладельцы тщательно счищают их, но буквы появляются вновь и вновь. Когда английское радио объявило воскресенье днем буквы V, в одном только Париже было арестовано свыше двух с половиной тысяч человек. В Мулене все стены покрылись знаками V; на город был наложен штраф в 40 000 франков.

Жизнерадостный дух французов, их любовь к изяществу и культ формы поэтизируют букву V: она становится символом весны, свободы, праздничном освобожденного народа. В день 1 мая прохожие продевают в петлицы по две цветочки ландыша, сложенные стельками в виде V. Они вырезают этот знак на садовых скамейках, на стволах молодых деревьев. Цветоч-

ницы утрапляют корзины и тележки витрины киосков и магазинов букетами и гирляндами, сплетающимися в V. Садовники выращивают на клумбах цветочные узоры, образующие V, подстригают цветущие изгороди и кустарники в форме V.

В Лотарингии молодые люди приветствуют друг друга восклицаниями «Elf!», «Es lebe das Frankreich». Одной из эмблем V здесь служит лотарингский крест. Некогда этот крест красовался на знамени Жанны д'Арк; ныне он избран де Голлем, как символ французского патриотизма, как боевой знак Сражающейся Франции.

Вся подпольная печать Франции и оккупированных стран проходит под знаком V. V горит на заголовках многочисленных нелегальных газет: «Valmy», «Vérité», «La voix du Peuple» и многих других. Знаком V отмечены листовки и прокламации, V сопровождает французского патриота на его крестном пути от тюрьмы и зала суда до эшафота. Стены тюремных камер, несмотря на избиения, испещрены буквами V.

Обетом мести, прозным предостережением врагу, огненными письмами «Мене Текел Фарес» — вспыхивает знак V. Когда в пустынных ночных закоулках полиция находит трупы убитых немецких чиновников и военных, — возле них на асфальте кровью написано V. На местах катастроф и железнодорожных крушений всюду виднеется V. Невзорвавшаяся бомба, снаряд, испорченный патрон — носят где-нибудь в уголке наспех выпаранное V. После расстрелов и казней знак V появляется на стенах немецких казарм и штабов полицейских участков. Стереть его невозможно, он появляется вновь и вновь, как невозможно смыть кровь мучеников. Он бессмертен, как бессмертны свободолюбивые народы, их воля к борьбе и победе.

Кампания за знак V была одной из первых ступеней антифашистской борьбы в Европе. Здесь нашел свое воплощение дух французского народа, его ирония и юмор с фронде, его жизнерадостное, искрящееся остроумие. И в то же время здесь выразился также глубокий оптимизм народа, его неумирающая вера в победу.

Но с тех пор антифашистское движение, и в самой Франции, и особенно в других странах Европы, развилось и окрепло. В Югославии, Албании, Греции, на севере Норвегии вспыхивает настоящая парти-

занская война. где народ с оружием в руках восстает на своих работодателях. Решающие битвы за свободу Европы еще впереди. А «Книга V» останется дорога нам, как память о первых днях этой борьбы.

В. Александров

## ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

### Новые стихи Леонида Мартынова

Леонида Мартынова называют «правым писателем, и это правильно. Он — «красивой», разумеется, не по значению своему, а в другом, вовсе не ограничительном, хорошем и ценном смысле этого слова. И «край» его, конечно, не одна только Сибирь.

В одном из своих стихотворений<sup>1</sup> Мартынов вспоминает слова: дым отечества сладок. Есть под Москвой станция Кунцево; отсюда нужно обратиться к Татарову; там развешать Серебряный Лог. У этого Лога развести костер.

Глины горючей в огонь ты добавь,  
Сладким ты дымом надышишься  
въявь.

Горят эти комья. Ты понял? Горят!  
Ярко горя, издают аромат.  
У да! Никакого тут нет волшебства,  
Просто, где плещет волною

Москва,  
там есть обнажения юрских слоев:  
цветов отпечатки, надкрылий жуков,  
рыбьих чешуек, и игол сосны —  
все есть в этих глинах. И сладость  
весны,  
осени горечь... Но где на земле  
ты запах цветов ощутил бы в золе  
горящей земли! Где пылает она,  
Даря ароматом пьянее вина!

Леонид Мартынов. Мы  
придем. Огиз. Омск, 1942, стр. 52.  
1 р. 25 к.

Так местная черта, географическая подробность, приобретает большой человеческий смысл, а изречение о дыме отечества становится чувственной конкретностью, облекается плотью: этот дым и в самом деле можно вдыхать, и он действительно сладок.

Стихотворение показательное и характерное. Здесь — чувство местности и прошлого этой местности. Ведь не только у «края», у города или деревни — у всякого угла, хотя бы незаметного и ничем не знаменитого, — у лога, у родника, лощины, лесной заросли, — есть лицо, как у человека, есть своя восходящая к отдаленным временам биография. Отсюда, из этой биографии, возникает индивидуальность, вырастает то особенное, человеческое обаяние, которым охватывают нас эти уголки и заросли, полюбопытные нам места; их влекущую силу, ощущение природных и культурно-исторических наслоений и напластований писатель передает так, что и для читателя все это становится телесно, физически ощутимым.

Мы помним о всех народах, живших и трудившихся на нашей земле; мы узнаем родство, мы храним память о прежних культурах, об их связях и взаимных влияниях. Какое впечатление возникает у нас, когда, при стройке нового города,

под снятым прунтом обнаруживаются орудия и утварь неолитического человека; когда в Сибири находят скифские золотые украшения; где-нибудь на Урале — сассанидское серебро; около Камы — неведомо откуда взявшаяся металлическая пластинка с изображением медведя; под Пермью, ныне городом Молотовым, открывают — это было лет двадцать тому назад — деревянную скульптуру XVII—XVIII веков, замечательное искусство, сложившееся именно здесь, выросшее из здешней почвы, в своих истоках связанное, может быть, с пережитками языческих култов, но с необыкновенным реализмом воспроизводящее облик здешнего человека; расправленная фигура заушаемого Христа в человеческий рост; поднятая правая рука закрывает лицо от удара — это же самого себя изобразил крепостной крестьянин-пермяк; это целая историческая эпоха. Каждый может вспомнить такую личную встречу с историей, такое нахождение и угадывание прошлого. Если не это, вы вспомните, может быть, белую, пыльную дорогу около Самарканда, высокие, сожженные солнцем тростники, и как подействовало на вас, когда вы узнали, что здесь проходил Александр Македонский!

Такие переживания были у всех. Среди тех поэтов, кто эти переживания выразил с особенной силой, хочется назвать, в частности, Хлебникова. Какой проникновенный исторический ландшафт создал он, изображая Волгу в «Хаджи-Тархане». Сколько здесь любви и понимания! Как в аналогиях и сопоставлениях, порой неожиданных, может быть субъективных, открывается по-настоящему важное: связь с прошлым, взаимопроникновение культур, значение сродства и дружбы народов. И какая сосредоточенная ненависть к тем, кто не приемлет этой дружбы, кто враждебен труду и человеку!

Ты видишь город стройный,

белый.

И вид приволжского Кремля?

Там кровью полита земля...

Восток надел венки из зарев,

За честь свою восстала Русь...

Это — тот же Хлебников, который в «Ладомире» предсказывал:

И опять зайграй, заря,  
И зови за свободой полки,  
Если снова железного кайзера  
Люди выйдут железом реки.

У Мартынова хорошие стихи стране, которую эллины называли блаженной Гипербореей, а арабы — землею Гога и Магога. Там жили в пещерах обдоры, менявшие меха и топоры. Эта страна — Лукоморье.

О Лукоморская земля!

Кто не ходил сюда в походы!

Здесь жили мирные народы,

И, их сокровища деля,

Здесь спорили князья с князьями

И поднимали род на род,

Народ водили на народ...

Но вышло все наоборот,

Народы сделались друзьями!

По отношению к Хлебникову Мартынов не подражатель, а подражатель; и это хорошая традиция. К большим ценностям приобщая нас такое восприятие «трая» и «прошлого», многие очень существенные выводы следуют из того, что каждая местность имеет свою, во кротно ощущаемую историю; например, такой вывод:

Не слушай унылых душ,

Что вечно полнится грустью;

Здесь, — говорят, — глушь,

Там, — говорят, — захолустье!

Каждый вершок земли, —

Видишь: там и тут, —

Место, где прошли

Или еще пройдут

Сопни, тысячи ног.

Верь мне, Я не лгу!

Есть перекрестки дорог

Всюду, на каждом шагу.

Нельзя уничтожить работу, нельзя жестокости поколений, нельзя стереть следы. В этом сознании преемственности своего единства с предшественниками пути, начиная с тех, первыми добывавших огонь и делавших кремневые наконечники для стрел, уверенность, сила.

Травой тропа зарастет,

Снегом ее заметет,

Зальет ее вода,

Но не навсегда!

Там, где ступила твоя нога,

Где побывал ты хотя бы раз, —



В сад превратится там тайга,  
Ворь, придет час!  
.....

Там, где коснулась твоя рука —  
Рука большевика,  
Вырастет кровля, горда, высока!  
Вырастет дом на века!  
.....

Из-под льда, из-под воды  
Выступят вьюнь весной  
Воли твоей следы!  
Знай — воздвигай, строй!

С таким ощущением истории и географии, с таким пониманием из Мартынов обращается к теме своего соотечественника — военной теме, к теме защиты страны, защиты культуры. Что такое понимание оказывается органичным и плодотворным, можно судить уже не тем стихотворением, выдвинутое из которых мы сейчас приводили; это не какая-то «философия вообще», эти стихи не вне пространства и времени написаны, в них именно о нашем времени говорится. И от стихотворения о путях и дорогах, от той веры, которая там утверждалась, естественный переход к другому стихотворению:

Мы придем!  
Мы дойдем до Карпат,  
Потому что остался там брат.  
Брат зовет: «Возвращайтесь назад,  
мы вас ждем!»  
Мы придем!

Любовь к стране не есть любовь к тому-то отвлеченному, она необходима, включает в себя также любовь к «краю», к городам и деревням, к той истории и природе, с которыми сроднился, без которых не можешь жить; а настоящая любовь к «краю» не может замкнуться в пределах одного этого края; она необходима распространяется на всю страну.

Увиденные от «края», как сквозь преленный хрусталь, воспринятые с этим «историческим чувством местности», события не суживаются, не беднеют; наоборот, такое восприятие порой обнаруживает в них какую-нибудь яркую и новую черту.

Под Тулой встречаются два стрелка: один уралец, другой с Ямала.

Раз комиссар зачем-то  
Зовет к себе стрелка.  
Поговорили...

«Ладно, или себе пока!»  
Уйти хотел ямалец,  
А комиссар: «Постой!  
Скажи, тебе известен  
Писатель Лев Толстой?» —  
«Да. Знаю про Толстого», —  
Стрелок ему в ответ,  
«А голову оленью  
Ты видел?» — «Как же нет!  
Оленей в тундре много,  
Их видел что ни день!»  
Но комиссар промолвил:  
«Олень-то, друг, олень,  
Но ты стреляешь метче,  
Чем кто-нибудь другой.  
Тад приготовься к встрече  
С «Оленьей головой».

«Оленья голова» — так называлась фашистская дивизия, ворвавшаяся в Ясную Поляну. Стрелкам «общедно за оленя».

Сказал стрелок с Урала:  
«Эй, спрячь рога в карман!  
Ты на оленя мало  
Походишь, шарлатан!»  
Сказал ямалец:  
«Дерзкий

И гнусный тут обман!  
А этот немец мерзкий  
Ни дать, ни взять — шаман!  
Космато и рогато  
Чудовище — дикий.  
Шаманили когда-то,  
У нас такие встарь.  
Перевелись уж ныне —  
Ведь время-то течет! —  
Но, видимо, в Берлине  
Им ласка и почет!  
Берлинские шаманы!  
Стрелок был трижды прав,  
Под обликом фашистским  
Шамана угадав.

Для ямальца и олень и шаман — конкретности; и образ шамана-фашиста становится точным и выразительным.

Идут бои под Клином, бои под Калининском. Наши бойцы гонят врага из леса. В лесу шум ручья.

Глубок покой тут видных троп,  
На месте древний сруб...

Это — просто. Но пробивающийся из земли сквозь глубокие толщи родники всегда вызывает у нас какое-то особое чувство.

Трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, потому, что таинственными кажутся эти недра, что это живая вода, начало, «источник жизни», что роднящиеся с природой люди думают о себе над этой говорящей жизнью, вышедшей из темноты, пробившей преграды, бегущей навстречу другим потокам, из малого растущей в большое, — не знаю. А здесь не обычный ручей; проникший с богами к этому роднику человек встречается с одним из тех открытий, которые придают «месту» неожиданную значительность:

...Течет из-под пола ручей,  
Что Волгу породил.  
Вот здесь!  
Склонившись к роднику,  
Что в срубе из тесин,  
Приветствуй Волгу мать-реку,  
Боец, как добрый сын!

Историческая память, не как отвлеченность, а как дыхание эпохи, как образ, увязывающий множество смежных воспоминаний (тут и о Кизе, тебе вспомнишь, и о многих других сказаниях), смыкается с современностью:

Сегодня вся Русь за твою  
спиной,  
А ты впереди над незримой  
стенной.  
Ты понял! Ты здесь оказался  
не зря!  
Над древней стеною багряна заря.  
Стена нерушима вовеки веков!  
И в прохоте танков и в звоне  
подков  
Увидел ты Русь в ее вечной красе,  
Увидел судьбу на Можайском  
поссе.

Гербы «малых» городов; геральдика, причудливые, разноцветные знаки (опять-таки — не абстракция, а конкретный, насыщенный, органический образ), за которыми живая история.

Храшим наследье минувших  
столетий.  
Ничто да не исчезнет без следов!  
Я наблюдал:

Рассматривают дети  
Гербы старинных русских городов...

Вот герб Боровска с «сердцем лавровом венце», другой герб Козельска:

Кресты, щиты... Кресты и вновь,  
щиты.

И черные они и золотые,  
Червлённые на черни там и тут.  
Написано:

«Во времена Батыя  
Козельского посада добрый люд  
Решил с ордою беспощадно биться  
Хоть не вел их в битву юный  
князь.

Рекли козельцы: «Чем в плену  
томиться,  
Пойдем умрем, с ордою поборясь».  
...истории забытая страница,  
Молчит дитя, над книгою  
склонясь...

Совсем другой своей стороной историческая география и ее символы обращаются к гитлеровцам. Для гитлеровцев все это лишь напоминание о тех, кого они тщетно пытались обезличить, поработить, стереть с лица земли; это — образ возмездия.

Зима, ночь, ель на холме, пошатавшаяся войной. Два ландскнехты разговаривают друг с другом:

— Как ясно звезды русские  
горят! —  
Вскричал другой. — Они, как  
виноград.  
Ты посмотри: все небо в  
жемчугах!  
Вот Новый год! Встречай его в  
снегах,  
...  
Рождественскою пестрой  
мишурой  
Ошутана едва ли эта ель.  
Уверен, золотая канитель  
Там не висит...  
Ты не заметил главного: флажков!  
Прислушайся. Ты слышишь  
шелест?

Да!  
Начинается бред, они замерзают. Одному мерещится пять флагов: немецкий, итальянский, венгерский, финский, румынский.

Другой видит больше: флаг СССР, флаг Англии, сорок две звезды флага США, цвета Чехословакии, Польши, Греции — они не умерли.

Но говорю тебе я: двадцать шесть  
Знакомых и неведомых земель!  
Она страшина, рождественская ель.  
Она в огне!

\*\*\*

Рядом с сильными стихотворениями — несколько слабых.

Не разлучила их война...  
Верна любовь бойца.  
На фронте он, в тылу она,  
Но вместе их сердца!

Эти стихи не живут, такая стихотворная запись не дойдет до сердец, которые здесь упоминаются. Совсем неудачно и стихотворение «Зеваки»:

Но, немец, спросят сын тебя и дочь,  
Узрев портрет Шинкльгрубера в музее:  
— Ведь он же был животное  
Точь-в-точь.

Как вы могли в делах ему помочь?  
Чего же вы зевали, ротозей?

Если бы Германию населяли «ротозей», если бы дело сводилось к тому, что они «прозевали» Гитлера, все было бы несравненно проще.

Как видим, не всегда Мартынов требователен к себе. Порой даже в хороших стихотворениях есть прищипанная риторика.

Хорошее все же перевешивает настолько, что мартыновский сборник можно причислить к лучшим стихотворным сборникам, выпавшим за время войны. Жаль, что областные издания оседают обычно в областном центре, а для других городов и областей превращаются в библиографическую редкость. Талантливая и умная книга Мартынова заслуживает более счастливой участи.

Н. Мацуев

## ЛИТЕРАТУРА О ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Теме защиты отечества посвящена целая серия библиографических указателей, издаваемых Всесоюзной книжной палатой.

В этих указателях не только зарегистрирована литература о великой отечественной войне, но и даются сведения о ранее вышедших книгах и статьях, относящихся к истории борьбы нашего народа с иноземными врагами.

Первый справочник, появившийся еще в начале войны, носит название «Массовая оборонная литература». Он содержит краткий список книг и статей, вышедших в основном в последние годы, и охватывает целый ряд самых основных вопросов, связанных с защитой отечества (Учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина о войне и армии. Красная Армия и ее боевой путь. Восное прошлое русского народа. Советский патриотизм. Великая отечественная война). Предназначенный для массового читателя, этот справочник наряду с указанием популярных работ дает и списки произведений художественной литературы.

Прямым дополнением к этой книге является «Указатель антифашистской литературы». Отделы указателя (Фашизм, его возникновение и характеристика. Фашизм — это война. Оккупированные страны под пятой фашизма. Борьба народных масс против фашизма и др.) показывают, что справочник всесторонне освещает вопросы сущности фашизма и борьбы с ним.

Вышедшие вслед за тем библиографические указатели как бы разбивают отделы первых двух справочников, дополняя их вновь появившимся литературным материалом.

Свод высказываний Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о войне содержит указатель «Марксизм-ленинизм о войнах и защите социалистического отечества». Назначение его, — говорится в предисловии, — дать пропагандисту, агитатору, активисту необходимый минимум литературы, опираясь на который он смог бы уяснить себе руководящие идеи марксистско-ленинского учения о войне». В справочнике приведена и

литература о войнах в странах Западной Европы, и об освободительных войнах русского народа.

Великим полководцам-патриотам — Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Александру Суворову и Михаилу Кутузову — посвящена книга «Наши великие предки». Материал указателя разбит на отделы по именам полководцев, отмеченных в исторической речи товарища Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года, и содержит списки как научно-исследовательских работ, так и популярной и художественной литературы, относящейся к их жизни и деятельности.

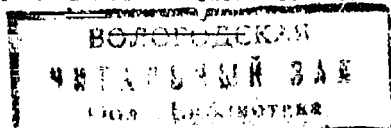
Несколько особняком стоит указатель «Войны русского народа 1558—1878 гг.», в котором подобрана литература (воспоминания, дневники, письма), вышедшая до 1917 года. Не имея непосредственной, организационной связи с современным моментом (в нем не нашла отражения историческая и военная литература даже таких изданий, как «Военно-исторический журнал», «Красный архив» и др.), этот справочник тем не менее является ценным пособием при изучении войн русского народа, поскольку в нем заключен большой и нередко мало известный исторический материал. Так, например, вместе с более новой литературой справочника «Отечественная война 1812 г.», имеющего разделы: Классики марксизма-ленинизма об отечественной войне 1812 года. Мемуарная литература. Монографии и научно-исследовательская литература. Массовая литература. Художественная литература, — читатель располагает, если и не исчерпывающей, то во всяком случае представленной с достаточной полнотой библиографией о 1812 году.

Специально борьбе против немецких захватчиков посвящен указатель «Когда и как русский народ бил немецких захватчиков (1242—1918)». Справочник дает небольшой литературный материал по истории борьбы русского народа с чуждцами почти за семьсот лет, уделяя главное внимание Ливонской

войне (1558—1583), Семилетней войне и первой мировой войне (1914—1918). Большое место в справочнике занимает раздел о борьбе нашего народа против немецких оккупантов в 1917—1918 гг. (защита Петрограда в 1918 г., разгром немцев на Украине и т. д.). Приводятся и литература о народных героях: Щорсе, Пахоменко, Котовском. Материалы данного раздела вышли и в отдельном издании под названием «Борьба советского народа против немецких оккупантов 1917—1918 годах».

Задачей самого большого из указателей — «Великая Отечественная война советского народа» — является регистрация книг, статей, постановлений, указов и других материалов, имеющих отношение к настоящей войне и опубликованных в печати за период 23 июня 1941 г. по 1 июля 1942 г. Материал справочника разбит на столько основных отделов, сколько количеством мелких подразделений. В тех случаях, когда название книги или статьи не дает представления о ее содержании, снабжены краткими пояснениями отчасти заменяющими аннотации. Все это облегчает ориентировку в большом материале справочника.

В заключение следует сделать несколько общих замечаний, относящихся ко всем упоминаемым здесь указателям. Основная особенность и ценность этих справочников в актуальности тематики и наличии самого разнообразного по характеру и степени доступности заключенного в них материала. Это делает их интересными, полезными и даже необходимыми для читателей различной квалификации. Правда, в рецензируемой серии можно найти ряд недочетов. Например: только один из справочников имеет указатель имен авторов. Справочники успешно выполняют поставленную Книжной палатой задачу: помогают читателю ориентироваться в военной истории нашего народа и в наиболее актуальных вопросах, связанных с героической борьбой советского народа за свое социалистическое отечество.







Urena-Sp.